Лев Копелев

# УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

ХАРЬКОВ
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2011

ББК 84.4 Р
К 65

Художник-оформитель
*Б.Е. Захаров*

Издание осуществлено при поддержке
представительства фонда Генриха Бёлля в Украине

**Копелев Лев**

К 65 **Утоли моя печали** / Харьковская правозащитная группа. — Харьков: Права людини, 2011. — 368 с., фотоилл.

ISBN 978-617-587-026-6.

«Утоли моя печали» — третья часть автобиографической трилогии Льва Копелева. Название книге дала церковь, в которой находилась Марфинская шарашка, описанная также Александром Солженицыным в романе «В круге первом». В этом закрытом институте за колючей проволокой Копелев провел 8 лет, занимаясь разработкой секретной телефонии. Здесь он передумал всю прошлую жизнь и решил, что тюремное заключение было ему справедливой карой: *«…Теперь я понимаю, что моя судьба, казавшаяся мне тогда нелепо несчастной, незаслуженно жестокой, в действительности была и справедливой, и счастливой. Справедливой потому, что я действительно заслуживал кары, — ведь я много лет не только послушно, но и ревностно участвовал в преступлениях — грабил крестьян, раболепно славил Сталина, сознательно лгал, обманывал во имя исторической необходимости, учил верить лжи и поклоняться злодеям. А счастьем было то, что годы заключения избавили меня от неизбежного участия в новых злодеяниях и обманах. И счастливым был живой опыт арестантского бытия, ибо то, что я узнал, передумал, перечувствовал в тюрьмах и лагерях, помогло мне потом.»*

**ББК 84.4 Р**

ISBN 978-617-587-026-6

© Лев Копелев, 2011
© Борис Захаров, художественное оформление, 2011

Наши тюрьмы являются отражением
всей нашей жизни при настоящем строе.

*П.А. Кропоткин*

*ПАМЯТИ*
*Ивана Брыскина*
*Гумера Измайлова*
*Евгения Тимофеева*

*и всех друзей, приятелей*
*и товарищей тюремных лет,*
*которых уже нет среди живых*

## *Глава первая*
# МАРФИНСКАЯ ШАРАШКА

…Непременно нужно, чтобы я написал.
Так, вот, слушайте…

*А.Н. Толстой. «Утоли моя печали…»*

Октябрь 1947 года. Ночью после суда, в Бутырках, меня привели в большую камеру, густо набитую. Не меньше полусотни тел грудились на нарах, на узких скамьях вдоль стола, на полу. Тяжелая зловонная духота. Я стал пробираться к окну, поближе к струйке морозного воздуха.

Лежавший у окна рывком сел. Синеглазый витязь с короткой русой бородкой.

— Не сметь закрывать.

— Закрывать не собираюсь. Наоборот, хочу поближе.

Мы сперва поругались. Но уже на следующий день стали приятелями.

Дмитрий Панин — коренной москвич, дворянин, инженер, теоретик кузнечного дела. Арестовали его в 1940 году за «разговоры». Получил по ОСО пять лет. А в лагере в 1943 году его судили за «пораженческую агитацию» и уже «навесили полную катушку» — десять.

В Бутырки его привезли из Воркуты по спецнаряду.

Таких, как он, в камере было много. Инженеры, научные работники. От них я впервые услышал о шарашках.

— …Образованные люди теперь вот как нужны. Из Германии понавезли целые заводы и лаборатории, горы технических документов. И сейчас изо всех лагерей сюда гонят специалистов для шарашек. Это особые КБ или институты, в которых главная рабсила — зеки. Рамзин и Туполев командовали шарашками.

…Все придумано очень просто. Профессора, инженеры высших разрядов, изобретатели — народ балованный. Им большие деньги положены, персональные ставки, академические пайки. В таких условиях иногда и погулять захочется в ресторане с девицами или на даче с законной супругой. И в отпуск ехать не раньше августа, не позже сентября, да чтобы на Южный берег или в Сочи-Мацесту. На воле голова редко бывает занята одной работой. Там всякие посторонние мысли лезут, и заботы, и мечты. О бабах, о карьере, о квартире, о даче, о склоке с коллегой, о детях, родственниках, друзьях, знакомых…

Значит, на воле инженер не может работать в полную силу и через силу. Работяга, тот с помощью парткома-завкома еще вытягивает на стахановца, — за него думают другие; его дело только рогами упираться и не мешать другим чернуху раскидывать. Он и даст сколько велят, хоть сто, хоть двести, хоть тысячу процентов. Для этого ни ума, ни совести не надо. А вот с тем, кто мозгами шевелит, у кого душа живая и даже может быть что-то вроде совести, — дело сложнее. Да еще если он много о себе понимает, думает, что он умнее своих начальников.

Такому уже могут помочь только родные органы. Берут его за шкирку, волокут на Лубянку, в Лефортово или в Сухановку — признавайся, блядь, на кого шпионил, как вредительствовал, где саботировал… Спустят его раз-другой в кандей с морозцем, с водой. Надают по морде, по заднице, по ребрам — но так, чтобы не убить, не искалечить, но чтобы ему и боль, и стыд, чтобы почувствовал, что он уже не человек, а никто, и они могут делать с ним все, что хотят. Прокурор ему объяснит статьи, пообещает вышку. Следователь грозит, если не признается, посадят жену…

А потом, после всего этого, дают ему великодушную десятку. Иному слабонервному и пятнадцать, и двадцать лет покажутся подарком, нечаянной радостью. И тогда его утешат: старайтесь, можете заслужить досрочное освобождение и даже награды. Берите пример с таких, как Рамзин, докажите, что искренне раскаялись, что ваши знания, умения полезны Родине, — и все прежнее вам вернется, и даже еще больше получите…

Вот так и готовят кадры для шарашек. Там наш брат работает по-настоящему, с полной отдачей.

Никаких выходных. Отпуск — иностранное слово. Сверхурочные часы — одно удовольствие; все лучше, чем в камере припухать. Мысли о воле, о доме отгоняешь — от них только тоска и отчаяние. И работа уже не повинность, а единственный смысл жизни, замена всех благ, всех утех. Работа — и лекарство, и дурман…

В лагере говорят: «Труд сделал обезьяну человеком, а человека — ишаком». Работать в лагере — значит ишачить, горбить, упираться рогами. И чтобы не «дойти», не «поплыть», не заработать «деревянный бушлат» — надо сачковать, кантоваться, туфтить, чернуху заправлять, филонить, мастырить…

А на шарашке все наоборот. Там тебя по имени-отчеству величают, кормят прилично, лучше, чем многих на воле; работаешь в тепле; спишь на тюфяке с простыней. Никаких тебе забот — знай только шевели мозгами, думай, изобретай, совершенствуй, двигай науку и технику…

Митя был первым, кто стал рассказывать мне о шарашках. Именно он, то ли сам придумав, то ли повторяя чьи-то слова, назвал их первым кругом нашего тюремно-лагерного ада.

По его совету я написал заявление.

— Ты знаешь иностранные языки. Зачем же тебе ехать в лагерь, доходить на повале или в шахте? Лепилой не везде пристроишься. И ведь сам испытал, каково порядочному человеку иметь дело с придурками. Языки — драгоценные знания. Они могут спасти. Пиши заявление в 4-й спецотдел МВД: «Владею немецким, английским, французским, испанским, голландским, итальянским…»

Не шибко владеешь? Ничего, у них проверять некому. Попадешь на шарашку, тогда подучишься. Какие еще знаешь? Польский, чешский, сербохорватский… Давай, давай. Чем больше, тем лучше. Добавь обязательно: «Имею большой опыт переводов научной и технической литературы. Прошу использовать в соответствии…» Ну, тут уж сам знаешь как. А главное, подписывай «кандидат наук» — они это ценят.

Недели через две меня вызвали: «Давай слегка» (то есть без вещей).

В маленьком следовательском кабинете сидели два полковника. Серебристые погоны с синими кантами. Перед ними на столе — папки тюремных дел.

Длиннолицый, лысоватый, в очках заговорил по-немецки с хорошим гимназическим произношением. Я ответил. Он задал несколько простых вопросов по-английски, вывертывая старательно язык. И непринужденно — по-французски.

Второй полковник, плечистый, грубоватый, по-русски спросил, где я учился, на какую тему защищал диссертацию, чем занимался на фронте.

— Тут вы написали заявление в 4-й отдел. Откуда узнали про этот отдел? Кто сказал? Не спрашивали фамилие? Как так, вы с ним содержитесь в одной камере и не знаете фамилие? И еще хотите, чтобы мы вам доверяли! Ах, вы только в бане вместе были, вели случайный разговор?! Ну, что ж, допустим эту возможность… Так вот, мы хотим вас использовать по квалификации. Но в таком управлении, на таком объекте, который совершенно секретный. Самая строжайшая гостайна. Этот, который в бане с вами трепался, допустил разглашение. За подобную трепню полагается строжайшая кара, вплоть до высшей меры. Вам будут кое-что доверять. Даже, возможно, очень серьезно доверять. Но зато и спрашивать будут. Понятно?.. Можно увести.

(Обоих полковников я впоследствии узнал ближе. Длиннолицый интеллигент — Антон Михайлович В., прототип Якулова из романа «В круге первом». Упоминается там и второй, Фома Фомич Ж.,

ветеран органов. Образование он получил в одесском музыкальном рабфаке. Говорили, что был способным баянистом. Позднее, став сотрудником спецотдела ГПУ–НКВД–МГБ, он, распоряжаясь инженерами и учеными, получил степень доктора технических наук.)

Когда Панина вызвали с вещами, мы простились, как обычно прощаются в тюрьмах, — навсегда. Угрюмо шутили: «Швейк назначал свидание в шесть часов вечера после войны. А мы условимся: в шесть часов вечера после тюрьмы».

Недели две спустя увезли из Бутырок меня и еще нескольких инженеров из нашей камеры. Ехали мы не больше сорока-пятидесяти минут. Значит, в черте города.

Выгрузились в большом дворе-саду. Темные ели, густая темно-серая пряжа голых деревьев и кустов. Ограды не видно. Только угадывается под шеренгой густых фонарей.

Трехэтажное кирпичное здание старой постройки. На торце башня с куполом. Ярко освещенный подъезд.

Принимают охранники в форме МВД, неторопливо-спокойные. Ни лающих окриков лагерных вертухаев, ни хриплого угрозного шепота тюремных надзирателей.

— Проходите на третий этаж. Там все объяснят.

Лестница, как в парадном старого жилого дома или гимназии — каменные ступени, перила на кованых стойках…

Вниз навстречу шел Панин. Старый ватник внакидку выглядел гусарским ментиком. Он заговорил деловито, как будто расстались час назад:

—…Это Марфинская шарашка. Называется по-ихнему «объект № 8» или «спецтюрьма № 16». Тут всё из демонтированных берлинских лабораторий фирмы «Филипс». Разрабатывают «полицейское радио».[1] Мы тебя ждем уже неделю. Начальник здесь такой, что можно по-человечески разговаривать. Молодой инженер-капитан. Флегматичный, беззлобный. И мы его убедили вытребовать из

[1] Те радиотелефоны «Уоки-токи», которыми сейчас пользуются постовые милиционеры, оперативные машины, шоферы такси, филеры и др.

Бутырок тебя — известного языковеда и опытнейшего переводчика со всех языков. А то подвалы забиты тысячами папок, и научные есть и производственные описания приборов, еще никому у нас не ведомых. Здесь никто не понимает немецкой писанины… Вот мы тебя на это и запустим… Кто мы? Я и мой друг. Сейчас познакомлю. Замечательный человек! Александр Исаевич Солженицын. Тоже фронтовик. Капитан. Умница. Благороднейшая душа. Личность! Он заведует технической библиотекой. Я уверен, что и ты его полюбишь. Это он мне помог уговаривать начальника, доказывал, что скопилось множество неразобранных книг, необходимы аннотации…

Большой полукруглый зал, образованный из нижней части церкви.[22]

В левой половине стояло несколько письменных столов и кульманов.

Всю правую половину занимала библиотека.

Дюжина стеллажей и шкафов с книгами и большой стол заведующего.

Он встал навстречу. Высок, светло-рус, в застиранной армейской гимнастерке. Пристальные светло-синие глаза. Большой лоб. Над переносицей резкие лучики морщин. Одна неровная — шрам.

Рукопожатие крепкое. Улыбка быстрая.

— Здравствуйте. Митя про вас говорил много хорошего. Ваш рабочий стол уже готов. Вот здесь. Будем соседями. На машинке печатаете? Ну, скорость пока и не требуется. Советую: начинайте переводить сразу на машинку. Будет тренировка… Где воевали?.. Вот как…

Взгляд еще пристальнее и словно затенился.

(Позднее он говорил: «Я тебе в первую минуту не поверил. Даже подозрительным показалось. Те же самые фронты».)

— Я тоже был на Северо-Западном.

---

[2] Позднее, когда значительно расширили все здание шарашки, в этом зале устроили камеру, описанную в романе «В круге первом».

Он рассказал, что его батарея стояла у Молвотиц. Мы вспомнили дорогу, лесок, начиненный минами, где несколько раз подрывались наши солдаты. Потом его перебросили на Курскую дугу. А на Втором Белорусском он опять был в тех же местах, что и я. Над Наревом, там, где на холме непонятно как уцелел маленький домик на самой линии огня. И слышал конечно же мой голос, когда мы вели передачу. (Тот день было легко запомнить. Два немецких танка разъезжали по опушке леса и стреляли бронебойными болванками. Они омерзительно зудели и выли, хотя опасны могли быть только при прямом попадании. И оказалось, что именно он корректировал огонь батареи, отогнавшей танки.)

— А в Пруссию вы откуда входили? Точно! И я там же. Нет, когда мы шли в Гросс Козляу, еще ничего не горело. Значит, вы двигались позже… Вот как? И вы искали могилу Гинденбурга? Ну, и совпадение! Погодите, погодите, вы какого числа были в Хохенштейне? Нет, когда мы свернули с шоссе, кажется, шинных следов там не было. А вы заметили следы?.. Правильно, какое там «вы» у вчерашних солдат. Значит, ты по моему следу ехал. Вот как судьба сводит… Когда тебя посадили? В апреле? А меня еще в феврале, в день Красной Армии. Сначала в Бродницах сидел, в каменном сарае — полевой тюрьме. Нет, в Тухель меня уже не повезли, отправили в Москву.

Мы начали вспоминать охранников, следователей…

— Погоди. Об этом еще успеем. Прогулки у нас тут долгие. Вечером почти два часа можно бродить по двору. А сейчас погляди, что тебе для работы нужно; какие словари, справочники: я подберу, оформлю. И завтра сразу, с утра можешь начинать. Тут тебе уже подготовлена папка — описания приборов — главным образом немецкие. Я пытался было сам переводить, но трудно. И в школе, и в университете нас учили совсем другому немецкому языку… Газеты? Разумеется, есть: «Правда», «Известия», «Красная звезда». Могу дать и подшивку. Но читать только здесь. Из библиотеки не выносить. За какое время хочешь?.. За всю осень? Изволь.

Позднее он говорил:

— Ты был первым, кто попросил подшивку. Первым после меня. Когда нас привезли из Ногинска, — шарашку собирались устраивать сначала там, потом перевели сюда, — я сразу же взялся за подшивки. Надо же такое: на тех же самых фронтах были, та же контрразведка замела. И такой же аппетит на газеты. Это уже вроде родства.

* * *

В ту первую зиму шарашки — 1947–1948 — арестанты размещались в двух комнатах на третьем этаже. Там же была дежурка, комната санчасти, кабинет начальника тюрьмы. В торце короткая лестница вела в кладовую под куполом. На сводчатом потолке еще шелушились бледные краски: небесная синева, лики и ризы ангелов, обрывки славянской вязи. Под ними громоздились дощатые стеллажи с ящиками и тюками.

На втором этаже основные лаборатории; на первом — столовая и мастерские. Шарашка занимала только треть большого здания. Две трети были отделены во дворе высоким забором, изнутри — дощатыми стенками, обшитыми железными листами. Там шло строительство. Работали заключенные «бытовики».

Наш рабочий день начинался с утра и длился до шести вечера. Гулять разрешалось с утра, до и после завтрака. Рабочее время можно было продлить по собственному желанию. Начальниками всех лабораторий были заключенные. Они подавали дежурному надзирателю списки тех, кто оставался работать после ужина.

Вечерняя поверка проводилась без формальностей: дежурный заглядывал в лабораторию:

— Сколько вас тут? Все на месте? В уборную никто не пошел? Давайте не позже двенадцати в камеру. Чтоб без опозданий.

Свидание с родными полагалось каждые три месяца. И можно было получать любое количество писем, бандеролей, посылок. Но

отправлять письма разрешалось только иногородним. Тюремный завхоз, он же почтальон и каптер, захлопотанный, толстомордый лейтенант, объяснил, что москвичи могут трижды в месяц получать передачи и раз в три месяца свидания.

— А переписка не положена! Ждите, как будет свиданка. Там все объясните.

Солженицын посоветовал:

— А ты попроси начальника тюрьмы. Подполковник Г., видать, не из вертухаев. Строевик, военная косточка. Любит выправку и любит, чтоб смотрели ему прямо в глаза. Не терпит слабаков, подхалимов и если кто темнит. Но так, кажется, не вредный. Ты подойди, как следует по уставу. Авось поможет.

В лагере мы научились отличать хорошее начальство от плохого. Критерий был прост и безошибочен: один запрещает все, на что нет особого разрешения; другой разрешает все, на что нет особого запрета.

Тщательно побрившись, я заправил гимнастерку, чтоб спереди ни морщинки, начистил сапоги и пуговицы. В дверь постучал коротко, но четко.

— Да…

Войдя, отпечатал три шага, пристукнул каблуком, застыл «по стойке».

— Разрешите обратиться?

Подполковник сидел у окна. Обернулся. Худощавый, плечистый, короткая стрижка с проседью. Не улыбчив. Пристальные, светлые глаза.

— Какое звание было?.. Где воевал?.. Статья?.. Срок?.. Что имеете сказать?

— Прошу разрешения известить семью, проживающую в Москве, чтоб написали и принесли передачу. Прошу разрешить в порядке исключения. Свидание получу не раньше весны, а там дочка болеет. И передача нужна. Хворал, истощен.

— Кто у вас в семье?.. Напишите сейчас открытку, пускай приносят передачу в Бутырки для восьмого объекта. Поторопитесь: я через полчаса ухожу. Ясно?

— Так точно. Написать открытку. Вручить вам. Разрешите исполнять?

Круто, рывком повернулся, пристукнул правой, шагнул с левой… Через несколько минут уже бежал с открыткой.

Когда я рассказал Панину и Солженицыну об этом успехе, мы порассуждали о преимуществах воинского, уставного поведения. Точно предписанные, стандартные жесты и слова хотя и выражают зависимость, подчинение, покорность, но все же позволяют сохранить человеческое достоинство. Солдатская повадка отличается от рабской и подхалимской. Я вспоминал, что и на фронте подчеркнутая уставная подтянутость была едва ли не единственно возможной и уж во всяком случае наименее опасной формой противостояния начальственному хамству иных полковников и генералов. Поручик царской и майор Красной Армии Анатолий Гаврилович Воинов поучал нас, новичков: «недовольство начальством можно выражать только по стойке «смирно», безмолвным шевелением большого пальца ноги, разумеется в обутом состоянии».

* * *

Во вторую неделю после приезда я заболел. Сиплый кашель раздирал грудь. Всего ломило. Температура доползла до сорока. Фельдшерица, младший лейтенант, молодая, но с фронтовой орденской колодкой, сказала:

— Доктор придет только через три дня. Он у нас два раза в неделю бывает. Значит, надо вас в больницу, в Бутырки.

Жестоко испуганный, я взмолился:

— Только никуда не отправляйте. Ведь я могу работать и в постели. Переводить. Это же обычная простуда.

Она колебалась, но согласилась подождать день-другой. Друзья приносили мне еду из столовой. Наглотавшись аспирина, я укрывался поверх одеяла бушлатом, еще каким-то барахлом, раздобытым в каптерке. Больше всего боялся, что увезут из шарашечного рая. А после больницы забудут вернуть…

Никогда — ни раньше, ни позже — я так не радовался выздоровлению. И чтобы не повторялась болезнь, сразу же начал истово закаляться. Утром и вечером делал зарядку во дворе. Гуляя, старался возможно глубже дышать. Умывался холодной водой до пояса. Потом стал растираться снегом. И действительно, уже до самого конца срока за все последующие семь лет ни разу не простудился. (А на свободе в первую же осень, да еще в Ессентуках, свалило воспаление легких.)

* * *

Шарашечные харчи в первые послетюремные дни казались роскошными. За завтраком можно было даже иногда выпросить добавку пшенной каши. В обеденном супе — именно супе, а не баланде, — попадались кусочки настоящего мяса. И на второе каша была густая, с видимыми следами мяса. И обязательно давалось третье блюдо — кисель. Но все эти прельстительные яства не слишком насыщали. Нам все время хотелось есть. Хлеба — 500 граммов в сутки — не хватало.

Передач мы ждали с нетерпением. Но получать их начали только в январе.

Новый, 1948 год мы втроем встречали на койке Панина, на втором этаже вагонки, сваренной из обыкновенных железных кроватей.

Один из сокамерников, получавших передачи, подарил нам четверть банки сгущенного какао. С завтрака мы оставили сахар и с ужина немного хлеба. И набрали два котелка кипятку.

Дежурный надзиратель в тот вечер был снисходителен:

— Сам знаю — Новый год. Но порядок должен быть. После отбоя — тишина. Другие зеки спать хочут. Так что вы аккуратней, чтоб никакого шума. Если наружу слыхать будет или кто пожалится, и с меня шкуру снимут, и вас накажут. Начнете Новый год в карцере…

Но в ту ночь и в других местах камеры сбивались кучки встречавших. Все пировали при тусклом свете ночников. Почти у каждой койки были пристроены лампочки-ночники, сработанные нашими техниками. Было и много самодельных радиоточек, которые почти каждую ночь досаждали Солженицыну. Он с трудом засыпал, и жужжание наушников, забытых сонливыми радиослушателями, его раздражало, выводило из себя. Он соскакивал со второго этажа вагонки, разыскивал, отключал. В новогодних куплетах, которые я сочинил, были такие строки:

Тиха шарашечная ночь,
В решетках темных звезды блещут,
Своей дремоты превозмочь
Вертух не может. Кто ж зловеще
Надрывно хрипло матерится,
В кальсонах по вагонкам рыщет?..
То гневный Саня Солженицын
Наушник неутихший ищет.

Панин торжественно поднял кружку душистого какао.

— Господа, я не умею говорить речи, я не златоуст, как вы оба. Но я старше вас, раньше начал крестный путь. Поэтому позвольте мне провозгласить новогоднюю здравицу… Дорогие друзья! Я верю, что могу вас так называть, — мы трезво встречаем Новый год, и я хочу высказать трезвое пожелание. Принято говорить: «С Новым годом, с новым счастьем!» Но какое у нас может быть счастье? Мы все мечтаем о свободе… Но это несбыточная мечта в этих стенах, в этой стране… И я поднимаю трезвую заздравную чашу за возможное. Я пью за то, чтоб в новом году нам не пришлось голодать… И за нашу дружбу, господа…

Мы трое прожили вместе еще два с половиной года. До лета 1950-го. И не голодали. И дружили.

* * *

По утрам раньше всех поднимался Митя Панин. Он еще до подъема спешил сделать зарядку и шел на задний двор, где у выхода из кухни пилил и рубил дрова. «Подавляя плоть», он и в жесточайшие морозы гулял без шапки, ватник внакидку, рубашка распахнута на груди по-моряцки; а весной, едва сходил снег, разувался и вышагивал босиком, стараясь ступать по самым неудобным тропам, по щебню, угольной крошке. Утром он иногда вытаскивал на «дровяную зарядку» Солженицына и меня. Надзиратели поощряли такое прилежание. Они должны были наблюдать за нами, а это приближало их к щедротам поваров, которым помогали арестанты, алчущие работы на воздухе.

По утрам мы и работали, и гуляли обычно молча. Тюремные пробуждения невеселы. После добрых снов о воле, о родных тем злее пробирает явь. Не легче бывало и после кошмаров или тягостных бессонниц, заполненных неотвязными до отчаяния мыслями, удушливой тоской одиночества среди множества чужих, но так неотрывно притиснутых друг к другу людей: сопящих, храпящих, стонущих или дико вскрикивающих со сна…

В часы обеденных прогулок, самых многолюдных и шумных, труднее бывало разговаривать вдвоем, втроем. Зато по вечерам гулявших было меньше, особенно в плохую погоду. Многие оставались в доме. Кто стирал в умывальнике носки и носовые платки, кто играл в «козла», в шахматы, в шашки, кто судачил в задымленном коридоре или просто валялся на койке…

Мы трое обычно записывались на вечернюю работу. А до поверки старались гулять возможно дольше.

Иногда возникала неодолимая потребность в одиночестве. Но только друзьям можно было сказать просто: «Сегодня хочу гу-

лять один», и тогда двое старались охранять одного. Зимой это удавалось легче. Мы прокопали свою тропу в снегу между кустами.

Чаще других просил об одиночестве Солженицын. Он шагал по нашей тропе, высокий, тонкий, в длинной шинели, опустив наушники армейской шапки. А мы с Паниным патрулировали у выхода на главную площадку двора, для которой шарашечные остряки придумывали звучные названия: «Площадь растоптанных надежд», «Треподром», «Ишачий манеж» и т. п.

Мы вели долгие разговоры — о судьбах России и Европы, о религии, философии, истории, литературе.

Уже в самые первые дни Солженицын сказал мне:

— Ты мог бы мне последовательно рассказать историю революционного движения в России? Ну, это понятно, что всего нельзя помнить. Но мне важна общая последовательность, связь событий, характеристики людей. Главное — чтоб без брехни, без замалчивания и насколько можешь объективно, беспристрастно. Ты, конечно, пристрастен. Ты же марксист-ленинец и, значит, должен быть всегда партийным. Но я это понимаю и могу сделать соответствующую поправку. А ты рассказывай, выкладывай все, что помнишь. Только не темни, не агитируй и ничего не зажимай. Излагай и другие версии, другие точки зрения. И не мешай мне самому судить, выбирать. Не дави на мозги.

Наши перипатетические «семинары по истории» нередко прерывали споры и перебранки. Панин был наиболее радикален и непримирим. Убежденный, что большевики — это орудие Сатаны, что революция в России была следствием происков злонамеренных иноземцев и инородцев, он верил, что спасение придет только вследствие чуда, по велению свыше. Но готовить спасение надо, очищая душу, мысли и… язык. С этой целью он решительно отказывался употреблять иностранные, или, как он говорил, «птичьи», слова. Вместо «революция» говорил «смута» или «переворот», вместо «коммунисты» — «большевики» или «большевички», «инженеров» называл «зиждителями». Даже наставления по кузнечному делу он ухитрялся писать, пользуясь только своим «языком предель-

ной ясности». Например, не употреблял слова «металл», заменяя его точным названием: железо, чугун, медь; вместо иностранного слова «сталь» писал «железо с углеродом», «углеродистое железо» и т. п.

Исключения он допускал только для «священных понятий», таких, как церковь, религия, архиепископ, дьякон. И очень рассердился, когда услышал, что церковнославянский язык возник из древнеболгарского.

— Не может этого быть! Да ведь они же турки! Обыкновенные турки, лопочущие на испорченном славянском наречии. Чтоб наши предки заимствовали у них язык? Не верю! Этого не может быть! Это большевистские выдумки.

В таких перепалках мы с Солженицыным бывали союзниками. Но когда оставались вдвоем, то он противопоставлял моим диалектико-материалистическим рассуждениям упрямое недоверие. В ту пору он считал себя скептиком, последователем Пиррона, но тогда уже ненавидел Сталина — «пахана», начинал сомневаться и в Ленине. Снова и снова он спрашивал настойчиво: могу ли я доказать, что если бы Ленин остался жив, то не было бы ни раскулачивания, ни насильственной коллективизации, ни голода. Я тогда считал, что все эти страшные события были следствием трагических, роковых обстоятельств, но думал, что одной из существенных предпосылок этих трагедий были некоторые особенности сталинской личности. В его гениальности я не сомневался. Представлял ее векторной, однонаправленной, устремленной каждый раз только к одной цели. Что и приводило его к неизбежным просчетам, к роковым ошибкам. Зато Ленина я с уверенностью полагал «радикальным», т. е. разносторонним универсальным гением, и старался доказывать, что если б он прожил дольше, то мы построили бы социализм значительно менее дорогой ценой.

Солженицын возражал:

— Это пустые выдумки. Ты обвиняешь Митю и меня в схематизме, а сам придумал совершенно искусственную схему. Почему же это пахан у тебя один вектор и никаких радиусов? Он ведь и по национальному вопросу писал — «чудесный грузин»… Он и в ли-

тературе «лучшего, талантливейшего поэта» назначил. И открыл «штуку, посильней, чем «Фауст»… Он и в музыке, и в биологии порядок навел. «Корифей всех наук»… Так почему же только вектор? Нет, ты недооцениваешь. Нэ харашо, дарагой кацо, нэ харашо! За такую недооценку десятого пункта мало, это уже диверсией пахнет.

Еще долго я оставался неисправимым «красным империалистом». В моем сознании вызрел весьма типичный для той поры симбиоз советского патриотизма и русского национализма. Едва ли не главным доказательством гениальности Сталина служили мне державные завоевания. Ведь мы всё вернули, что утратили от прежней великой России, и еще добавили. От Эльбы до китайских морей размахнулись. Все это — реальные победы, и победителей не судят.

Солженицын отмахивался и от этих аргументов. Он рассказал, что в какой-то книге воспоминаний о семнадцатом годе прочел описание солдатского митинга. Пожилой солдат-фронтовик перебил оратора, кричавшего, что России необходимы проливы, выход в Средиземное море: «А на х… нам те моря! Мы что, пахать их будем?»

Эту здоровую мужицкую правду он противопоставлял моим великодержавно-сталинистским восторгам. Он не верил, что завоевания нужны России, не верил, что Сталин заботится о народе, — Ленин, Бухарин, может, еще и думали об этом, а Троцкому, Зиновьеву, Сталину, Кагановичу — им один хрен, что Россия, что Германия, что Китай. Для них главное — их теории, победа марксизма-ленинизма в мировых масштабах. Ради этого все средства хороши, все годится, что выгодно. Можно и Ивана Грозного славить, и молебны служить, и русские приоритеты придумывать, но цель все та же — мировая революция…

В суждениях о конкретных событиях, об исторических деятелях, когда мы оценивали, что хорошо, что плохо, у нас почти не было разногласий. Но когда я доказывал неизбежность, историческую детерминированность революций, гражданской войны, террора, коллективизации, — он взрывался:

— А кто ее доказал, эту историческую необходимость? А что, если бы Корнилов одолел трепача Керенского? Если бы красновские казаки разогнали съезд Советов, расстреляли Ленина и Троцкого? Ведь такая возможность была. Значит, получилась бы другая историческая необходимость?.. А почему это нельзя применять в истории сослагательное наклонение? Кто запретил? Ведь Александра Второго могли бы и не убить? И тогда вся внутренняя политика пошла бы по-другому. И если бы Распутина убрали раньше… Ты все талдычишь про объективные условия, социально-экономические предпосылки. Эти объяснения историки придумывают задним числом. Доказывают, что было именно так, потому что не могло быть иначе…

Он говорил, что раньше верил основным положениям марксизма, а потом стал все больше сомневаться. Потому что не мог верить историческим анализам тех, чьи прогнозы оказались ошибочными. Ведь даже самые великие — Маркс и Ленин — ошибались во всех предсказаниях. А уж Сталин и подавно: объявил мировой кризис последним кризисом капитализма, потом придумал особого рода депрессию… В 1941 году обещал победу «через полгодика, через год».

Мы спорили, топчась по снегу, шепотом, чтоб не услышали другие гуляющие, сквернословя и матерясь, чтобы «колорит» беседы не отличался от обычной зековской трепотни. Я пытался убеждать его, приводил примеры сбывшихся марксистских прогнозов. Он возражал, что это лишь исключения, которые подтверждают правила, — вроде метеосводок: врут, врут, а вдруг и угадают — то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет…

— Ах, по-твоему, диагнозы с этим нельзя сравнивать? Тогда почему же вы называете это наукой? В физике, в химии, в биологии закон потому и закон, что повторяется в будущем. Закон Архимеда и Гей-Люссака годится и для диагноза, и для прогноза. Вот когда ты мне о языке рассказываешь, о лингвистических закономерностях, я тебе верю. А тут — нет. Ты пленник своих догматов. А я вижу, сколько брехни из них вывели…

* * *

В самом укромном углу библиотеки, за стеллажами, у нас было вечернее убежище. Там мы жарили картошку на электрической плитке, прозванной «камином», распивали крепчайший чай и толковали о всякой всячине, избегая споров. Потому что в другой части комнаты бывали разные люди.

И вечерние беседы «у камина» чаще всего были мирными воспоминаниями и размышлениями вслух о литературе, о живописи, о музыке… Солженицын говорил, что все в конечном счете может быть объяснено. Для этого необходима только сильная и опытная мысль. Он рассказывал, что его жена Наташа объясняла ему и Шопена, и Бетховена. И конечно же истолковывала все правильно, потому что она не только музыкантша — учится в консерватории, — но еще и научный работник — химик, аспирантка.

— Как, и твоя жена химик? Еще одно совпадение…

Каждый из нас пытался убеждать других, что понимает музыку, и говорил, о чем именно он думает, что представляет себе, когда слушает… Но согласны мы были только в немногих случаях. Например, когда по радио передавали Мусоргского «Рассвет над Москва-рекой»… Тогда и мне казалось, что я так же, как оба друга — скептик и романтик, — не только слышу, но и вижу. Тихая утренняя река. Туман. Травянистые, глинистые откосы. В кустах поют птицы. Старая бревенчатая Москва. Колокольни, купола, крутые тесовые крыши — темно-серые на синеве, первые петухи. Небо из синего становится зеленым, потом оранжевым, розовым, голубым… Голоса людей. Первый благовест… Утро!

Живописная музыка Мусоргского радовала вдвойне еще и тем, что была так объяснима.

Библиотеку шарашки составляли отечественные и трофейные технические книги, немецкие, английские, французские, американские научные и технические журналы. Из-за какой-то путаницы в министерском коллекторе или на почте несколько раз присылали нашей шарашке американские военные журналы: «Ежемесячник

полевой артиллерии», «Журнал береговой артиллерии», «Журнал зенитной артиллерии», «Авиация» и др. Их никто не цензуровал, и в некоторых попадались весьма занятные статьи на политические темы, например, Фуллера — о перспективах третьей мировой войны. Я пересказывал их друзьям. Неведомо как оказалось несколько книг по философии, истории, языкознанию. И даже кое-что из беллетристики.

Переводить мне приходилось много. Но скоро я набил руку и легко перевыполнял норму — один печатный лист за 4 рабочих дня. Больше всего переводил немецкие и английские, реже французские, голландские, чешские тексты. Главным образом на темы радиотехники. К концу зимы я уже читал и переводил без словарей. Оставалось время для иных, посторонних занятий, которые мы называли «тренировкой для повышения квалификации» в тех случаях, когда кто-нибудь из начальников заглядывал через плечо и видел необычные книги и записи.

Панин вечерами, сосредоточенно безмолвствуя у своего кульмана, размышлял о новых способах ковки либо подбирал слова для «языка предельной ясности». Однажды он сказал, что решил признать диалектику Гегеля, которую именовал «учением о противоречиях». По его рассказам, произошло это неожиданно для него самого и так же решительно, как в лагере, когда он внезапно признал Маяковского.

— Он по всем ухваткам был вроде нарядчика из блатных бытовиков. Этакий нарядила-горлохват… Но стихотворец могучий. Я это понял, услышав, как читал один артист. Могучие и вдохновенные стихи. Притворялся безбожником, богоборцем. Но слова-то у него из Священного писания; и слова, и страсти…

Солженицын постоянно читал словарь Даля, делал выписки в маленьких самодельных тетрадках либо на листках, которые потом сшивал. Он писал крохотными буквочками-икринками, сокращал слова, иные заменял математическими или стенографическими значками. Тогда он изучал стенографию по самоучителю. Читал он и книги по истории, философии, и «Войну и мир». Том из ста-

рого собрания сочинений Толстого был его собственностью, он его никому не давал. Когда я все же выпросил, то увидел текст и поля, испещренные пометками. Некоторые показались мне кощунственными. Он помечал: «неудачно», «неуклюже», «галлицизм», «излишние слова».

От укоров он отмахнулся.

— А ты не пугай меня авторитетами. Я так думаю. И это я писал для себя. Язык Толстого устарел.

И напомнил, что я же говорил ему о языке как о живом существе, непрерывно развивающемся, изменяющемся, говорил, что язык Пушкина был иным, чем у Державина, и мы не можем, не в силах — как бы ни хотели и ни старались — удерживать развитие, сохранять неизменным язык, созданный великими классиками.

Солженицын хранил в особом тайнике большой том, в котором были переплетены вместе несколько работ о древнем Востоке.

Нас обоих поражала необычная злободневность сурово печальных и добрых мыслей Лао Цзы.

— Оружие — орудие несчастья, а не благородства. Благородный побеждает неохотно. Он не может радоваться тому, что убивает людей!

— Чем больше запретов и ограничений, тем беднее народ. Чем больше законов и предписаний, тем больше воров и разбойников.

Лао Цзы призывал за полтысячелетия до Христа: «Воздавайте за вражду благодеяниями».

Конфуций через столетие после Лао Цзы возражал: «А чем тогда воздашь за добро? Справедливостью плати за несправедливость, но добром плати за добро… Не причиняй другому того, чего ты не хотел бы, чтобы причинили тебе».

Они на века опередили проповедников христианской нравственности и категорический императив Канта. Так подтверждались мои представления о единстве человеческого рода, которые возникли еще в пионерском детстве, в пору эсперантистских фантазий.

Но каждый раз, когда мы об этом говорили втроем, разгорался бесконечный спор.

Панин, не возражая по существу, решительно говорил, что все такие утверждения суть пустые ереси; ему нет дела ни до каких древних китайцев. Он допускает, что среди них были мудрецы, подвижники духа, но ему незачем их читать, понимать. Откровения истинной веры воспринимаются сердцем, а не рассудком.

— Когда речь идет о вещественных предметах, о величинах исчисляемых, измеримых, о задачах зиждительских или научных, следует доверять только разуму. Но постижение Бога и сознание своей народности доступно лишь тому высокому духовному восприятию, которое превыше всех умов. Сия тайна велика есть. Так что нечего и болтать. Вот когда прочтешь книгу «Догматическое православие», тогда, может быть, поймешь, что это значит. И не надейся подавить меня своей ученостью. В отличие от истинных наук, исследующих, объясняющих действительные природные вещи и природные силы, в отличие от наук числа и меры, все твои словесные науки — суета сует. Это про них сказано: «Расколы и ереси наук суть дети».

Солженицын посмеивался над истовостью нашего друга, но мои рассуждения о единстве рода человеческого воспринимал столь же недоверчиво, а иногда и неприязненно.

— Вот ведь и пахан сообразил, что все ваши коминтерны, профинтерны и прочие мопры — мура. Когда порохом запахло, когда почуял опасность, так вспомнил про Россию, про русских полководцев и про Александра Невского, — даром что святой, — и про Суворова и Кутузова. И церковь стал на помощь звать…

Тщетно пытался я доказывать, что наш интернационализм, советский, марксистский, ленинский, не отрицает наций, не подавляет национальную самобытность, а, напротив, призван всячески ей содействовать; что «ИНТЕР» означает «между», а не «без», и наша цель — *международные* связи, дружеские, равноправные отношения *между* разными народами. Мне это казалось само собою разумеющимся. Но убедить никого *я* не мог.

Когда я рассказывал Солженицыну об истории различных партий, дошел до эсеров и, вспоминая имена руководителей, в числе других назвал Горовица, Гершуни, Гоца, он прервал удивленно, поч-

ти недоверчиво: как же так — еврейские фамилии, ведь эсеры были русской крестьянской партией? И снова удивился, когда я стал опровергать то, что он считал общеизвестным: будто все троцкисты были евреями, а бухаринцы, напротив, — только русскими.

Панин упрекал меня за греховное отречение от своего народа — за то, что не хочу признавать себя «прежде всего евреем».

— А ведь сам ты похож на ветхозаветного пророка и статью, и обликом, и нравом. Что из того, что не знаешь языка! Ты и себя самого не знаешь! А со стороны виднее. Господь определил твою судьбу: ты рожден сыном избранного народа. А ты, жестоковыйный иудей, кобенишься — права качаешь, темнишь!

Солженицын вторил ему. Разумеется, он верит в искренность моих убеждений, в то, что, будучи евреем, я при этом сознаю и чувствую себя русским. Однако не может согласиться ни с этим, ни с моим самоопределением «русский интеллигент еврейского происхождения».

— Конечно, ты хорошо знаешь русский язык, литературу, историю. Знаешь больше, чем мы с Митей. Но ведь немецкий ты тоже хорошо знаешь. Все-таки хуже? Пусть. Но немецкую историю и немецкую литературу уж конечно не хуже. Ведь в них твое призвание. И проживи ты в Германии лет 10-15, ты вполне мог бы считать себя немцем. Так же, как Гейне или Фейхтвангер. А ни Митя, ни я никогда не могли бы. Да что мы? Вот наш дворник Спиридон. Он полуграмотный. «Слово о полку» не читал, даже не слышал о нем. О Пушкине только похабные анекдоты знает. Но проживи он хоть всю жизнь в Германии или в Польше — везде останется русским мужиком.

В таких перепалках меня особенно злило собственное бессилие. Как спорить против «если бы»? Или когда твои самые убедительные доводы отстраняются дружелюбно, однако безоговорочно и решительно, — мол, верим, что ты так думаешь, но только думаешь и хочешь подчинить рассудку то, что ему неподвластно, — сердце, кровь, таинственный мир генов, который создавался тысячелетиями…

Возражая на это, я доказывал, что инстинкты, подсознание, стихийное мироощущение существенны для художественного мировосприятия. Однако национальное самосознание — это прежде всего именно СОЗНАНИЕ, и его создают разумно воспринятые представления о мире.

Живое чувство принадлежности к своему «роду-племени» воспитывается и непосредственно, и в самых разных опосредованиях.

В известной мере оно прививается уже и с молоком матери, т. е. в младенчестве, с первыми звуками родного языка, родных песен. Но все же возникает не в зародыше. И по-настоящему создается и развивается национальное сознание в юности.

«Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» наследуют не по рождению, а по воспитанию.

* * *

В Бутырках, незадолго до отъезда на шарашку, у меня было свидание с мамой и с Надей.

Мы стояли, разделенные железными сетками, между которыми расхаживали надзиратели.

Одновременно происходило пять-шесть свиданий… Гомон минутами оглушал. Надзиратели покрикивали:

— Давайте потише! Вам говорят, чтобы тихо… Нельзя галдеть…

Мама и Надя рассказали, что Военная коллегия Верховного суда по кассационной жалобе моего адвоката сократила мне срок до шести лет, — значит, осталось еще три года с лишним. Но адвокат уверял, что через несколько месяцев можно будет обратиться к пленуму Верховного суда. А то, что Коллегия уже сократила срок, — хороший признак.

На шарашку я приехал, зная, что осужден на шесть лет, и надеясь освободиться раньше. Ведь я был уже один раз оправдан и так

отчетливо помнил тот январский день, когда вышел из ворот Бутырок… Еще и года не прошло…

Когда мы с друзьями говорили о будущем, я исходил из того, что и в худшем случае все же выйду на свободу первым — к лету 1951 года; через два года — Солженицын и еще через полгода — Панин.

Митя возражал:

— Не надо тешиться мечтами, господа! Нас не отпустят. Если б еще в лагерях были. Оттуда, может быть, и вышли бы в большую зону — в ссылку. Но из шарашки — никогда. Ведь нас тут посвятили в тайны… За все здешние блага — за матрацы, простыни, за кисель — придется дорого платить. Хорошо, если тут же намотают новые сроки. А то ведь и налево пустить могут, как раньше чекисты шутили — в земельный отдел… Нет, господа, нечего нам высчитывать годы, мы осуждены пожизненно.

Однако я упорствовал, верил, что будут перемены к лучшему. Верил не только по врожденной склонности к оптимизму, но, как мне казалось, основываясь на здравых расчетах. Успехи внутренней и внешней политики должны ослабить напряжение «повышенной бдительности». А расширенные связи со странами народной демократии, конечно же, благотворно повлияют на нашу общественную жизнь. Будет расти уверенность правительства в безопасности, в прочности государства, и, естественно, смягчится карательная политика…

Солженицын сомневался, но я видел, что и ему хотелось надеяться. Панин был убежден, что «этот безбожный и, значит, безнравственный мир» не может никак улучшиться.

Нечего было и думать о том, чтобы в ближайшие годы заниматься литературой, историей или философией; к идеологии уже не подпустят. Но языковедение, и в частности палеолингвистика, изучающая древнейшие истоки современных языков, мне представлялось идеологически нейтральным и притом необычайно интересным поприщем. Ведь и древняя история языка сказывается в его живой действительности — в словаре и во всем строе. Углубляясь

в историю, можно исследовать давние связи между разными народами и расами, их взаимовлияния и взаимодействия.

У Марра я читал, что языку звуковому предшествовал язык жестов — ручной. Это утверждали и некоторые другие ученые. В библиотеке шарашки оказалась книга Леви-Брюля «Первобытное мышление». Сознание первобытных людей сближало или даже тотемически отождествляло совершенно разные предметы, иногда лишь отдаленно, условно «причастные» друг другу. Это должно было проявиться в языке.

Так возник замысел, который про себя я счел «гениально простым»: проследить древнейшие источники прежде всего русского и родственных ему языков, исследуя этимологию слов, обозначающих руку, часть руки (палец, кулак, плечо, локоть), действия, осуществляемые руками (брать, давать, копать, бить, колотить, бросать и т. д.), а также некоторые предметы, которые могли восприниматься как сопричастные руке (камень, палка, кол, лопата, топор, нож, меч, кинжал и др.).

Сопоставляя разноязычные слова такого рода, я надеялся установить древнейшие связи между языками. Для этого нужно было возможно больше разноязычных словарей и разговоров с людьми, владеющими такими языками, словари, которых я не мог получить. Мои родные присылали книги, которые им удавалось достать через друзей.

Каждую свободную минуту я размышлял о «ручных» корнях, производных и родственных словах. Словари читал не менее увлеченно, чем самую занимательную беллетристику; составлял таблицы, сравнивал, раздумывал… Многое, разумеется, и выдумывал, придумывал. Увлечение рождало желаемые выводы. Но исходные предпосылки и некоторые этимологические наблюдения и гипотезы мне и сейчас представляются достоверными. И очень хотелось бы, чтоб их продолжали исследовать более основательно.

Нам приходилось работать с каждым месяцем все напряженнее. И работы были интересные, увлекающие. Но все же я продол-

жал время от времени копаться в словарях, выспрашивал тех, кто знал кавказские, тюркские, сибирские языки…

* * *

18 марта 1948 года меня вызвал оперуполномоченный тюрьмы майор Шевченко — широкий, болезненно вспухший толстяк с оплывшим бледно-желтым лицом — мы его называли «Будда» или «Далай-лама». Он протянул листок. Стандартный типографский текст с вставками на машинке. Пленум Верховного суда во изменение ошибочного решения Военной коллегии назначил мне десятилетний срок заключения (до какого-то июня 1955 года. Значит, еще больше семи лет!).

Итак, снова проклятые *иды*. Как тогда, в марте 1945 года, когда все началось.[3]

Первые мгновения холодная пустота. Почувствовал, как стучит сердце, — раньше замечал его только после тяжелой работы, крутого подъема или долгого бега…

Больше никаких надежд. Стоит ли жить? Хорошо, что на шарашке. Здесь можно повеситься так, что не скоро заметят. Такое подумал, кажется, впервые…

Но ведь живут люди и с большими сроками. Чем я лучше?

Майор Шевченко глядел пристально. В узких щелках между разбухшими, почти безресничными веками просветы неразличимой окраски.

— Вы вот что… не надо, того… отчаиваться. Как говорится, вожжи отпускать. Вы ж еще молодой. И здоровье вроде хорошее. Еще поживете на воле. Есть же у вас семья, того — жинка, дети… Дочки, кажется? Они же вас ждут. И дождутся. И мать с отцом есть.

---

[3] Даже сейчас, когда пишутся эти строки, хотя я уже почти четверть века на свободе, я все еще нелепо суеверно побаиваюсь «мартовских ид». Множество разных бед в разные годы приключалось со мной между 15 и 20 марта. И как ни злюсь на свою слабость, но в эти дни не могу избавиться от напряженного тревожного ожидания.

И тоже надеются. Вот о них должны думать… А у вас самого образование хорошее, говорят даже, того, выдающееся. Квалификация высокая. И работа у вас здесь, того, интересная, полезная для государства и для науки и лично для вас, того, в разных смыслах. И на сегодняшний день хорошие условия. Сами ведь знаете, как, того, в других местах. И может быть, на будущее… Так что вы держите себя. Вы же мужчина, того, вояка были…

Слушая, я насторожился. Ага, сейчас вербовать будет. Чего же еще было ожидать от опера, от кума?

— Вы не думайте, что я вас, того, агитирую, говорю, что положено. Это же и вправду так. Правда. По-человечески. Я вот старше вас только на три года, а ведь, того, никто не поверит, какой вот стал… Все через болезнь сердца. Имел тяжелую контузию; я тоже на фронте был. А сейчас живой только потому, что, того, берегусь… Вот сосу, лижу, глотаю… И хожу, как, того, за гробом ходят. А еще пожить хочу. Потому и стараюсь, чтобы нервы, того, трепать поменьше. Как хоть трошки понервничаю, уже тут, — он положил широкую, толстолапую руку себе на грудь, — и ноет, и свербит, и, того, замирает, аж тошно… Здоровье — это самое дорогое. Вы же по-украински понимаете: где бы здоровье ни загубив, вже нигде не найдешь. Так вот я вам советую, того… берегите здоровье, не распускайтесь. Понятно?.. Ну, идите, работайте…

Он и позднее не пытался вербовать ни меня, ни моих друзей. А ведь он несомненно получал донесения от стукачей и, конечно, давал им надлежащие задания.

Он выдавал нам письма, разумеется, вскрытыми, должно быть, просматривал.

Недели через три после этого мартовского разговора, отдавая присланные мне ко дню рождения книги и журналы, он сказал:

— Хорошие вам книжки дарют. Хотят вам, того, радость сделать. Опять словари. Теперь турецкий. А вы, говорят, много языков знаете? И еще интересуетесь? Ну, что же, это, того, полезно… Но вот и стихами тоже, и романы читаете… А ведь есть и другие, кто, того, читать любят. Вы ж товарищам книжки даете?

Я опять настораживался: куда он клонит? Но он не ожидал ответа.

— Так вот — от там… — На подоконнике лежали стопами дюжины три книг, некоторые довольно потрепанные. — Эти книжки я принес для всех, того, ваших. Мы с начальником поговорили — надо иметь свою библиотечку. А как вы много получаете разных книг, то вас и назначим, того, библиотекарем. Шкаф поставим в коридоре, можете находить себе помощников. Вот Солженицын заведует библиотекой на объекте… Я его просил, чтобы он и нашу взял. Но он отказывается, — говорит, того, перегруженный работой. День и ночь должен думать. Обещал, что будет помогать — кому другому, например, вам, и я, того, надеюсь, вы не откажетесь. Мы потом еще книг достанем. Начальник сказал, что выделит фонды. А вы с Солженицыным составьте список, какие книги, того, желательно. Но только художественные. Научные вы же можете получать на объекте.

Майор Шевченко потом еще несколько раз приносил новые популярные издания классиков и советских писателей. Он все чаще болел. Его сменил румяный щеголь и хам, подполковник Мишин, который пытался вербовать каждого, кто входил в его кабинет за письмом или с заявлением «на свидание».

Майор Шевченко — единственный изо всех виденных мною оперов — был просто человечен. А ко мне и по-настоящему добр в очень трудные часы.

В те дни друзья стремились быть со мной помягче. Даже самый ожесточенный арестант, казалось бы давно привыкший к своим и чужим бедам, разочарованиям и лишениям, не может оставаться равнодушным, когда товарищу «довешивают срок».

Панин по собственному опыту знал, каково это. А Солженицын хотя и старался казаться суровым, закаленным в боях ветераном и непроницаемым «туземцем» архипелага ГУЛАГ, испытанным в тюремных мытарствах, но еще сохранял юношескую впечатлительность и отзывчивость. Он и Панин то порознь, то вдвоем всячески отвлекали меня от дурных мыслей, тормошили подначками,

заводили долгие беседы на возможно более мирные темы философии, истории или моих языковых изысканий. Панин даже пытался привлечь меня в соавторы «языка предельной ясности» и с необычной кротостью выслушивал ехидные или сердитые возражения.

* * *

Надю и родителей я мог видеть не чаще двух-трех раз в год. Но встречались мы уже не в зарешеченных боксах Бутырок, а лицом к лицу, за обычным письменным столом в следовательских комнатах Лефортова.

Эти свидания и письма были праздниками. Писали не только родные. Все эти годы я получал чудесные письма в стихах и прозе от Инны Левидовой. Приходили добрые приветы от многих друзей. К каждому дню рождения Берта Корфини присылала сладкий пирог.

Мысли о тех, кто помнил, помогали жить.

Помогали еще музыка и стихи.

…На столе Солженицына стоял большой приемник. По вечерам мы слушали концерты инструментальной музыки. Никогда раньше я так не воспринимал Моцарта, Бетховена, Глинку, Чайковского, Мусоргского, как в те шарашечные вечера. Мы натягивали наушники — вблизи не было других охотников слушать.

Панин уважал нашу слабость к «отвлеченной» музыке, не мешал нам и отгонял других. Но некоторые полагали, что мы просто «давим фасон», притворяемся, будто бренчанье и пиликанье предпочитаем частушкам, хорам, опереттам. И только хмыкали, когда мы брались за наушники. «Опять симфонию накнокали интеллигенты…»

Впрочем, были и опытные меломаны, которые многозначительно поругивали то, что мне нравилось, и похваливали то, чего я вовсе не замечал.

…И даже больше, чем музыка, были нам необходимы стихи. В тихие вечера за стеллажами мы читали Пушкина, Тютчева, Блока, Гумилева, Есенина, Маяковского, Пастернака, Симонова… Часто спорили. Для Солженицына главным поэтом тогда был Есенин. Однажды, когда я стал читать переводы Багрицкого, он даже рассердился.

— А на что мне эти Дренгельские рощи? Тень-день… дрень-дрень… Это все иностранные дрень-дрень. А мне нужны русские стихи, о России.

Солженицын писал большую автобиографическую поэму-повесть о том, как он вдвоем с другом плыл на лодке по Волге от Ярославля до Астрахани. Мне тогда нравились его стихи, по-некрасовски обстоятельные, живописные. Особенно понравились два места в поэме. Автор и его друг встретили мрачную баржу, густо набитую оборванными, худыми, коротко стриженными людьми. Юноши, выросшие без отцов, и арестанты, оторванные от своих детей, глядели друг на друга. А потом, ночью, в прибрежном шалаше автора и его друга разбудили крики, брань, лай собак, ослепляющие лучи карманных фонарей… К ним ворвалась свора преследователей, искавших беглецов…

Ко дню рождения он подарил мне стихотворное послание, которое мне тоже показалось хорошим, хотя и несколько сентиментальным. Описывалось, как я встречу своих дочерей, как буду им рассказывать о жизни

На острове мужчин,
Где не знают женщин
И не любят вин…

Стихи сочинял и я. Начал уже в первые часы после ареста. Однако ни тогда, ни позднее ни на одно мгновение не вообразил себя поэтом, как иногда случалось в 15–16 лет:

Я нынче только потому
Вернулся вновь к стихам,
Что их размеренную речь
Мне легче в памяти сберечь.

Мысли о том, как сохранить память и с нею себя, донимали всего упорнее в те дни, когда еще в тюрьме я оставался один без книг или когда обрушивались новые беды. Тогда особенно обильно рождались стихи: зарядка памяти, зарядка души…

Запоминай! Запоминай!
Ведь все пройдет, промчится мимо,
И этот день, и этот май,
Ведь это все неповторимо,
И зелень свежая травы,
И рябь оранжевых цветов,
И смех мальчишек-часовых,
И вкус махорочных бычков.
Запоминай! Запоминай!
Тюрьму. Сирень. И этот май.

*(Штеттин, 1945)*

И я старался запоминать. И ради этого кропал множество стихов, шутливых и серьезных, коротких и тягуче-длинных. В первую зиму шарашки возникли два, которые друзья сочли получше других:

Кто услышал в тюрьме повороты ключа, —
Щелчок,
И щелчок,
И еще раз — щелчок…
У того будет в памяти долго звучать
Тот клекот железный,
Та злая печаль…
И таращиться будет в бредовых ночах
Одноглазый волчок.
Все пройдет. Но потом, через множество лет,
Ты внезапно тоскливо застонешь во сне.
Померещатся черные прутья в окне.
На квадраты изрезан белесый рассвет.

Глухо топнула дверь, и забряцал замок.
Щелчок!
И щелчок!
И еще раз щелчок!

А второе стихотворение родилось уже именно в шарашечных ночах. Нам иногда казалось, что мы находимся где-то за пределами города. Из окон виднелись густые деревья Ботанического сада и тогда еще немногочисленные постройки совхоза — оранжереи, огороды. Москва только угадывалась за горизонтом. Ночью небо в той стороне было розовато-лиловым — зарево московских огней. Шумы улиц едва доносились. Зато ночью слышны были поезда. Где-то неподалеку проходили пути Рижской и Ярославской железных дорог.

Ночами печальные кличут гудки.
Невнятен, чуть слышен колес перестук,
В них всхлипы вокзальной, прощальной тоски,
Печаль неизбытых разлук.
Ночами далекие кличут гудки,
На волю, на волю, на волю зовут,
В леса и в поля, и в прохладу реки,
И к теплому морю, и в горы…
А тут…
Все дальше, все тише ночные гудки…

## *Глава вторая*
## ДВАЖДЫ ИЗМЕННИК

…Едва за дверью камеры слышалось: «Приготовиться, поверка!», он первым вскакивал. Но становился в самом конце последнего ряда… Рослый, немного сутулый. Широкое лицо почти без морщин; маленькие, светло-голубые глаза. Руки длинные, ладони широкие, темно-шершавые. Работал он дворником. А по вечерам узловатые пальцы с каменными ногтями ловко управляли маленькой иголкой. Штопал носки, что-то подшивал, латал и себе, и кому-нибудь из сокамерников. Ни в шахматы, ни в шашки, ни в домино не играл, читать не мог — плохо видел, а очков не было.

Он ни с кем не заговаривал первым, но отвечал с готовностью; рассказывал обстоятельно и медленно, будто подбирая слова по одному.

— Из деревни я, — Гумбинен, слыхали? Так точно, в Пруссии. Там воколе деревня, где я жительство имел с одна тысяча девятьсот двенадцатого года. А рожденный в России. Русские мы. Я с одна тысяча восемьсот девяностого года. Саратовской губернии, Балашавского уезду. В крестьянстве рожденный. Только я круглый сирота. Мать вовсе не помню. Когда они померли, ничего еще не смыслил. Отец плотники были. В городе работали, там и померли. А я у деда жил. Двор большой, неделеный. Дядья, невестки; у всех дети. Один помрет, двое народятся. И завсегда ртов больше, чем рук. Ну, а я без отца-матери всем подчиненный. И от каждого получай — от кого пинок, от кого плюху, а то и палкой по хребту. Одна бабушка жалели сироту. Так и они померли… Грамоте я еще еле знал. Потом уж

в казарме подучился. И первые сапоги надел, когда в солдаты взяли. А то все в лаптях. Пока сам плести не умел, чужие донашивал… Поначалу-то, после деревни, мне казарма очень даже показалась: хлеба, каши вдосыть, приварок завсегда, обмундирование, обувка, постеля чистая… Но гоняли, конечно, без роздыху. И потом еще скука! В крестьянстве работа и потруднее бывала, а все не такая скушная, как солдатчина. Там одного дня пашешь, другого — боронишь, сеешь. То скотину пасешь, то сено косишь. И воздух легкий… И бывает, когда на час, другой, когда на цельный день, ты сам-один, сам по себе — хочешь Богу молись, хочешь песню играй, — и дышать вольно. А в солдатах завсегда как овца в стаде. Знай только слушай: «Смирна… ррравняйсь!.. Грудь вперед, брюхо подбери!»

На второй год взяли меня в пограничную стражу. Там уж никакого тебе покою. То этих… трабандистов ловить, то так на авось тревога — «В ружье!.. Беги!.. Ложись!.. Ужом ползи, лягухой прыгай!». Фитьфебель был — зверь! Ротный — поручик, все больше пьяный или с барышнями польскими. А фитьфебель — царь и Бог; наш отделенный унтер перед ним как лист перед травой: «Слушаюсь!.. Рад стараться!..» Тот тебя ругнет, а этот сразу по скуле. И чуть что — под ружье с полной выкладкой. Еще и песку в ранец насыплет, чтобы потяжельше, и так стой столбом хоть в мороз, хоть в дождь, хоть в самую жару… Один солдатик зимой почти насмерть замерз. Еле отходили, а ногу потом отрезали. Калекой сделался. Сколько раз меня так ставили, не сосчитать. Стоишь на взгорке — это чтоб им — начальникам — приметно было, чтобы шелохнуться не смел, — а на той стороне Пруссия… Деревня чистая. Избы все под черепицей… Мужики и в будни, и в поле в сапогах. Кони сытые, издаля видно. И пашут пароконными плугами. Железными. Блестят на солнышке. Сеют не с лукошка, а конными сеялками… И коровы гладкие, одна к одной, пегие, черно-белые… А пастух, как барин, в шляпе, в сапогах… Вот так смотришь-смотришь, а сам стоишь истуканом: башка трещит, глаза жжет, в сапоги пот натекает, портянки хоть выжимай…

В роте у нас, кто имел родителев или сродственников, какие жалели, тот получал посылки или когда трешку, а городские и побольше — ну, они к фитьфебелю, к унтеру: «Пожалуйте гостинчик, не побрезгуйте…» Так им служба полегче бывала. А мне и письма никто не написал… Нас — кто безродные сироты — строжили больше всех. И наряды вне очереди, и под ружье… А скульнешь с обиды: «За что караете невинно?» — еще хуже приложат. Да еще нагрозят — в арестантские роты пойдешь. Один солдатик был не русский. Татарин вроде с Кавказу. Его Махметкой дражнили. Тихий такой, безотказный. Душа добрая, всем рад пособить. А фитьфебель над им каждый день изгалялся. И гонял зазря — бегом, ползком, на карачках… И все муштровал, как честь отдавать, как здравствовать всех — ваши благородия, ваши превосходительства и аж императорское величество… У того и так язык путается, а с перепугу и вовсе немел. Стоит, плачет. А фитьфебель ему кулаком и по зубам, и по салазкам, и под дых: «Я тебе глотку прочищу!» И унтер туда же, и солдатики были такие, что только хи-хи да ха-ха… Так Махметка пошел одной ночью в караул — разулся, винтовку в рот стволом, а ногой босой на курок, застрелил себя насмерть… После того и я решился: не останусь при тех иродах. Днем опять стоял два часа под ружьем на солнцепеке — не угодил фитьфебелю, не так сапоги почистил. А ночью, как пошел в караул у самой границы, у ручья, кинул винтовку в кусты — леший с ней — и прощай Россия!..

А там, в Германии, в Пруссии, подержали меня три дня в караулке. Офицер приходил в очках, такой почтенный, говорил понашему складно. И со мной, как с барином, обходительно, на «вы», честь по чести спрашивал: кто, откуда, как служил, зачем убег. А потом отвезли в Гумбинен и там определили в усадьбу — в графское поместье. Там я был три лета и три зимы. Понимать стал по-немецки. Другие батраки там были — по-ихнему лянд-арбайтер — и с немцев, и с поляков. А поляки говорят — похоже, как по-русски: работать — робиць, рабочий — роботник, мать — матка, отец — ойтец… Ведь похоже?.. Через них я и немецкому научился… Всем имением командовал такой пан инспектор. В годах уже, строгий, но справед-

ливый. Он польский хорошо понимал и по-русски малость. Он меня сперва до коней приставил. Кони справные были: и дюжие, и красивые. А я завсегда всякую скотину жалел. И за ними ходил как за своими. Кормил и поил когда надо, как следует, и гривы, и хвосты по волоску расчесывал, и копыта стругал… Пан инспектор придет, белый платочек с кармана вынет, потрет у одного холку, у другого в паху, «гут» говорит. И папироской угощают — «Витте, раухен» — кури, значит, пожалуй.

Как та война началась — первая, царская еще война, — приехали в имение жандармы, искали меня, опасались, как я раньше был русского царя солдат. Но тот пан инспектор меня жандармам не дал. А послал с конями подальше от войны. Там еще конюхи были — поляки, но тоже русской державы подданные. Вот мы с ними и погнали табун… Сзади уже пушки слыхать было. А поляки меня пужали: вот поймают нас козаки, шашками порубают или повешают. Но потом война обратно повернула, и мы к зиме вернулись… А на осень я женился… Она вдовая была с малыми детями, сын и дочка. Мужик ее молодым помер. А сродственников ни у него, ни у нее. Круглые сироты, вроде как я. Хозяйство не так чтоб большое — удобной земли семь моргенов — по-нашему десятины две будет. Да еще и корова, и свинки, и куры-утки… Как ей одной управиться? Она и ходила в имение — работать в поле, во дворе. Платили малость. Зато пан инспектор помощь давал, посылал и вспахать, и посеять, и убираться… Вот и меня посылал, весной с плугом, летом с косилкой. Ну, я там и во дворе помогал. Показалась она мне. Хорошая фрау и с лица, и так, чистая, прилежная, тихая и веселая. И я ей показался. Молодой был, сильный, до всякой работы прилежный и тоже тихий и веселый… Ее Мария зовут, как мою маму покойную. Меня сызмальства звали «Машкин Сенька». Потому в нашей семье еще два Сеньки были — мои двоюродные Петров Сенька и Семенов Сенька… И деда нашего Семеном звали, и фамилие наше Семеновы. А немцы прозвали Зимон Зимоноф…

Мы с Марией поженились в одна тысяча девятьсот пятнадцатом году. Пастор венчал. Хороший старичок. Спросил меня: «Ты в Крис-

туса веруешь?» Кристус — это по-ихнему Христос. «Конечно, верую и молиться знаю: «Отче наш». Он и сказал: «Гут». Бог-то везде один. Немцы зовут «Либе готт» или «Герр готт», поляки — «Пан буг», а это все едино, как у нас «Господи Боже»… Слова разные, а Бог-то один.

Мы с Марией хорошо жили. Она еще троих родила — двух дочек и сынка. Но я и тех первых двух, как своих, жалел. Старшая дочка — она тоже Мария — еще в одна тысяча девятьсот тридцать первом замуж вышла. Мужик ее на айзенбане, на железной дороге служил, они потом в самый Берлин переехали. Старший сын Кристиан еще перед войной призывался, до унтер-офицера дослужил; во Франции его убили. Мы все за ним плакали. Осталась вдова, двое внучат. Они в городе жили, в Гумбинене; у ее папаши гаст-хаус был, трактир с комнатами для приезжих. Младшие наши дочки — Анна и Луиза — я ее по-русски кликал Лизой — тоже обе замужем за крестьянскими сыновьями из наших мест. Анин мужик, Фриц, ефрейтором был, он без вести пропавший, на Остфронте — в России, значит… Может, он там в моих племянников стрелял? Или кто с них его убил?.. А Лизин молодой, Курт, — они уже в войну венчались, как он в отпуск приезжал, — унтером, на танке воевал, в Африке — в самой пустыне, потом в Италии, больше вестей от него не было… А младшенького нашего, Петьку, — по-немецки говорят Петер, — со школы в солдаты взяли, — он с одна тысяча девятьсот двадцать третьего году, — и тоже в Африку. Но, слава Богу, в плен попал. Писал из Канады, что здоров, не обижают и работа не тяжелая, в лесу… Вот как оно — по всей земле мои кровинки. А я в свое отечество вернулся. Прямо сюда, в тюрьму.

Когда эта война сделалась, — в России, значит, — у нас из деревни последних парней позабирали. И порядки строже пошли. И деньгами давай, и зерно, и мясо, и яйца… Ну, я завсегда все сдавал в срок. А то были такие начальники, что спрашивают: «Герр Зимоноф, руссэ, большевик?» А я руками разведу. Рус, конечно, рус, но никакой не большевик… И вправду ведь — что я знал? Свою семью, свое поле, свой хоф — это по-русски сказать двор, но только побольше — и дом, и вся усадьба… Наш хоф не в самой деревне, а с полто-

ры версты подальше, у леса. Мы в деревню только по воскресеньям ходили — в кирху, а после в гаст-хаус — в трактир, выпьем пива, а я еще и рюмочку-другую корна — водочки, значит… Дети в кино пойдут или на танцы, а мы с Марией домой, коров кормить, лошадок, свиней, птицу… Мы тихо жили. Мы никого не трогали, и нас не так чтобы сильно притесняли. Заплатил, сдал все, что требуется, и живи спокойно.

Очень душа болела, как наших военнопленных увидел. Пригнали их полсотни в поместье и в деревню к большим бауэрам — богатым хозяевам. Все тощие, одна кожа да кости, ободранные, грязные… не разберешь, кто молодой, кто старый. Господи, думаю, и это наши солдатики?!.. Жандарм-вахман смеялся: гляди, Зимон, какая твоя русская армия.

У меня слезы кипят, и слов не найду. Главный начальник в деревне и по всему крайзу, — ну, это вроде как у нас волость, — назывался бауэрн-фюрер, пожилой, с усами, носил мундир, с повязкой на рукаве, красная с ихним крестом — черным, крючковатым, сапоги офицерские и ездил на краде. Это машина такая, моторный лисапед. Он строго приказывал, чтобы до пленных никто близко не подходил — от них зараза. Но вахманы, кто постарше и с понятием, их жалели. И я сколько раз, вроде случайно, мимо иду, суну хлеба, колбаски, шпеку… Потом они подкормились, привыкли. Стали вольней ходить. И я с ними говорил, спрашивал, как в России живут, какие такие колхозы…

Ну, один говорит: у нас все хорошо, а будет еще лучше; все люди равные, помещиков нет, а мужики, бывает, в большие начальники выходят, вся власть от рабочих и крестьян, Сталин мудрейший на свете полководец, и русская армия сильнейшая, немцев вскорости побьет, и Гитлера повесят…

А другой говорит: ты ему не верь, у нас в России никакого порядка нет, мужиков всех хозяйственных загнали в Сибирь на каторгу; в колхозах работать хуже, чем у помещиков, голод был такой, что целые деревни умирали, Сталин есть антихрист-кровопийца, немец уже дошел до Волги и до Кавказа, скоро и Москву заберет…

Третий опять по-инакому, тот, говорит, наврал, и этот, говорит, врет, а если по правде, то в России где пусто, а где и густо. Голодать действительно голодали, и немец, действительно, до Волги догнал, но образованности больше, чем при царе было, и настроили много заводов и целых городов, и армия русская сильнее немецкой…

Двое пленных: один сибиряк, а другой с хохлов — мне доказывали: «Ты, дядя, лично можешь не опасаться. Как ты прирожденный русский и трудовой крестьянин, сам работал, батраков не держал, тебе от нашей власти будет уважение…»

Я и верил и не верил. А как на фронте стало на русскую сторону переменяться, так всех пленных из наших мест угнали. Остались только цивильные поляки. Они говорили: «Когда Советы придут, они все разорят, все дымом пустят, мужиков поубивают, а баб снасильничают…» И тот бауэрнфюрер велел всех мужиков солдатами поделать, это называлось фольксштурм… Но тут я решил — пускай лучше повесят, никакого оружия не возьму, против земляков воевать не буду. И если они, свои, меня убьют, так я хоть с чистой совестью умру.

Мария и дочки сильно боялись. «Поедем, поедем. В Берлине у сестры, пускай в тесноте, в голоде, но живы будем, а тут погибать». Я их собрал, когда уже пушки слыхать было. Нагрузил ваген — это телега, побольше наших, — запряг кобылу. Она у нас одна старенькая осталась. Перед войной у меня уже пара своих была, но справного коня пришлось вермахту отдавать. Поехали они с целым обозом с нашей деревни. А меня и еще других мужиков инспектор уговорил помочь ему графских коней и скот угнать и еще там имущество увезти. Зато он обещал нам большие вагены, чтоб мы и своих свиней и птицу погрузили. И корму обещал, и сказал, что мы наших коров с графским стадом погоним. Да только тот инспектор квелый был мужичонка: растерялся, все чьих-то приказов ждал. Мы бегали, кто куда, кто сюда… А тут и Советы на танках прикатили…

Ну, что про них скажешь? Солдаты как солдаты. Воевали долго: кто притомился, кто и озлился. Были, конечно, и озорники — баб и девчонок ловили, насильничали. И грабили чего ни попадя; да еще

и ломали, жгли… Но были и хорошие парни, душевные. Я с такими дружил. Объяснял все, как есть, как жил; показывал свое хозяйство, какое осталось. Я им картошки, сала, масла, домашних солений, а они мне табачку, водочки. И офицеры были хорошие; звали меня переводить ихние разговоры с бауэрами, которые еще оставались. А один капитан молодой все шутил: «Мы тебя, батя, председателем колхоза назначим, как ты есть хороший хозяин и русский человек».

А потом одного утра пришел какой-то лейтенант с солдатом. «Пойдем, говорит, есть разговор на часок». Я и пошел, как стоял. Сели в машину, приехали в другую деревню, а там меня сразу в подвал, в холодную. Два дня сидел, куска хлеба не дали, еле-еле упрашивал на двор пускать, до ветру. На третье утро повели меня, грязного, застылого, зуб на зуб не попадает, в дом, в чистую комнату. При столе офицер — майор, почтенный такой, погоны золоченые. Начал обходительно: «Мы, говорит, контрразведка, — СМЕРШ, значит — смерть шпионам. Нам все наскрозь видать, все известно. Потому признавайся точно, какие тебе от немцев задания дадены». А я и не пойму, чего он хочет, какие такие задания. Рассказал ему все, как было, как жил, как жена и дочери Советов боялись и отъехали, а я тоже хотел, да припозднился… Тогда он стал кричать по-матерному и грозиться: «Признавайся — помилуем, не признаешься — шкуру с тебя сдерем, кости переломаем и повесим, как шпиона…» Я опять чистую правду рассказываю, а он бить взялся… Палкой, и по плечам, и по голове. Сильно бил, похуже, чем тот фитьфебель, от которого я убег. Только от этого уже не сбежать. Сам он бил, потом еще лейтенант помогал, и кулаками, и палкой. Я только плачу: «За что казните невинного?..» А они матерно ругаются: «Ты, — говорят, — изменник Родины, ты Россию немцам продавал…» Я доказываю, божусь, святую клятву даю, не изменник я… Никому я ничего не продавал, а тихо жил, по-крестьянски, по-христиански…

Ну, притомились они меня бить — отстали. Говорят: «Надоел! Вот бумаги-протоколы — подписывай». Но я подписывать не мог. Грамоту я помню только печатную, да и ту без очков не прочитаю. Меня ж на дворе заарестовали, не то что очки, хлеба не взял. В тех

бумагах ничего не видел, не стал и подписывать. Я тихий-тихий, но понятие имею: они понаписали, что захотели, а я, значит, признавай. Нет, говорю, убивайте, казните, — помру, а неправде не поддамся. Ну, стукнули они меня еще раз-другой, изругались скверно и послали те бумаги в суд, который трибунал называется. Ну, там уже никто не бил, не ругал. Только спрашивали. Сидели при столе три офицера. Средний — главный судья, подполковник: погоны серебряные, сурьезный, в очках. Почтенный и на «вы» говорил: «Признаете, что вы есть виновный?» — «Никак нет, господин полковник! Как есть невиновный». А он: «Признаете, что вы солдатскую присягу давали отечеству служить?» — «Так точно, говорю, присягал». — «А признаете, что вы опосля свою винтовку — солдатское оружие — бросили и за границу в Германию убегли?» — «Так точно, говорю, было такое, но только я не от отечества убегал, а от фитьфебеля-зверя, от каторжного мучительства…» А он вроде как усмехнулся: «Это, говорит, без всякого значения. Солдат есть навсегда солдат, и присяга есть навсегда присяга. А вы убегли в Германию, какая есть злой враг нашей Родины. С того году, как вы убегли, Россия уже две войны с Германией воевала. И значит, вы есть дважды виновный, как изменник Родины на государственной границе. За такое в военное время полагается наказать высшей мерой — расстрелять или повесить. Но, как война уже кончилась нашей победой, и как ваши года преклонные, и как наш суд советский есть… — тут он такое слово сказал чудное, что я раньше и не слыхал, на «гумно» похоже, вроде «гуменный» суд, — потому приговариваем вас на десять лет исправляться в трудовые лагеря». На все имущество мое эта — как ее — фискация, и еще пять лет поражение прав…

Ну, вот, прошло, значит, уже два года. Еще восемь осталось. Мне сейчас пятьдесят семь годов. А Мария — если жива она, если не догнала ее война — постарше меня на два года… Это когда ж мы теперь свидимся? И где?.. Разве что в царствии небесном.

## *Глава третья*
# ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ РЕЧЬ

Кто взманил меня на путь знакомый,
Улыбнулся мне в тюремное окно?

*А. Блок*

Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного… языка живого, сотворенного и творимого, больше всего люблю слово ВОЛЯ.

*К. Бальмонт*

Зимой 48–49 гг. шарашку передали новому хозяину — МГБ. Начальником стал Антон Михайлович В. Тот самый инженер-полковник, который экзаменовал меня в Бутырках. Прибывали все новые партии заключенных спецов. Главным образом связисты, радиоинженеры и радиотехники, но были инженеры и других специальностей, а также физики и химики…

Солженицын сдавал библиотеку трем молодым и, как нам казалось, необычайно привлекательным девушкам. Он попросил новое начальство включить и меня в рабочую группу. Нужно было заново инвентаризовать не только старые книги, но еще и несколько тысяч новых книг и журналов.

Работать рядом с женщинами, слушать их голоса, видеть улыбки, вдыхать запахи дешевых духов и пота, нечаянно прикасаться в тесноте, шутить — было и радостно, и тревожно.

Мы старались не спешить. Состязались в добросовестности и педантичности.

Руководил приемом библиотеки инженер Аушев, заведующий отделом технической документации. На первый взгляд он показался неприступно строгим и словно бы даже брезгливо поглядывал на нас сквозь толстые роговые очки. Он был немногословен, сохранял неизменно суровую мину и суховато-деловой тон. Но постепенно мы разговорились, узнали, что он и сам отсидел по статье 58-9 (вредительство), работал на шарашке и остался вольнонаемным научным консультантом. Оказалось, что и Антон Михайлович тоже бывший зек, осужденный в 1930 году по делу Промпартии и досрочно освобожденный за изобретения и рационализаторские предложения…

Значит, и мы могли надеяться!

Нескольких заключенных Антон Михайлович вызвал в свой кабинет.

— А, Лев Зиновьевич, гутен таг! Бонжур! Весьма рад видеть вас в добром здравии.

Необычны были и жовиальное приветствие, и то, что назвал он мое настоящее отчество, а не по метрике — Залманович, как всегда называли тюремщики и следователи.

— Итак, господа, я собрал вас, чтобы сообщить весьма приятное известие. Отныне вы являетесь работниками научно-исследовательского института. Особо важного и особо секретного.

Мы с вами должны разработать новые системы секретной телефонии. Должны изобрести и изготовить такой телефон, чтобы на многие тысячи километров могла поддерживаться связь абсолютно надежная, абсолютно недоступная для любых подслушиваний, любых перехватов. Подчеркиваю — АБСОЛЮТНО. В настоящее время существует несколько типов секретных телефонов. Но абсолютной гарантии нет ни у одной системы. Кое-кто из вас, вероятно, имел дело с телефонами ВЧ… Они применялись на фронте в крупных штабах. Связь по ВЧ предохраняет только от прямого подслушивания на линии. По проводам передается ток высокой частоты, модулированный звуковыми сигналами от мембраны. Подслушивающий воспринима-

ет лишь непрерывный писк. Но достаточно подобрать фильтр, отцеживающий высокую частоту (а при современной технике это простейшая задача), — и разговор становится внятно слышимым. В последние годы применяются более сложные системы — так называемой мозаичной шифрации. В годы войны ими уже пользовались и наши союзники, и наши противники, и мы. Звуковые сигналы разделяются частотными фильтрами на три или четыре полосы и с помощью магнитного звукозаписывающего диска дробятся по времени. На короткие доли — от 100 до 150 миллисекунд. Шифратор перемешивает эти частотно-временные отрезки. И по проводу идет этакое крошево из визгов и шумов. А на приеме передачу декодируют, и восстанавливается первоначальная речь… Такие системы более или менее устойчивы, поскольку противник не может подслушать разговор, пока не создаст аналогичный шифратор-дешифратор… Пока! Но в конце концов создаст. А наша с вами главнейшая, важнейшая задача — достигнуть АБСОЛЮТА. Кажется, у Бальзака есть новелла «Поиски абсолюта»? Вот и мы с вами этим займемся. Работа предстоит напряженная, трудная, весьма ответственная. Но зато и чрезвычайно интересная. Для того, кто способен по-настоящему увлечься научной, технической проблемой, для того, кто мыслит не от сих до сих, в пределах рабочего дня и тарифной сетки, — короче говоря, для настоящего ученого, инженера, интеллигента, — все эти задачи не столько трудны, сколько прельстительны. В них источники высочайших наслаждений ума. И к тому же last but not least, когда мы успешно решим поставленные задачи, то это принесет вам и весьма реальные блага. Досрочное освобождение. Высокие награды. Достаточно, если я скажу, что за работой нашего НИИ будет наблюдать непосредственно товарищ Берия и будет докладывать лично товарищу Сталину.

* * *

Когда мы уже заканчивали передачу библиотеки, пришел новый арестант, светло-розовый, седой, в обвисшем пиджаке, — видно,

здорово похудел, — Александр Михайлович П., инженер-экономист, осужденный по пункту 10 на десять лет. Отбыл треть срока. Он сказал, что Антон Михайлович поручил ему руководить особой исследовательской группой, в которую включены Солженицын и я, позднее будут добавлены еще работники, столько, сколько мы скажем.

— Вы филолог? Говорят, много языков знаете? Значит, лингвист? А вы — математик? И то, и другое — как раз то, что нам требуется. Мы втроем составляем руководящее ядро статистических исследований русского языка… Что нужно, чтобы разрабатывать новую аппаратуру? Нужно знать материал, с которым она должна работать. Если бы здесь разрабатывали фотоаппаратуру, мы стали бы изучать фотопленку, фотобумагу, линзы, физику света, оптику и т. д. и т. п. Но здесь разрабатывают телефоны, и мы будем изучать язык, речь. Вы слыхали про такую науку — фонетику?.. Что, вы даже преподавали немецкую фонетику?.. Нам требуется русская, но я думаю, что есть же, наверное, общие научные принципы. Итак, значит, первое, что нам нужно, это исследовать материал нашей телефонии — русский язык. Исследовать его фонетически и математически, то есть статистически. Сколько и каких есть букв… А вы не смейтесь, — я имею в виду, как они часто встречаются, как разные буквы проходят по телефонным линиям. Мы с вами должны вести научную работу, а что главное в научной работе? Опорочить предшественников. Да, да, именно так. Изучить все, что было раньше, и доказать, что все это ошибочно, недостаточно, не так, не туда, не потому… Сегодня же мы должны подготовить план работы и вечером доложить Антону Михайловичу… Что значит «невозможно»?.. Вы не можете себе представить, какой план?.. Ну, и пусть вы ничего не знаете и не представляете. Я знаю еще меньше вашего. Но зато я знаю, что нужен план. Какой-нибудь. Не важно, умный или глупый, реальный или нереальный. Планы никогда не выполняются. Но их всегда можно перевыполнить. Сейчас нам нужна бумага с заголовком: «План». Ну, если хотите, если вы такие принципиальные, — напишите: «Проект плана». И соответствующий красивый подзаголовок. А потом несколько пунктов, грамотно сформули-

рованных: «Изучить… Исследовать… Рассмотреть… Проверить… Наметить… Провести… Разработать…» и т. п. и т. д. Антон Михайлович все это перечеркнет, исправит, а мы будем делать что-либо совсем другое.

Нас вызвали на совещание, в котором участвовали Антон Михайлович и его заместитель по научной части — инженер-майор Абрам Менделевич Т., тонколицый, курчавый, смуглый очкарик с золотой медалью сталинского лауреата. Было решено, что мы проведем статистическое исследование слогов русского языка. Задача: установить хотя бы приближенно общее количество основных речеобразующих слогов. Какие именно слоги наиболее часто встречаются, примерные порядки величин их частости и насколько они зависят от содержания (темы) разговора.

Наш бригадир, то и дело напоминавший, что необходимо опорочить предшественников, очень обрадовался, узнав, что такое исследование еще никогда не проводилось в России в достаточно больших масштабах.

Новая заведующая библиотекой, миловидная девушка — лейтенант ГБ, доставала нам журналы и газеты из московских библиотек. Она сразу же завела внешний абонемент в библиотеке Ленина, Академии наук, Центральной технической, Иностранной и др.

Солженицын разработал математические условия исследования. Он заказывал учебники и новые работы по статистике, по теории вероятности. А я обложился книгами, журналами и брошюрами по общему языкознанию, фонетике, истории русского языка.

Планами предстоящих исследований мы занимались и в рабочие часы, и на прогулках. Солженицын объяснял мне теорию вероятности, втолковывал принципы математической статистики, а я давал ему уроки общего языкознания, теоретической и практической фонетики.

Рабочим местом фонетической бригады оставалась «старая полукруглая» (так мы называли комнату библиотеки). Сперва мы подобрали тексты. После недолгих споров согласились вести исследование по четырем направлениям. Во-первых: язык современной

художественной литературы, — для этого брали отрывки из романов и рассказов («В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Белая береза» Бубеннова, «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского, «Борьба за мир» Панферова и др.). Во-вторых, собственно разговорный язык. Для этого объектами исследования избрали новые пьесы (К. Симонова, Н. Вирты, А. Софронова, А. Штейна и др.), а также диалоги из прозаических произведений. В-третьих, язык публицистический и ораторский, — газетные статьи, стенограммы речей и докладов, и в-четвертых — язык технической литературы.

В ходе работы эти четыре потока свелись к двум: разговорная речь и литературный (книжный, газетный) язык. Труднее было договориться о том, как именно в ходе исследования выделять звуковой состав речи. Бригадира мы убедили вдвоем, что, например, в слове «здравствуйте» должно рассматривать не три слога, а два — то есть так, как оно произносится: «здра-сте» или «дра-сте» либо, в половине случаев, даже как один слог «драсть». И что нужно заменять буквы, передавая действительное произношение, например, не «другого», а «другова», не «город», а «горат» и т. д.

Солженицын, основываясь на теории вероятности, определил наименьшее количество текстов, которые нужно было исследовать. В каждом из четырех «потоков» не меньше 20 тысяч слогов, то есть в общей сумме — 80, а для пущей верности мы решили — 100 тысяч.

Бригадир старался участвовать в наших подготовительных работах, а мы старались возможно терпеливее выслушивать его пространные, обычно беспредметные наставления. Но он оказался полезен как энергичный администратор — организатор и технический исполнитель. Он составлял списки нужных книг, аккуратно в двух экземплярах — один для библиотекарши, один для нас, ходил к начальству выпрашивать и подбирать «кадры», нарезал из плотной бумаги учетные карточки, сам считал и наблюдал за работой счетчиков.

В иные дни их бывало до десяти человек. И зеки, и вольные. Мы с Солженицыным с вечера готовили тексты, то есть каранда-

шом разбивали их на слоги и заменяли буквы. Мы проверяли друг друга, т. к. договорились неударные о и о помечать твердым знаком (ъ), а неударные *е* и *и* — мягким (ь), смягчение согласных — апострофом, *е, ю* и *я* в начале слогов заменяли на *йэ, йу* и *йа*.

Счетчики начинали работать с утра. Перед каждым из них лежала стопка бумажных полос, заготовленных бригадиром, и стояли 3–4 щитка с большими буквами — фонетическими знаками по нашей упрощенной системе фонетической транскрипции.

Для каждого слога заводилась отдельная бумажная полоска. Наш бригадир в лагере работал нормировщиком и обучил нас учету «конвертиками»: четыре точки, шесть штрихов — десяток.

Читающий сперва медленно произносил целое слово, потом раздельно по слогам. Счетчик, услышав «свой» слог, должен был сказать «мой» или «мой-новый» и начать новую карточку.

Так за три недели мы обработали более ста тысяч слогов и насчитали из них немногим больше трех с половиной тысяч фонетически разных. При этом менее сотни наиболее частых слогов составили почти 85% из всей массы обработанных текстов.

Мы убедились, что слоговой состав нашей речи в общем довольно постоянен, независимо от жанров и тем. Различия выражались главным образом в сравнительно редких звукосочетаниях. Самыми частыми и при общем подсчете, и в отдельных потоках оказывались одни и те же слоги. Первые места, как правило, занимали *и, на, нъ, въ…*

Когда статистический аврал уже заканчивался, наша бригада была включена в новосозданную акустическую лабораторию, начальником которой стал Абрам Менделевич Т. — он же помощник начальника института по научной части.

Антон Михайлович выслушал наш предварительный отчет с явным удовольствием:

— Оч-чень интересно!.. Оч-чень. Даже если в частностях вы напутали или ошиблись. При таких порядках величин можно пренебречь мелочами. Они, как говорится, не имеют роли, не играют значения. Для нас важны общие данные. Итог. Валовые показатели.

Слышим-то мы ведь не букву, а слог. Букв у нас 30-32… Ладно-ладно, пусть это не буквы, а звуки. Начальству не следует делать замечаний. Вы ведь, кажется, были майором? Эрго, должны знать, что начальник не опаздывает, а задерживается, не спит, а отдыхает, не ошибается, а бывает неправильно проинформирован… Это — железный закон!..

Ваша бригада меня порадовала. И радость начальства уже сама по себе высокая награда! Но я вам еще и объясню причины радости. Единицей измерения разборчивости в канале связи издревле служит именно слог. Артикуляционные таблицы для испытания телефонных систем составляются из слогов. Сколько сочетаний возможно из двух-трех букв, — пардон, звуков, — если их общее число равно даже не 30, а, скажем, 20? А ведь есть еще и такие односложные слова, которые образуются из более чем двух-трех дискретных единиц, например: СПОРТ, СКЛОН, ФРАХТ, ТРАКТ и т. п… Вы, Александр Исаевич, вероятно, без особенного труда рассчитаете… Вот именно, астрономическое число… Догадываюсь, что не всякие сочетания возможны. Однако то, что обнаружили вы, — три тысячи шестьсот и сколько-то там… пусть набежит еще хоть сотня-другая не частых слогов, — это, батеньки мои, число конечное, вполне обозримое. И значит, для нас, телефонистов, весьма любопытное. Приятно любопытное. Так вот, вы и будете докладывать на первой научной конференции института. Извольте приготовить сообщения краткие, но максимально информативные.

* * *

Шарашка распространилась на все здание. Преграды были сняты, открылось множество новых комнат. В самой большой из них, где потом разместилось конструкторское бюро и обычно проходили все собрания «вольняг», состоялась первая научная конференция.

Вперемежку с офицерами, поблескивавшими серебром погон, и штатскими вольнягами сидели десятка два спецконтингентщи-

ков в потрепанных пиджачках, куртках и гимнастерках. (Тогда еще не ввели арестантской робы. К лету нас всех обрядили в синие комбинезоны из чертовой кожи.)

Докладывали трое. Сначала я рассказал о звуковом составе русской речи, о теории фонем, о работах Щербы и Бодуэна де Куртенэ. Более всего налегал на различия между письменной и устной речью, между условиями разборчивости текста «на глаз» и речи «на слух». Потом Солженицын говорил о математических принципах нашего исследования слогового состава, и в заключение бригадир доложил его статистические итоги, объяснил, что мы впервые открыли «слоговое ядро» русской речи, и более всего напирал на непосредственную полезность этого открытия для телефонистов. Уверенно «опорочив» применявшиеся ранее артикуляционные таблицы, как не соответствующие науке и живому языку, он доказывал, что необходимо безотлагательно приступить к составлению новых и уже действительно научных таблиц.

Вопросов было немного. Больше всего пришлось на мою долю. Инженеры — и вольные, и заключенные — требовали более точных определений понятия фонемы в «физических параметрах», т. е. как именно отличаются отдельные звуки речи друг от друга по частоте, по амплитуде.

Начались прения. Заключенный, профессор математики Владимир Андреевич Т., ленинградец, образованный, ироничный говорун, привык везде быть «душою общества» и задавать тон. Он глядел в потолок, задирая седеющую бородку-клинышек, и доказывал, что все разговоры о фонемах, фонетике и прочих лингвистических умозрениях суть чисто академические кабинетные, может быть и занимательные фантазии, но весьма далекие от реальной жизни и тем более — от научно-технической практики.

— Я помню, в среде флотских офицеров в Кронштадте некогда бытовала шутка: за трапезой говорили на английский лад — «Уаляй, уипей уодки». Какие уж тут фонемы! А ведь все и понятно, и разборчиво.

Он хотел посмешить, но никто даже не улыбнулся.

Антон Михайлович, заключая конференцию, сказал, что статистические исследования были оригинальной, в некоторых отношениях спорной, но практически полезной работой. Главное теперь — не успокаиваться на достигнутом, не увлекаться «чистой наукой». Наши почтенные теоретики лингвисты и математики должны все свои усилия подчинить требованиям нашей практики. И работать в повседневном контакте с инженерами, с техниками. Непосредственно в лаборатории.

Владимир Андреевич в камере говорил нам:

— Надеюсь, вы не гневаетесь на меня за попытку научного спора? Я на какое-то мгновение увлекся, вообразил, что нахожусь перед интеллигентными слушателями. Надеюсь, что вы-то меня поняли?

Он был арестован и осужден в Ленинграде во время блокады. По его словам, он и раньше не скрывал презрительной неприязни к «той парадоксальной деформации Российского государства, которая наступила после известных событий 1917 года». Он признавал, что последние годы, особенно во время войны, стали обнаруживаться некие тенденции, так сказать, к вправлению вывихов и восстановлению переломов…

— И уж, как у нас положено, посредством весьма радикальных мер. «Любит, любит кровушку русская земля…» Но я скептик. Битую посуду можно склеить, а разбитую вдребезги национальную культуру несколько труднее…

Владимир Андреевич не любил гулять, предпочитал курить в коридоре, где между камерами стояли длинные столы, за которыми сражались «козлы» и шахматисты. Своих постоянных собеседников называл «клуб трепангов». Иногда я осмеливался ему возражать. Так бывало, например, когда он вещал, что жизнь русского театра прекратилась уже в 20-е годы.

— Мейерхольд был штукарь, хулиган, разрушитель, вечный «анфан терибль». Но он все же еще имел отношение к театру. Вот его и прихлопнули. А взамен что? Ансамбли песни и пляски… Эти, как их, декады разных нацменов. Балаганы. Ярмарочные гульбища, а не театр! У нас в Питере Юрьев был последним монархом на русской

сцене. В Москве таких актеров уже не осталось… Ах, художники! Прошу вас, хотя бы при мне, просто из любезности не произносите МХАТ. Мерзкая кличка! Совершенно не русское слово. Какое-то отхаркивание, а не имя театра. Да, так вот, Московский Художественный, разумеется, был некогда любопытным, даже значительным явлением. Но за последние два десятилетия он стал серенькой, заурядной казенной труппой. Алексеев, то есть Станиславский, был, конечно, одаренным актером. Хотя и несколько однообразным, с этакой купецкой патетикой. «Любим Торцов идет!..» Я всегда предпочитал петербургскую сцену. А в Белокаменной, даже в Императорском Малом, всегда попахивало замоскворецким душком. Но пресловутая «система Станиславского» — это уже нечто более близкое к правилам уличного движения, к медицине, к психиатрии, чем к искусству…

Отнюдь нет, любезнейший! Заблуждаетесь. Никакой я не классицист, не ретроград. Это вас так учили — кто не с нами, тот уж конечно реакционер. А я вот, совсем напротив, очень любил, например, «Кривое зеркало» Николая Николаевича Евреинова, о каковом вы и представления не имеете. Ах, все-таки слыхали! Что ж, очень приятно обнаружить столь редкостную осведомленность в отпрыске вашего… э-э… поколения и вашей интеллектуальной среды. В таком случае вы должны, конечно, понимать, что я никак не стародум, не — как это ваши немцы говорят — «альте перюке». Бывал я и в «Бродячей собаке», всегда высоко ценил таких модернистов, — или, по-вашему, буржуазных декадентов, — как Николай Степанович Гумилев… Как, и вы его цените?!.. А вас не смущает то обстоятельство, что он был расстрелян, или, как это по-вашему, его «шлепнули» в Чека за участие в монархическом союзе?.. Ах да, конечно же, «Капитаны», «Африка», «Нигер», «Изысканный жираф»… Как же, как же, в наше время все гимназисты от этих стихов с ума сходили. Но я предпочитаю «Шестое чувство» и «Трамвай»… Может быть, вы и об Осипе Мандельштаме слышали?..

Я сказал ему, что «Век-волкодав» восхищенно читал Владимир Луговской в 1940 году за именинным столом одной аспирантки ИФЛИ, и многим, в том числе и мне, очень понравилось.

— А вы не ошибаетесь ли? Пролетарский поэт и восхищался стихами контрика? И никто не донес? И никого из вас не взяли, как говорится, «на цугундер»? Не смею сомневаться, коль скоро вы настаиваете. Но дивлюсь, дивлюсь! Истинно неисповедима российская жизнь…

Да-а, так вот, Московский Художественный театр я весьма высоко ставил… Того же Алексеева и, разумеется, Шверубовича-Качалова. Отличный голос, истинно бархатный баритон… Хорошие манеры. Что ни говорите, а дворянская киндер-штубе — это не детская горница в том же доме, где лабаз. Хороша бывала Ольга Леонардовна Книппер, супруга, нет, вернее, вдова Чехова. И Немирович-Данченко был неплохим антрепренером, да-да… именно антрепренером, отнюдь не режиссером, или, как теперь говорят, «худруком»… Тоже не русское, несносное словцо… Каким был Художественный театр, отлично помню. И это несравнимо с нынешним МХАТом… Видел я, видел перед войной «Три сестры», и «Синюю птицу», и «Анну Каренину». Ну, и что же, «Сестры» и «Птичка» — музейные реликвии. Мертвые оболочки. А «Каренина»… Я и роман-то не очень люблю. «Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она — жена и мать…» Но уж на сцене… Мадам Тарасова — вальяжная советская домохозяйка, а не жена тайного советника. Хмелев лучше. Серьезный актер. Но играет он не аристократа, не царедворца, а этакого благопристойного директора треста… Прудкин — типичный прапорщик или юнкер Керенского. После Февральской революции стали евреев допускать к офицерским званиям в юнкерских училищах… Туда устремились юнцы из интеллигентных семейств. Были среди них фронтовики — «вольноперы» — вольноопределяющиеся и недавние солдаты после ранений… Вот вы небось не знаете, что те юнкера, которые в октябре «защищали» Зимний дворец, были не менее чем наполовину евреями. Тогда антисе-

миты утверждали, что именно потому Зимний пал. Это все чепуха, такие же легенды, как «штурм Зимнего»… Ведь никакого штурма не было. Временное правительство сгнивало на корню, разложилось и растерялось. Подавив так называемый корниловский мятеж, оно лишило себя армии. Воинские части в Петрограде либо сочувствовали большевикам, либо просто не хотели драться ни с красной матросней, ни с отрядами рабочих, ни, менее всего, со своими братьями — такими же солдатами… Вот они и лузгали семечки, тискали кухарок, а кто половчее — и водочку добывали. В гарнизоне дворца числились юнкера и женский батальон. Юнкерами никто толком не командовал. Они еще верили Керенскому, но тот сбежал. А женский батальон был уж вовсе нечто анекдотическое. Мадам Бочкарева во главе нескольких сотен белошвеек, истерических барышень и кающихся проституток… Зимний не нужно было штурмовать. Все двери стояли открытыми, — входи кто хочешь. Там и жертв не было. Только несколько юнкеров застрелились от стыда и отчаяния… Я в те дни спокойно разгуливал по всему Петрограду. Нигде никаких боев не замечалось. Трамвай ходил как ни в чем не бывало. Рестораны и кафе переполнены. В театрах обычные спектакли. Издавались все газеты. В нескольких местах возникали перестрелки. Не бои, а именно короткие перестрелки. Кое-где люди чуть погуще обычного толпились у афишных тумб или вокруг газетчиков. Но в том году ведь все время где-нибудь митинговали… Потом оказалось — произошел переворот. Нет больше министров, а всем правят Советы и народные комиссары. Советы и раньше уже были, смешно сказать, — в иных случаях они тогда распоряжались куда как авторитетней и решительней, чем впоследствии, когда все государство стало именоваться «советским». И Советы раньше были, и комиссары. Так и назывались — «комиссары Временного правительства». Так что перемены показались несерьезными. Просто дворцовый переворот. Одно временное правительство заменено другим. И только уже зимой, когда разогнали Учредительное собрание, стал я чувствовать и понимать, что происходит нечто катастрофическое, даже апокалипсическое. Тем более весной, когда ка-

питулировали перед немцами, когда стали закрывать газеты… Вот тогда-то оказалось, что мы совершили «прыжок в царство свободы»… Так это у вас, кажется, называется…

Владимир Андреевич сердился, когда ему возражали, но меня он терпел в «клубе трепангов», потому что я все же лучше других мог оценить его литературно-театральную эрудицию и несколько раз искренно восхитился его необычайной памятливостью и образованностью. Ссорились мы редко, и то по совершенно неожиданным поводам, когда меня застигало врасплох какое-нибудь его парадоксальное или анекдотическое утверждение. Так было, когда он упрямо стал доказывать, что никакого Шекспира на свете не было, а все шекспировские драмы и стихи сочинил Фрэнсис Бэкон… Это, мол, совершенно бесспорно, т. к. уже перед войной некий его английский приятель-математик впервые расшифровал математически зашифрованную автоэпитафию Бэкона и т. д. Но разозлился на меня Владимир Андреевич не за возражения по существу, а после того, как я напомнил, что примерно то же самое говорил и писал Луначарский, когда он в своих «антишекспировских «рассуждениях склонялся то к графу Дерби, то к Бэкону… Сравнивать его с этим «нарком-снобом», «большевизаном в крахмальной манишке»!

— Засим я могу только прекратить наши бесполезные словопрения…

В дни октябрьских и майских праздников некоторых заключенных полагалось «изолировать». Критерии для отбора были прежде всего чисто формальные: изымались осужденные за «террор», за побеги из мест заключения и те, кого неоднократно судили, — «рецидивисты». А также те, кто слыл слишком общительным и авторитетным в арестантской среде… Мы с Паниным и Владимир Андреевич неизменно попадали в число изолируемых. У меня числилось три судимости, — пусть по одному и тому же делу, но ведь все определялось числом бумажек; у Панина — лагерная судимость. Не нравилось, видимо, начальству и то, что у меня было много друзей-приятелей и репутация «адвоката» — я часто помогал арестантам

писать жалобы, прошения и т. п. А Владимир Андреевич был и общителен, и активен, и несомненно очень авторитетен.

В первый раз нас изолировали как бы стыдливо. Придумали «срочное, особо секретное задание» — дешифровать телеграмму, перехваченную в Западном Берлине. Владимир Андреевич должен был размышлять над текстом как математик, я — как лингвист, а Панин и еще несколько инженеров и техников должны были разрабатывать конструкцию шифратора, который следовало бы применять для дешифрации. Среди этих инженеров был кроткий ленинградец с «традиционно ленинградским» пунктом — 58-8 (террор) — и даже один бытовик, неоднократно судимый ворюга.

Нас разместили в подвальной комнате, приставили отдельного надзирателя. Три или четыре дня (6-8 ноября) нас отдельно кормили, отдельно выводили на прогулки. Ничего мы, разумеется, не расшифровали.

В следующие разы нас, уже безо всяких поводов, просто увозили на праздничные дни в Бутырки. В первый раз я пытался было протестовать, хотел объявить голодовку. Владимир Андреевич отговорил:

— Бросьте вы это! Любые протесты — пустая суета. А я вот лучше всего чувствую себя именно в тюрьме. Здесь я беспредельно свободен. Да-с, да-с, и вы-то уж должны были бы это понимать. Что такое свобода? Познанная необходимость! — не так ли? Вы доказываете, что все происходящее у нас — историческая необходимость. Революция, гражданская война, коллективизация, ликвидация, индустриализация… И опять война, и блокада, и голод, и опять ликвидация — этсетера, этсетера — это все, по-вашему, суть историческая необходимость. Так почему же вы так разгневались на вашу личную порцию исторической необходимости?.. Я придерживаюсь иных мнений. Для меня свобода — это прежде всего свобода мысли, духа и свобода личного выбора. Но я полагаю нелепым протестовать здесь. Я даже доволен. На шарашке я вынужден размышлять по заданиям начальства о шифрах, шифраторах, абстрактных и конкретных проблемах криптографии, криптофонии

и прочая, и прочая… Там мой выбор стеснен обстоятельствами. Ведь я вынужден и действовать, и думать именно так, а не иначе, для того чтобы не угодить на этап, на лесоповал, в шахту… А здесь, в камере, я бездельничаю и могу мыслить беспрепятственно о чем вздумается. В действиях и в поступках выбор мой крайне ограничен стенами, дверью, тюремным распорядком. Но в этих *внешних* пределах я внутренне абсолютно свободен! Хочу лежать — лежу, хочу сидеть — сижу, хочу — вот, беседую с вами, захочу — буду играть в шахматы… Да-с, я все больше убеждаюсь, что рожден для тюрьмы. Сегодня мыслящий русский человек может быть свободен только в тюрьме.

Полемическое выступление Владимира Андреевича на первой «научной конференции» нас неприятно поразило, — нельзя так спорить со своим братом-арестантом при начальстве. Позднее он еще более резко выступил против проекта шифратора, разработанного Паниным, и несколько раз жестоко поносил серьезные криптографические работы других заключенных. Все работавшие в особой «математической группе» говорили, что Владимир Андреевич, конечно, выдающийся ученый, умница, талант, эрудит, но еще и неуемный склочник, сварлив, завистлив, не терпит чужих успехов.

Из нас троих он лучше всего относился к Солженицыну — тот слушал его внимательно, серьезно, не ввязывался в споры и, хотя был профессиональным математиком, не стал его соперником, отказался работать в математической группе, занялся акустикой-лингвистикой. Панин временами сердил ревнивого профессора — то вторжением в его собственную заповедную область криптографии, то слишком решительной и недостаточно «парламентарной» полемикой в защиту своего «языка предельной ясности».

Ко мне он относился с вежливой сдержанной неприязнью. Позднее я узнал, что он считал меня стукачом, и к тому же особенно опасным — интеллигентом, который не подделывается к собеседнику, а спорит с ним и «тем самым провоцирует».

Однако именно благодаря Владимиру Андреевичу, благодаря его злой придирчивости и язвительным нападкам, иногда вздор-

ным, но чаще всего дельным, я все настойчивее учился — читал, исследовал, расспрашивал… Ведь я и сам знал, что мои лингвистические познания поверхностны, приблизительны, а представления о криптографии, физике и акустике вовсе ничтожны. И для того, чтобы отвечать на его придирки и попреки, а потом все больше увлекаясь, я конспектировал книги и статьи, зубрил, сопоставлял вычитанное с тем, что сам наблюдал…

Как бы ни преуспевать в самообразовании, особенно полезны бывают суровые, недружелюбные учителя.

В те годы вольного и невольного ученичества моими наставниками стали барственный чекист-интеллигент Антон Михайлович и непримиримый, насмешливый «идейный антипод» Владимир Андреевич.

«Спасибо тем, кто нам мешал», — сказал Давид Самойлов.

Благодарю их тем более искренно, что ведь они не только мешали, но во многих случаях и помогали моим урокам.

## *Глава четвертая*
# ПРИЗНАНИЕ

Инженер Р. был высок, худощав, носил старую, но опрятную куртку, хорошо подогнанный черный бушлат; сапоги всегда были начищены. В одежде и в повадке была та ненарочитая, спокойная, но уверенная целесообразность, то мужественное щегольство, которые отличают настоящих фронтовиков и настоящих работяг от суетных франтов, охочих до показной мишуры, от распущенных нерях и от рассеянных чудаков, забывающих побриться, умыться, менять воротнички, пришивать пуговицы и стирать портянки…

Молчаливый, отстраненный, он редко улыбался, светлые глаза, глубоко посаженные под высоким бледным лбом, глядели не то печально, не то устало. Когда я с ним заговаривал, он отвечал вежливо, приветливо, но коротко, немногословно и спешил отойти: «Работать надо… Простите, срочное дело… Простите, голова очень болит. Устал… Виноват, должен быстро прочитать эту книгу…»

На прогулку он выходил с лопатой и с метлой и подолгу, старательно чистил снег или вышагивал сосредоточенно-задумчиво по узкой тропинке. Все же мы постепенно узнали, что он инженер-механик, машиностроитель, москвич, но долго работал в Сибири, сидит уже 10 лет, с 1938 года, осталось еще пять, осужден по 58-й статье, пункты 7 и 9 (т. е. вредительство и диверсия) — обычные «профессиональные» (инженерские) пункты, — на 15 лет. На вопросы об этом он отвечал неохотно и скупо: «Простите, неприятно вспоминать…»

Летом 1948 года я получил первое за много месяцев разрешение на свидание с родными. В тюремной кладовой имелись специальные

нарядные костюмы для «свиданок», цветные рубашки и галстуки. Эта показуха была противна, и я решил оставаться в своей армейской гимнастерке, еще достаточно пристойной на вид. Начальник тюрьмы позволил, но велел «обуться поприличнее», — мои сапоги уже доживали многотрудный фронтовой и лагерный век. Однако в кладовой не оказалось никакой обуви моего размера. Я испугался. Из-за этого дежурный мог отменить долгожданное свидание…

Р. молча протянул мне великолепные хромовые «романовские» сапоги. Они оказались как раз впору.

Конвоиры с плохо скрываемой завистью глядели, как я шагал, поскрипывая едва ли не по-генеральски. На свидании мама сочла матовый глянец роскошных сапог свидетельством растущего благосостояния отечественных тюрем. К тому же другие арестанты — в тот день мы все сидели вдоль длинного стола в клубе охраны Таганской тюрьмы — были в новехоньких костюмах, сияли пестрыми галстуками.

Мама и Надя передали целый мешок разных харчей. И Солженицын тогда получил вкусную передачу. Мы устроили пир за библиотечными стеллажами, я притащил упиравшегося Р.; он вежливо съел какую-то малость и поспешил уйти, сославшись на срочную работу.

Два дня спустя дежурила смена наиболее покладистых вертухаев. К вечеру они так увлеклись личными заготовками стройматериалов, что, не стесняясь заключенных, подогнали «левый» грузовик вплотную к забору и даже подозвали некоторых зеков таскать ворованные бревна, доски, мешки и ведра с алебастром и краской, пакеты провода и т. п. При этом они все же «соблюдали режим» — машину, не имевшую пропуска, не вводили во двор шарашки, а подсобников-заключенных не пускали дальше запретной зоны — полутораметровой полосы вдоль забора. Оттуда они уже сами, кряхтя и матерясь, перекидывали свои трофеи, стараясь не повредить колючую проволоку, натянутую по гребню каменной ограды.

Зато мы все могли гулять хоть за полночь, а в лабораториях и в библиотеке чувствовали себя и вовсе беззаботно.

В тот вечер я оказался один на нашей тропе. Гулял, стараясь не видеть колючей проволоки и вышек на углах ограды, а только снег, кусты, деревья и звезды.

Подошел Р. Мы шагали рядом, я пытался что-то рассказывать… Внезапно он заговорил, глядя в сторону, глуховато и словно сдавленно:

— Вот что… я хочу объяснить вам и вашим друзьям. Надеюсь, что поймете правильно. Вы трое — порядочные люди и достаточно опытные зеки… Так вот, не нужно приближаться ко мне. Никому. Как можно меньше, лучше вовсе не разговаривать — не общаться… Вы трое мне симпатичны. Я разбираюсь в людях. Но я должен вас избегать и прошу содействовать… Прошу сторониться меня…

Он говорил внятно, спокойно. Мы ходили рядом, плечо с плечом, он смотрел под ноги или в сторону, изредка взглядывая в упор.

— Не приближаться… Прошу настоятельно. Дело в том, что я на крючке. Понимаете? На крючке у кума. У опера… Обязался… Не перебивайте. Я не хочу оправдываться. Только объяснить. В жалости не нуждаюсь. Но объяснить должен. В 38-м я попал на Колыму, на золотую каторгу. Там расстреливали. Сотни, тысячи без суда. Решала местная тройка. Иногда только приказ опера. Каждую ночь вызывали по спискам. Уводили в сопки. Ночь за ночью… Кто оставались, долго не засыпали — никто не знал, сколько еще жить. Так недели две… Потом кончилось. Говорили, что и тройку, и начальника самих расстреляли. У нас некоторые сошли с ума… Другие опустели. Понимаете? Опустели: и душа, и мозги пустые. Ни надежды, ни веры. Ничего! Есть пайка. Работа. Обед. Печка. Сон. Опять пайка… И все. Ничего больше. Даже тоски нет. И вспоминать не хотели. Ни о семьях, ни о воле. Жизнь от пайки до пайки. Были такие, кто озверел. Как блатняки. Знаете ведь: «Подохни ты сегодня, а я завтра». Могли убить за кусок хлеба, за щепотку табака… Мало кто — очень мало — остался просто человеком… А потом война и опять расстрелы… Прямо на вахте расстреливали отказчиков. Чаще всего просто больных… Врач справки не дал. У него лимит: превысит — самого пристрелят. Я видел несколько раз: доходяга, еле плетется — сердечник, или почечная

колика, или ревматизм, а его тут же перед вахтой на глазах у всех из нагана стрелял начальник конвоя или конвоиру приказывал… Расстреливали и за невыполнение нормы — за саботаж. И по новым лагерным делам. Пораженческая агитация. Восхваление врага… Стукачи старались… На меня дунули, будто сказал, что у немцев хорошие самолеты… И еще стали мотать дело, что в мастерских большой износ инструментов. Вредительство! Я был старшим механиком… Посадили в кандей. Опер вел следствие. Верная вышка. Он и стал покупать. Выбор простой — смерть или подписывай: обязуюсь помогать. Обязался. Что было потом, не хочу вспоминать. Не могу. Старался не губить людей… Хороших людей пытался выручать… Повезло — перевели на другой лагпункт, тоже на производство. Тамошний кум не сразу хватился. И не такой прилипчивый был. Потом я долго болел. Дистрофия, нервное истощение. Опять перевели. Опять кум нашел. «Давай, сигнализируй, а то мышей не ловишь…» Но к концу войны легче стало. Не так дергали, не так грозили. А я все больше нажимал на производство. Вкалывал до упаду. Изобретал. Рационализировал. Я вообще люблю работать. А чтоб от них отпихнуться, старался вдвое, втрое. Стал погонялой, собачником. Работяги меня боялись и ненавидели. А я нарочно. Так и хотел. Пусть больше ненавидят, могу сказать: мне ж никто не доверяет, я за производство болею, никому спуску не даю. Здесь меня еще никто не вызывал. Но ведь могут в любой день. Работа у меня прекрасная — один на один с кульманом, придумывай, считай, черти. И могу только о деле разговаривать — так что все слышат. Но вы и ваши друзья заняты совсем другой работой. Значит, у нас не может быть ничего общего. Вот и все! Нет, пожалуйста, ничего говорить не надо. Прошу вас убедительно. Не надо. Сами понимаете, насколько доверяю, если рассказал. Передайте это вашим друзьям, только им и только один раз.

Очень прошу: больше никогда об этом не вспоминать. Не обещайте. И так верю… Вот и все… Спокойной ночи.

Рукопожатия у нас не были в ходу. Он повернулся; ушел неторопливо, широким ровным шагом.

На утренней прогулке я рассказал обо всем друзьям. Солженицын несколько раз деловито переспрашивал.

— Ну, что ж, все ясно. Примем к сведению. Его просьбу выполним — трепаться не будем.

Панин выслушал молча, насупленно. Потом сказал:

— Это, господа, вовсе не просто, а весьма сложно. Необходимо подумать в одиночестве.

На вечерней прогулке он шагал между нами, заложив руки за спину, набычившись, упирая раздвоенную темно-русую бородку в открытую грудь, покрасневшую от мороза, лишь изредка взблескивая темными иконными глазами, и говорил, тщательно подбирая слова:

— Я всегда полагал, что стукач, наседка — это существо наимерзейшее. Настолько гнусное, что порядочные люди если не могут раздавить его, то должны обходить, как смрадное, ядовитое пресмыкающееся… Но в этом случае нечто не совсем обычное… Или вовсе необычное… Признание для него весьма опасно… Корысти же никакой. Значит, есть даже некое благородство. Да-да, господа, я решаюсь употребить это слово. Я полагаю, в этом случае мы должны судить не только как зеки. Я прежде всего христианин. Но и вы тоже по-своему христиане, — так сказать, стихийные христиане. Хотя ты, Саня, уверяешь, будто ты только рассудочный вычислитель и во всем сомневаешься. А ты, Лев, упорствуешь, как истовый большевик-безбожник… Но вы оба тем не менее по вашей сущности, по душевной природе, — простите мое косноязычие, — по своим нравам, по своему отношению к жизни суть стихийные христиане и поэтому — мои друзья. И значит, мы обязаны точно исполнить просьбу этого несчастного… Вот именно, несчастного. К нему больше не приближаться. Между собой — тем более ни с кем другим — об этом не говорить. Но относиться к нему без ненависти и презрения и, насколько возможно, помогать… То есть помогать, чтобы не впадал в искушение.

На том мы и порешили.

## *Глава пятая*
# ЗАЧЕМ ВИДЕТЬ ЗВУКИ

Слышать краски; видеть звуки —
Правда сказки, бред науки.
Слух тускнеет; взгляды глохнут;
Цвет немеет; звуки сохнут.

*Автор неизвестен*

Антон Михайлович принес пачку английских и американских журналов.

— Вот поглядите, я тут отметил, что нужно перевести. Причем не слово в слово, а только существенное. Общие рассуждения излагайте конспективно, но толково. Сумеете?

— Постараюсь.

— Вы с акустикой знакомы? В частности, с электроакустикой?

— Смутно помню школьные уроки. Двадцать лет прошло.

— А вы по канату ходить умеете?

— Нет.

— Ну, а если бы вам сказали: вот канат, пройди. Выбор один: либо идти по канату, либо погибнуть. Tertium non datur. Что бы вы делали?

— Пошел бы.

— Ну, вот, видите. А изучить акустику для интеллигентного человека легче, чем пройти по канату. Вот вам книга «Акустика». Сочинил англичанин — мудрец Фрезер. Кое в чем устарела,

но в общем — классика, основа основ. Это моя собственная книга. Берегите как зеницу ока. И заучите, как «Отче наш». Впрочем, этого небось не знаете…

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет…

— Ладно, ладно! Верю. Но ведь вы, кажется, еврей? Ага, нянька учила. И меня тоже. Но в акустике никакие молитвы не помогут. В журналах переводить начинайте со статей Ликлайдера о клиппированной речи… А потом… Впрочем, нет, пожалуй, наоборот. Сначала переведите все, что найдете здесь о visible speech. Видимая речь! Понятно? Не совсем? Ничего. Вещей на свете много, друг Горацио, что и не снились нашим мудрецам. Вот и эта вещица американская, видимо, такова. Они там сварганили аппаратуру, которая анализирует спектр звуковых колебаний. Вот, видите снимки спектрограмм — вот-вот, здесь, эти волнистые тени… Можно сказать, даже изящно. Да, да, похоже на абстрактную живопись. Вы как относитесь к Малевичу и Кандинскому? «Черный квадрат» помните? Чепуха, конечно, блажь. Но что-то в этом все-таки есть. Я недавно читал, американцы придумали сочетать музыку и цвет. Представляете себе: звуковые каналы управляют источниками света. Они, так сказать, согласовали и увязали спектры цветовых и звуковых колебаний. И отнюдь не произвольно. Ведь красный и синий цвет различаются по характеру излучаемых световых волн. Должно быть, низкие звуковые частоты управляют разными оттенками красного цвета, а высокие, напротив, синими, голубыми лампами… Рояль и оркестр подключают к такой системе, управляющей разноцветными световыми сигналами, которая позволяет варьировать оттенки… Не представляю себе, как они там добиваются совпадения скоростей. Как согласуют разрешающие способности источников света и звука… А ведь это уже сама по себе интереснейшая проблема — сравнить зрение и слух, глаз и ухо. Кто быстрее и точнее различает воспринимаемые сигналы? Сейчас начало развиваться телевидение. И теперь это проблема уже не только абстрактно научная, но еще и конкретно прикладная, инженерно-техническая… Однако

я увлекся и отвлекся. О чем, бишь, мы говорили? Вернемся к нашим баранам. Так вот, спектрограммы видимой речи, визибл спич. Эти картинки американцы называют «пэттерн» — узор, что ли? Проверьте по нескольким словарям. Вы помните, что я вам тут толковал о секретной телефонии?Так вот, я подозреваю, почти убежден, что визибл спич может весьма существенно помочь дешифрации мозаичных систем. До сих пор для этого служили обыкновенные осциллограммы. Но по ним сложно и кропотливо, все нужно делать на глаз, с логарифмической линейкой, высчитывать по частоколу пиков. И точность сомнительна — нелегко отделить помехи от полезных сигналов. А тут глядите: все очевидно.

Американцы пишут, будто используют свои «пэттерны» для уроков иностранных языков, отлаживают правильное произношение, и еще для обучения глухонемых. Свежо предание… Ведь почему-то опубликованы эти материалы только в 1947 году, а разработано все уже в 42–43-м годах… И схема анализа нигде толком не описана. Так, взгляд и нечто… Весьма возможно, еще и дезинформация. У них там в каждой серьезной лаборатории есть особые работники, которые редактируют материалы, предлагаемые для публикации. Редактируют именно так, чтобы не выдать главных секретов, а насколько возможно дезинформировать, дезориентировать даже специалистов. Этакие пыль-в-глаза-пускатели… Ну, а мы с вами должны их перехитрить…

Вам это интересно? Не говорите, что понятно, не поверю. А вот что интересно, вижу по глазам. Красноречивые взгляды, как сказал бы писатель. Плохой, разумеется. Но мы, чекисты, умеем читать в глазах и менее красноречивых. Итак, приступайте. Hic Rhodus, hic salta. Усвоите эту теоретическую часть, покажем вам кое-какие практические диковины.

Одной из диковин оказался десятиполосный анализатор спектра. Звуковые сигналы подавались непосредственно от микрофона на входы десяти фильтров, а выходы их управляли «перьями», которые писали по движущемуся рулону розовой бумаги, пропитанной йодистым раствором. Каждое прикосновение пера оставляло

след — коричневую точку или полоску. Так возникали четко видимые спектры звуковых колебаний. Десять «перьев» соответствовали десяти каналам частоты от 60 до 3000 герц. Степень затемнения «строки» позволяла судить об энергии в данной полосе.

С помощью американских журналов и непосредственных наблюдений я скоро научился читать эти спектрограммы, для которых придумал название «звуковиды». Оно привилось на шарашке, упоминается в романе Солженицына, но так и не стало общепринятым термином.

Инженеры-заключенные Сергей и Аркадий разработали и построили новый анализатор спектра. На металлический диск натягивалась магнитофонная лента. Звуковид на такой же розовой бумаге за несколько минут прорисовывался одним тоненьким пером, но густо-густо и выглядел почти так же, как американские «пэттерны». Волнистые тени разных оттенков отчетливо передавали движение и распределение звуковой энергии по частоте, в диапазоне от 0 до 3000 герц (число колебаний в секунду).

Становились явственны переходы от одного звука к другому.

Прибор АС-2 — т. е. анализатор спектра или, по нашей расшифровке, «Аркадий-Сергей» — позволял рассмотреть такие подробности в структуре речи, которые все прежние анализаторы не могли обнаружить. Вскоре Сергей и Аркадий создали еще один прибор (АС-3), который давал более крупные, более четкие звуковиды. Постепенно я научился читать их (если была записана обычная речь, не скороговорка).

Нелегко, а то и вовсе невозможно было прочесть слова, раздробленные «мозаичным» шифратором, однако, привыкнув читать звуковиды обычной речи, я по изображениям необычной мог в конце концов установить характер, метод, а приблизительно и код шифра, т. к. явственно выделялись полосы применяемых фильтров — три или четыре — и временные доли по 100-120 миллисекунд, на которые разделялись зашифрованные сигналы.

Антон Михайлович и Абрам Менделевич были довольны. Они хвастались моим умением перед начальниками из МГБ, правитель-

ственными комиссиями, которые время от времени посещали шарашку, — им тоже показывали достопримечательность:

— А вот единственный человек в Союзе и Европе, который читает видимую речь. Только в Америке есть еще такие чтецы — один-два… Но те, разумеется, только по-английски. А русской видимой речью овладел пока он один.[4]

Фома Фомич Ж., зайдя в лабораторию, снисходительно протягивал некоторым из зеков руку, показывая, насколько он высокопоставлен — может себе позволить и такое.

Однажды нас посетил замминистра, рослый, холеный красавец, в костюме, подобные которому я видел только в иностранных фильмах. Его сопровождал Антон Михайлович, более, чем всегда, любезный и говорливый. За ними шла свита, мундирные и штатские, среди которых я только минут через десять узнал Фому Фомича — он словно бы ссутулился, стал меньше ростом, худее, затерялся в кучке безмолвных или тихо перешептывающихся свитских.

В тот вечер и потом еще несколько раз меня показывали как «ученого медведя». Я просил, чтобы диктором был Солженицын, — у него хороший голос, внятное произношение. Для показательных чтений использовался только старый анализатор. На нем звуковиды получались быстрее и могли быть любой продолжительности. Новые приборы анализировали тоньше, подробнее, но в один прием только короткие отрезки по 2-3 слова.

Начальник, для которого устраивалось представление, писал на бумажке несколько слов. Текст относили диктору в акустическую будку, построенную в углу нашей лаборатории. Лента с записанным спектром раскладывалась на столе, — я выжидал несколько мгновений, пока четче проявится «рисунок» и пока диктор, выйдя из будки, займет удобное место так, чтобы я мог видеть его руку. У нас,

[4] В те дни, когда я держал корректуру этих страниц, наша юная приятельница — студентка первого курса — сдавала зачет по «формантам» речи и легко прочитала звуковид, который назвала спектрограммой.

как у карточных шулеров, был отработан свой нехитрый жестовой шифр. Я вслух называл предполагаемый звук, нанося его карандашом на рулон, не поднимая глаз, погруженный в «созерцание». Он стоял напротив. Если я угадывал точно, рука была неподвижна, если совсем не угадывал — поднимались все пальцы, если предполагал не тот звук, но близкий — подгибались несколько пальцев. Однако задача и впрямь была не слишком трудной в тех случаях, когда текст внятно произнесен знакомым сильным голосом.

На звуковидах были отчетливо прорисованы темными, волнистыми полосами более сильные участки спектра — форманты звуков речи. Я их назвал *образующими частотами.* Главная образующая (форманта) — в звонких звуках, как правило, вторая снизу, а в глухих чаще всего первая или даже единственная — непрерывно менялась, перемещалась, извиваясь и переламываясь, в звукосочетаниях, сливающихся в слоги и слова. Американцы называли ее «hub», а я пытался узаконить название «стрежень», «стрежневая образующая». (Однако даже многие из тех, кого мне удалось убедить, говорили и писали «стержень».)

В каждом звуковиде я мог наблюдать, как стрежни отдельных звуков смещаются под влиянием предшествующих и последующих. Так, например, в слове БАС стрежень *А* двигался круто снизу вверх, от более низкого Б к более высокому С; в слове ЧАЛ, наоборот, круто сверху вниз. В ШАШ стрежень выгибался полумесяцем «рогами» кверху, а в БАБ — рогами книзу и т. д.

Несколько раз мы проделывали такой эксперимент: записав на магнитофонную ленту внятно, медленно произнесенный слог или ряд слогов, возможно более бессмысленных (чтобы исключить обычные догадки), потом точнехонько, сопоставляя протяженность ленты со звуковидами и осциллограммами, «отрезали» последний звук. Эту ленту передавали по каналу обычного телефона. И большинство артикулянтов, как правило, *слышали* отрезанные звуки либо другие, но фонетически им близкие; например, вместо *Ш* слышали *С* или *Ж*.

* * *

Уже к осени 1949 года совместными усилиями нескольких лабораторий был разработан *абсолютно* секретный телефон. Звуки речи, поступая из микрофона в шифратор, уже не дробились по времени и частоте в мозаику, а, «располосованные» десятком фильтров, преобразовывались в простейшие сигналы. В каждой полосе совершенно одинаковые по амплитуде импульсы («клиппированные», то есть остриженные, обрезанные) передавались пучками, различными по густоте. Они перемешивались в шифраторе по определенному коду. В линии можно было услышать только непрерывный, неравномерный писк, свист, шипение. Звуковиды не позволяли даже определить, какого рода эти звуки. Они и на вид почти не отличались от механических. А шифратор-дешифратор на приеме, настроенный по ключу, который мог изменяться со дня на день, направлял эти сигналы в соответствующие фильтры, и на выходе восстанавливалась связная речь.

Когда мне впервые объяснили этот принцип шифрации, я сказал, что в мозаичных системах речь подвергается механическому раздроблению, после чего неизменные частицы воссоединяются, а здесь производится уже некое «химическое разложение» речи на атомы, которые затем вновь синтезируются.

Антон Михайлович заметил:

— Не думаю, что это достаточно строгое научно-техническое определение. Скорее, метафора, образ… Но в известной мере отражает истину. Так вот, любезнейшие филологи, теперь от вас требуется: во-первых, точно установить все условия максимальной разборчивости при этом синтезе. Нам необходимо знать, какие параметры должны быть переданы sine qua non, а на чем можно сэкономить. Какие частотные полосы урезать? Какими различиями амплитуд пренебречь? Но главное — шифрация.

Вдвоем с заключенным-инженером Б. я перевел книгу Винера «Кибернетика». Он переводил те страницы, математический смысл которых я просто не мог уразуметь, и редактировал все переведенное мной.

В нашей печати кибернетику объявили реакционной лженаукой. Антона Михайловича это не смущало:

— Ну, что же, это, видимо, правильно. Реакционная так реакционная. Но технически использовать необходимо. Мы же не сомневались в реакционности немецких фашистов, а тем не менее стреляли по ним из их же пушек… Как нужно произносить: сайбернетик или кибернетик? Толковая бестия этот американец. Впрочем, он, кажется, австрийский еврей? Янки присвоили его так же, как Эйнштейна и Бора. И получили немалый профит. Атомную бомбу-то создали главным образом ученые-иммигранты… Но мы с вами должны переплюнуть заморских мудрецов, переиграть их… Да-с, и не посредством родимой дубинки. Это в старину против англичанина-мудреца еще кое-как годилась дубина. Мой дед, помню, говаривал: «Все англичанка гадит…» Но с господами янки надо состязаться по-иному, по-новому. Итак, ваша первая задача — разборчивость, разборчивость и еще раз разборчивость. Вы, Александр Исаевич, должны выяснить не просто голые проценты, сколько слогов прошло через канал, а выяснить, какие именно буквы, ах да — звуки! — лучше различимы, какие хуже. А вы, Лев Зиновьевич, извольте проанализировать физические причины этой непроходимости… Как вы намерены это делать?.. Так-так… Записывать на пленку диктора, читающего артикуляционной бригаде, и затем исследовать звукови-иды. По-моему, называли бы просто «спектрограммы». Ей-Богу, точнее, хоть и не так красиво. Впрочем, ладно, зовите хоть горшком, но дайте нам точные данные, где зарыта собака неразборчивости… Займитесь охотой на этого шелудивого пса!.. Но есть еще и вторая задача. Вы сами слушаете и знаете — и та, и другая, и третья — все наши модели на приеме весьма неблагозвучны. И что еще хуже, говорящие неузнаваемы. Разборчивость переменна, — то больше, то меньше, — но узнаваемость, вернее неузнаваемость, постоянна. Представьте себе: товарищ Сталин вызывает маршала Конева, или Вышинского, или… э-э… Ракоши и не узнает голоса… Вот тут уже дело за вами, дражайший чтец звуковидов. Отныне вы будете и чтец, и жнец, и в дуду игрец. Извольте выяснить, и возможно точнее, чем

именно отличается один голос от другого. Я слышу в трубке кратчайшее «але» или «да-а» и узнаю, кто это — капитан Волошенко или майор Трахтман. Узнаю за долю секунды. А ведь в обычном телефоне мы слышим весьма ограниченную полосу. И притом с частотной характеристикой, весьма искажающей спектр… Я вот слушал ваши рассуждения о формантах, стрежнях et cetera… А потом поглядел на частотные характеристики телефонов. И оказывается, что все телефонисты, которые ни о какой видимой речи и слыхом не слыхали и варганили все на глаз и на слух, действовали, как будто изучали те же данные, что и вы. Вот, поглядите, — нижние и верхние частоты завалены, а средние усилены, этаким пузом выпячены, как раз те самые полосы, где, по вашим наблюдениям, и проходят главные форманты. Как вы их называете — стрежневые? Знаю, знаю, «из-за острова на стрежень». Мудрите все, «мокроступы» придумываете. Да уж ладно, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы делу на пользу… Так вот, посудите сами. Телефонисты — скромные техники-эмпирики, не ведая никаких теорий, следуя лишь практическому опыту, добились весьма пристойной разборчивости в соответствии с теми же закономерностями, которые вы обнаружили теоретически, потея над новейшими техническими достижениями. С одной стороны получается, что телефонисты действовали подобно тому мольеровскому персонажу, который не знал, что всю жизнь говорил прозой… Вот-вот, именно, Журден… Однако, с другой стороны, это совпадение свидетельствует, что и ваши наблюдения и размышления заслуживают доверия… Ведь я мог лично убедиться, что вы до самых недавних дней даже не знали, что такое частотная характеристика телефона. Этот факт сам по себе интересен еще и тем, что подтверждает некую закономерность, многими пока отвергаемую. Я формулирую ее так: здоровое невежество — один из двигателей научно-технического прогресса. *Здоровое,* то есть сознающее себя как невежество, лишенное самодовольства и сопряженное с любознательностью. Генри Форд отлично понимал эту закономерность. Он вовсе не брал на работу дипломированных инженеров, даже опытных практиков-специалистов. Говорил: у них мозги уже за-

стыли, все мысли движутся только в одном направлении, они привыкли к наезженной колее, не могут и не захотят свернуть. А мне нужны неискушенные, но любознательные парни, чтобы все узнавали заново. Такие — отважнее, находчивее, они способны открывать и вовсе новые дороги… Каков был хитрюга? Вот и я благословляю ваше здоровое невежество и направляю вас на поиски новых дорог…

* * *

Уговаривать меня не приходилось. Первые погружения в прикладное языковедение — статистические исследования русских слогов были завершены. Мы составили новые слоговые артикуляционные таблицы и начали составлять слововые и фразовые, формировали бригады из молодых — не старше тридцати — вольнонаемных сотрудников и сотрудниц. При испытании каждой новой модели и каждого отдельного узла телефонной системы артикулянты записывали слоги, которые диктор произносил в акустической будке — чтоб никаких внешних помех. Процент правильно принятых слогов считался объективным показателем разборчивости в данном канале.

Дикторов мы подобрали из тех заключенных и вольняг, кто мог внятно, равномерно и в то же время естественно — не выкрикивая, не выделяя отдельных звуков — подолгу читать таблицы, т. е. сотни и тысячи бессмысленных слогов.

Инженер Сергей появился у нас во вторую зиму.

— Я — чистых питерских кровей. Вырос на Неве, на Васильевском острове. Потомственный инженер. Электромеханик. Но и любая другая механика из рук не валится.

Он работал в блокадном Ленинграде, опухший от голода, едва живой, неделями не выходил из цеха; его вывезли совершенно истощенным. Позднее, весной, он сочинил об этой поездке стихи:

Дала кривая перегиб,
И я случайно не погиб…
…Первая станция. Весь эшелон
Орлом садится под вагон.

Еще до конца войны он вернулся в Ленинград на свой завод… Его двоюродный брат, тоже заводской инженер — охотник до сладкой жизни — снимал с трофейных приборов платиновые детали и продавал их морякам торговых судов за деньги или за контрабандное барахло. Его захватили с поличным, передали в ГБ. И следователь объяснил, что ему обеспечена вышка без надежды на обжалование. Но предложил единственно возможный спасительный выход — «помочь раскрыть серьезный контрреволюционный заговор». Злополучный ворюга, недолго раздумывая, «признался», что его родич и ближайший приятель Сергей собирается убить всех ленинградских руководителей (тех самых Кузнецова, Попкова и др., которых потом расстреляли в 1951 году по пресловутому «Ленинградскому делу»), а заодно и товарища Сталина, после чего намерен восстановить свободную торговлю, распустить колхозы и не слишком крупные предприятия отдать в частное владение.

Репутация у Сергея была неважная: в партию он не вступал и считался «нытиком и склочником», т. к. несколько раз устно и письменно обличал безобразия на заводе. В одном случае его вызывали даже в Москву в министерство Госконтроля.

После ареста он сначала отпирался. Его сажали в промерзший карцер, надевали браслеты, жестоко били. Он «признался», что рассказывал антисоветские анекдоты, что любит Ленина и Кирова больше, чем Сталина, что действительно говорил, будто в блокаде, в гибели всех пищевых запасов Ленинграда виновато в первую очередь правительство — Жданов, а возможно и Сталин.

Некоторым анекдотам следователь ухмылялся: «Придумывают же, суки!» — но продолжал требовать признания в подготовке «терактов» и в создании подпольной организации.

Двоюродный брат на очных ставках выглядел сытым, лишь несколько печальным, курил папиросы «Казбек» и просил Сережу не губить себя, их семьи и чистосердечно раскаяться: «Родина нас простит».

Наконец, следователь показал оформленные по всем правилам ордера на арест жены и старшей дочери Сергея.

— Если признаешься, сию же минуту, при тебе порву. А будешь, гад, выгребываться, сегодня же ночью их приволокут. И потянут как твоих соучастниц. Вот когда они тебе спасибо скажут… твою мать! Когда мы с них стружку снимать начнем и докажем, что это ты их заложил!

Сергей согласился все подписать. Ордера были демонстративно порваны в клочки. Следователь дал ему папиросу и заговорил вполне добродушно:

— Вот так бы давно. А то и себя, и нас мучаете. Доводишь. Вы думаете, мне нравится кулаки отбивать о ваши кости? А так и вам, и нам, и государству — польза. Враг обезврежен. Вы же оба с брательником вражины самые что ни есть. Это же факт. Но теперь за чистосердечное признание и вам будет легче… Органы учтут.

Сергея и его разоблачителя судило заочно ОСО, каждый получил по четвертной — 25 лет — по трем пунктам 58-й статьи: 8-я — террор, 10-я — антисоветская пропаганда, 11-я — контрреволюционная организация.

— Тот болван потом узнал, что за платину ему больше десятки и не корячилось. И считался бы хозяйственником, указником, а не врагом народа. Он чуть умом не тронулся. Локти кусал. Его жена после свидания ходила к моей Лиде, говорила: он в отчаянии, умоляет простить, хочет писать Генеральному прокурору, Верховному суду, самому Сталину. И надеется, гнида, что я тоже писать буду. Маком! У меня с ними вроде как джентльменское соглашение. Я подписал, что им нужно, а они не тронули мою семью и меня отправили сюда, на шарашку, мозгами шевелить, руками помогать, а не на каторге доходить, не на Воркуту, не в Магадан. А что будет,

если я начну писать жалобы? Да пиши хоть Сталину, хоть в горкомхоз, хоть в правление общества глухонемых…

Сергей понравился мне с первой встречи. Статный, осанистый, с открытым, смелым взглядом серых глаз из-под высокого лба. Говор образованного питерца, но бывалого, владеющего языками цеха и канцелярии, митинговой трибуны и окраинной пивнухи. Он судил обо всем решительно.

— …Лучший русский художник — Маковский. Кто может в этом сомневаться? Невежда или сноб, который придуривается, что ему больше нравится какой-нибудь Врубель и абстрактная мазня…

— …Сталин хотел отдать Ленинград немцам, и еще не ясно, кто поджег бадаевские склады, кто навел на них фрицевские бомбы. А Сталин питерских боится и ненавидит. Еще за Кирова.

— …Вот кто был настоящий большевик — Мироныч! Тут ничего не скажешь. Русская душа. Весь нараспашку. И голова на месте. Он и в технике смыслил, и в градостроительстве. Не позволил разрушать Ленинград, уродовать, как Москву. Он и памятники снимать не давал. Александра Третьего — чугунное чучело — еще до него стащили на задворки. Но все другие он отстоял: и царицу Катю, и Николая Первого, который «дурак умного догоняет, да Исаакий не пускает», и Суворова… А ведь были, это я точно знаю, были охотники их всех, и даже Медного всадника в мартены пустить. Как же, как же, пятилетке нужны трактора, навались, инженера. Трудовой пролетариат красотой другой богат! Закрывай Эрмитажи, хрен буржуям покажи!..

Спорить он не любил. Высказавшись категорично, от любых возражений отмахивался, иногда матерно, иногда просто шуткой либо язвительно-смиренно:

— Ах, простите, виноват. Куда нам, технарям, невеждам посконным, с просвещенными светилами тягаться… Мы лаптем щи хлебаем, босой ногой сморкаемся… Вот именно, виноват, тысячекратно миль-пардон!.. Глубоко сожалею, что дерзнул посметь свое суждение иметь и в столь высоком присутствии высказать. Посему замолкаю. А кто сомневается, может поцеловать меня в…

Уже с первых дней мы стали приятелями. Иногда ругались много и с матюками, но быстро мирились. Его изобретательство меня и восхищало, и стало необходимым для моих работ.

Панин в первые дни очень приветливо встретил Сергея:

— Истинный Василий Буслаев… Удалой добрый молодец…

Ему нравились вольные речи и вся повадка «питерского зиждителя». Но потом из-за его безбожных шуток и пренебрежительных отзывов о церкви они рассорились.

— Твой Митя просто блаженный, юродивый. Такие на Руси никогда не переводились. А рассказать иностранцам — усрутся, не поверят. Вчера я его встретил на прогулке: ходит по двору босиком, а земля мерзлая. Грудь голая до пупа. Ему бы еще вериги надеть пудовые и на паперти голосить о Страшном суде… Жалею таких, но уважать не могу. Сам человек простой, грустный-печальный, однако психически нормальный. И мою здоровую душу от всякой такой душевной патологии воротит, как муллу от ветчины.

С Паниным и я все чаще спорил. Он переживал трудный душевный кризис — истекало его первое арестантское десятилетие. Но я тогда недостаточно понимал, даже не всегда замечал это, озабоченный, поглощенный своими чрезвычайными «открытиями». И меня только смешила или раздражала его аскеза. Он работал в конструкторском бюро, где было несколько женщин. Иные заигрывали с таинственным, сумрачным красавцем-арестантом. Но он запрещал себе даже глядеть на них. И если случайно взглядывал и не опускал, не отводил глаз, то сам же себя неумолимо осуждал. В такой день он отдавал кому-нибудь из нас обеденный компот или запеканку за ужином.

— Возьми! Я сегодня согрешил. Два — или даже три — мгновения смотрел на одну поблядушку. Вот и наложил на себя епитимью.

В конце концов мы поссорились по совершенно вздорному поводу. Он стал доказывать, что Дантес — благородный, хорошо воспитанный юноша, который вел себя в деле чести как порядочный дворянин: его вызвали, он должен был драться (Панин был сторонником возрождения рыцарства и, в частности, поединков). А Пуш-

кин, конечно, гениальный поэт, но безбожник, а значит, и безнравственная личность…

Мы яростно разругались. Даже не простились, когда несколько месяцев спустя его увозили.

Но через пять лет, на воле в Москве, встретились опять друзьями.

* * *

Мой рабочий стол в акустической был в дальнем углу у окна. Солженицын и я сидели спина к спине. Наши столы были отгорожены от противоположных двухэтажными книжными полками и стойками, на которых пристраивались фильтры; через них мы иногда слушали артикуляционные испытания, выключая разные полосы частот. Обычно мы сидели в наушниках, объясняя это необходимостью отключаться от внешнего шума. Но, разглядывая звуковиды, читая или переводя, я мог одновременно слушать музыку, а в тихие вечера подключал те же наушники к особому контуру, который соорудили немецкие друзья-радисты из одной лампы, насаженной на коробочку немногим более спичечной, раз и навсегда настроив его на Би-Би-Си. У Сергея был целый рабочий отсек прямо напротив нас с другой стороны комнаты. Но он был еще и диктором. Всем нравился его великолепный баритональный бас и очень четкое, едва ли не артистичное произношение. Поэтому ему приходилось часами торчать в акустической будке, диктуя артикулянтам слоги, слова или фразы. А когда новый канал прослушивали местные эксперты или приезжие комиссии, он там же читал вслух газетные статьи. Диктуя артикулянтам, он должен был подчиняться Солженицыну и невзлюбил его.

— Мальчишка, сопляк, а строит из себя генерал-аншефа. «Вот так и так! А разговорчики излишни!» Ты погляди на него, он же никогда не улыбнется. Все время, как мышь на крупу, дуется. Он на всем белом свете только одного себя любит и себе же отвечает взаимностью. Даже в носу ковыряет с величайшим самоуважением.

«Фонетическим бригадиром» числился я, но, когда Солженицын увлеченно муштровал молодых вольняг-артикулянтов, среди которых были и миловидные девицы, я, любуясь его напористой сноровкой, отстранялся. Видел, что ему охота покрасоваться перед ними, щегольнуть эрудицией и командирской повадкой. Он же ушел на фронт совсем юнцом. И в нем еще бродил, клокотал мальчишеский задор, юношеское честолюбие. А я казался себе многоопытным, зрелым мужем и, внутренне посмеиваясь, старался не мешать.

Но Сергей то и дело замечал:

— Не понимаю: кто из вас бригадир? Кто руководит, а кто исполняет? Я, например, вообще, не терплю, когда со мной разговаривают приказным тоном. А если задирает хвост какой-нибудь резвый молокосос, то мой первый рефлекс — послать на легком катере.

Однажды он услышал, как Солженицын завел разговор с Абрамом Менделевичем, что, мол, артикуляционные бригады необходимо выделить в самостоятельную оргединицу, что он, конечно, будет прибегать к советам и консультациям по мере необходимости, однако подчиняться хочет непосредственно Абраму Менделевичу.

Сергей рассказывал сердито, язвительно:

— И как он ловко льстил-улещивал, вроде вовсе нечаянно: «Вы, Абрам Менделевич, как офицер, сами, конечно, прекрасно понимаете преимущество прямой субординации». А этот Менделевич — кабинетный хмырь, очкарик в погонах, тонкие ножки в хромовых сапожках — уши развесил, только что не мурчит, как кот, когда ему за ухом чешут…

Это меня поразило, огорчило, обидело… Стремление к самостоятельности, конечно же, неотделимо от юношеского честолюбия, которое я давно приметил. Но почему он не говорил в открытую со мной, а вопреки неписаным законам дружбы — тем более арестантского братства — пошел по начальству?

Объясняться я не хотел; не сознавал за собой права руководить. Напротив, был убежден, что он и сам отлично справляется.

Но трудно было скрывать внезапно возникшее чувство недоверия, даже неприязни. Да и как скроешь, когда все время, сутки напролет рядом? В лаборатории сидим вплотную, в столовой за одним столом, в камере на одной вагонке…

Он вскоре заметил, спросил раз, другой:

— Ты что, на меня дуешься?

Отвечал я невразумительно и неласково:

— Что значит «*дуешься*»? Ты не девка, не баба, чтоб я за тобой ухаживал… Знаешь, почему лошади не кончают самоубийством? Потому что никогда не выясняют отношений…

Я перестал спрашивать его о работе. А когда он внезапно — и, мне казалось, нарочито озабоченно — задавал деловые вопросы по ходу испытаний или заговаривал на темы политики, литературы, я старался отвечать коротко, сухо, от любых споров отклонялся: «Ну, что же, останемся каждый при своем мнении».

Услышав такое в первый раз, он насторожился и заметил, что «в работе приходится иногда наступать товарищу на пятки». Я не удержался, возразил, что в совместной работе арестантов следует все же ступать осторожнее, блюсти известные ограничения. У нас более тесные нравственные пределы, чем на воле. Его глаза потемнели.

— На сей счет у нас не может быть разногласий. И никто не посмеет утверждать, будто я нарушаю такие пределы…

Что было делать? Отстаивать необоснованные претензии на руководство? Перебирать мелкие претензии: кто, что, кому сказал, почему он докладывал начальству, вовсе ничего не говоря мне? Ссылаться на рассказ Сергея я не мог. Тот просил не упоминать о нем. Разговор Солженицына с Абрамом Менделевичем он подслушал из акустической будки с помощью нехитрого приспособления, которое устроил, чтобы незаметно слушать разговоры начальства. Так мы несколько раз узнавали, кому предстоит этапирование и кем особенно интересуется кум…

* * *

Некоторое время между нами сквозила прохлада. Но постепенно дружба восстановилась как ни в чем не бывало, и я никогда не напоминал об этой размолвке.

Мою привязанность к нему она не могла ослабить.

Слишком близок он стал мне. Он лучше всех вокруг понимал меня, серьезно и доброжелательно относился к моим занятиям, помогал работать и думать, дельно использовал мои «открытия» в ходе артикуляционных испытаний и толково их обобщал. Он убедительнее всех подтверждал смысл моего существования.

И очень по душе мне пришелся. Сильный, пытливый разум, проницательный и всегда предельно целеустремленный. Именно предельно. Иногда я сердился на то, что он не хочет отвлечься, прочитать «незапланированную» книгу или поговорить не на ту тему, которую заранее наметил. Но меня и восхищала неколебимая сосредоточенность воли, напряженной струнно туго. А расслабляясь, он бывал так неподдельно сердечен, обаятелен…

Моего единственного брата — младшего — тоже звали Саней. Он погиб в бою в сентябре 1941 года. Всегда я мечтал о сыне, с которым делил бы все, что знаю, умею, заветные мысли и трудные заботы…

В Сане Солженицыне ощущалась явственная боль безотцовства. И в его стихах, и когда он рассказывал о детстве и юности.

Тогда я себе казался значительно старше, умудреннее; хотел понимать его по-братски, по-отцовски. И даже самые жестокие наши споры истолковывал как естественные противоречия поколений.

В те годы и еще долго потом я верил ему безоговорочно. Верил вопреки мимолетным сомнениям, вопреки сердитым перебранкам, вопреки предостережениям злоязычных приятелей. Без этой веры мне было бы труднее жить.

(Весной 1955 года мы с Дмитрием Паниным узнали адрес Солженицына, который третий год жил в ссылке «навечно» в степном поселке Кок-Терек в Казахстане.

Мы стали переписываться. Он тогда был под наблюдением онкологов — еще не оправился после операции семеномы. Наталья Решетовская, которая развелась с ним как с заключенным без особых формальностей, — он долго и не знал, что уже неженат, — вышла замуж, не писала ему, не ответила даже на просьбу о березовом грибе, чаге, который помогает иногда исцелять или хотя бы подлечивать рак. После его реабилитации в 1957 году их брак был восстановлен.

Он писал нам с Митей часто, в некоторых письмах прорывалась едва скрываемая тоска одиночества, ожидание скорой смерти, отчаяние… Мы как могли старались утешать, ободрять, искали ему невесту…

Летом 1956 года мы с Митей встретили его на Казанском вокзале.

Казалось, он почти не изменился — только чуть усох и загорел бледным, желтоватым, «незаконным» загаром — ему ведь нужно было избегать солнца. Выпить для встречи не пришлось — он соблюдал диету. Но говорили много — и тогда и при новых свиданиях в последовавшие полтора десятилетия; уже меньше спорили.

Надежды и суждения о стране и о мире у нас троих часто не совпадали, — я полагал себя марксистом (хотя уже не ленинцем) еще и до 1968 года, а Митя из истового православного стал еще более истовым католиком. Но все же общего, объединяющего нас, казалось, было больше, чем разногласий. И старая арестантская дружба словно бы стала еще крепче.

А в семидесятых годах пути разошлись. Но это уже другая тема. И время для нее еще не приспело.)

* * *

Солженицын разрабатывал теорию и методику артикуляционных испытаний телефонных каналов в разных режимах. А я читал и конспектировал книги и статьи по языкознанию, по фонетике, по акустике и электроакустике, по теории связи, по психологии речи,

книги Сосюра, Щербы, Бодуэна, Марра, издания Пражского лингвистического кружка, статьи Габора, Эшби, Ликлайдера, Бекеши, американские, английские, французские, немецкие журналы.

Но читал я главным образом вечерами. А днем больше возился со звуковидами, торчал у АС, наговаривал тексты на магнитофонную ленту, потом натягивал ее на диск анализатора, получал звуковиды и рассматривал их, измерял, сравнивал…

Мне были поставлены отчетливые задачи: исследовать, в какой степени разборчивость речи и узнаваемость голоса в телефонах различного типа зависят от точности воспроизведения определенных параметров звуковых колебаний (частоты, энергии, соотношения частоты и энергии в разных — и каких именно — диапазонах частоты).

Во всех рассуждениях и спорах, которые возникали вокруг наших фонетико-акустических работ и захватывали почти всех, кто разрабатывал новые телефонные системы и отдельные узлы, были примерно такие главные темы:

— Сколько можно «сэкономить» (сократить) в диапазоне частоты? (При обычном разговоре «от рта к уху» на расстоянии одного-двух метров мы воспринимаем звуковые колебания с частотой от 60 до 15 тысяч герц. Обычный телефон передает ограниченную полосу от 100 до двух с половиной тысяч герц. Но и при передаче по более «узким» каналам речь все еще сохраняет некоторую разборчивость.) До каких пределов можно сократить канал? Что лучше срезать — верхние или нижние частоты?

— Если необходимо (в целях шифрации) передавать речь, разделяя ее фильтрами на отдельные частотные полосы, то какое именно деление наиболее благоприятно для разборчивости и узнаваемости?

— Как влияют на разборчивость речи, на узнавание говорящего различия в энергии, то есть амплитуды звуковых колебаний? До каких пределов можно их сокращать? До какой степени точно нужно воспроизводить различия между амплитудами в отдельных диапазонах частоты?

Такие конкретные, непосредственно технические вопросы были неотделимы от некоторых общетеоретических проблем:

— Что имеет решающее значение при восприятии речи: дискретные отдельные звуки или некие целостные «блоки» — слоги, слова, фразы — единицы смыслов?

— Чем отличается восприятие написанного текста от восприятия речи?

— Что быстрее и точнее? Можно ли эти различия измерять?

Звуковиды — то есть спектрограммы звуковых колебаний — позволяют увидеть распределение энергии по частоте в диапазоне примерно от 20 до 3000 герц. Те звуковиды, которые получали на АС-2 и АС-3, прорисовывали этот диапазон несколькими сотнями тончайших линий. Сергей сделал приспособление, позволяющее делать рисунок то более густым, то более редким. Степень резкости, потемнения отдельных участков каждой линии выражала более или менее высокую энергию (амплитуду) звуковых колебаний данной частоты и в данное мгновение (доли секунды). Такие спектрограммы позволяли добраться до тайников, которые раньше были недоступны ни лингвистам, ни акустикам, ни отоларингологам, ни логопедам…

На первых порах в звуковидах и в параллельно снятых осциллограммах я находил подтверждения тех, так сказать, «корпускулярных» теорий речи, которые представляли ее сложной конструкцией из четко раздельных кирпичиков — фонем.

Позднее я все больше убеждался, что этого недостаточно. И письменный текст, если его лишить знаков препинания и прописных букв, существенно обедняется, может даже по существу измениться. Однако «написанное пером не вырубишь топором» — его можно перечитывать не раз, чтобы лучше уразуметь. А прозвучавшее слово «вылетело и не поймаешь».

Сопоставляя возможности слуха и зрения, я становился «ухопатриотом», пытался доказывать, что слепорожденные или рано ослепшие люди, как правило, значительно способнее, интеллигентнее, чем рожденные глухими или рано оглохшие. Потому что глу-

хота — и связанная с нею немота — неумолимо подавляют разум, сознание, в значительно большей степени, чем слабость или полная утрата зрения. Вспоминал Гомера и московского математика Льва Понтрягина и не мог вспомнить ни одного глухого или глухонемого гения.

Но в то же самое время я все больше убеждался, что восприятие речи нельзя рассматривать как такую работу некоего сверхскоростного ухо-мозгового приемника, при которой стремительно анализируется поток фонем, раздельных, как звуки морзянки.

Одно время я стал было приверженцем «волновой» теории речи. Но потом пришел к новой и уже окончательной уверенности, что мы воспринимаем речь как некое переменное единство (переменное и во времени и по относительным значениям разных составляющих его элементов). Это единство охватывает и дискретные единицы — отдельные звуки, и непрерывные, транзиторные, т. е. переходные, процессы, и создаваемые теми и другими целостные «блоки» информации: слова, интонации, фразы.

В конце концов я разработал, частью сопоставляя и компилируя вычитанное и выученное, частью заново обдумывая то, что наблюдал сам, такую систему фонетико-физических представлений, которая, как мне казалось, лучше других могла помочь работе моих товарищей — инженеров и техников. Назвал я эту систему «речевые знаки русского языка».

1) ЧАСТОТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ дискретные речевые знаки или фонемы. Их физические выражения — образующие, т. е. форманты.
2) ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫЕ и АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННЫЕ транзиторные знаки «*речевого лада*», т. е. ударения, интонации, выразительные колебания громкости или мелодии речи. Их выражения — амплитуды звуковых колебаний, переходы основного тона.
3) ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ: выразительные паузы, ускорения или замедления.
4) ЗРИМЫЕ речевые знаки: мимика, жесты.

Увлеченно, в иные часы и вовсе забывая обо всем вокруг, я изобретал велосипеды и открывал Америки либо строил собственные фантастические умозрительные схемы.

Звуковиды представляли речь прежде всего в *двух* измерениях: по времени (горизонтальная ось) и по частоте (вертикальная). Третье измерение — энергия (амплитуда) выражалась только в степени потемнения отдельных участков.

Сергей сделал приспособление, позволяющее получать точечные — подобно картинам пуантелистов — спектрограммы, с тем чтобы по числу точек определять количество энергии, т. е. высоту соответствующей амплитуды. Но ему все не удавалось получить достаточно объективные и действительно измеримые показатели. Чем больше энергии, тем больше точек, и они сливались в пятна. Он разработал прибор, анализировавший спектр по частоте и амплитуде. Получались звуковиды мгновенных (не дольше ста миллисекунд) долек отдельных звуков речи. По горизонтали частота, по вертикали — амплитуды.

Я стал мечтать о трехмерном изображении речи. И Сергей сделал несколько моделей. Десятка два «профильных» частотно-амплитудных спектрограмм выстраивались в ряд по оси времени и так создавали кусочек причудливого горного ландшафта. Но прочесть «трехмерное» слово оказывалось едва ли не труднее, чем по двухмерному звуковиду, а строить подобные модели было и хлопотно, и трудоемко.

К тому же не было уверенности в достаточно точном объективном изображении амплитуд. Они ведь более всего зависели от частотных характеристик микрофонов (телефонов). Эти характеристики сравнительно мало влияли на разборчивость, но различались даже у аппаратов, сходных между собой по всем прочим качествам.

Когда я стал подробнее выискивать, исследовать физические параметры индивидуального своеобразия голоса, то пришел к убеждению, что именно трехмерное — рельефное — изображение

спектра речи позволяет наиболее достоверно установить индивидуальные особенности голоса и произношения.

Однако таким исследованием нам не пришлось заняться. Сергею поручили другую работу, потом снова другую… Никто больше этим не интересовался, да никто не мог бы заменить Сергея. Он был инженер-конструктор божьей милостью, «быстрый разумом», находчивый, изобретательный, выдумщик, фантазер и мастер золотые руки. Он придумывал все новые и новые приспособления к анализаторам спектра, а для «встречной проверки» — насколько мы правильно толкуем звуковиды — создал аппарат искусственной речи — АИР.

10 фотоэлементов, соответствующих частотным фильтрам, управляли динамиком-громкоговорителем. На длинной и широкой полосе белой бумаги мы с Сергеем на 10 «строках» густой черной тушью наносили образующие (форманты). Аппарат протягивал этот рукотворный звуковид со скоростью речи; фотоэлементы «читали» его, и сиповатый, механически монотонный голос произносил: ЖИРНЫЕ САЗАНЫ УШЛИ ПОД ПАЛУБУ. (Эту фразу мы сочинили еще в первые дни существования акустической лаборатории. Она включила «крайние» по расположению образующих звуки: самые «низкие» *У, Б, П;* самые «высокие» *И, Ш, Ж, С, З,* а также «центральные» *А, Ы, Л, Н.*

С утра и до ночи из разных углов лаборатории, где на стойках и просто на столах монтировали и тут же проверяли панели отдельных узлов, слышалось несчетно повторяемое разными голосами то радостно, то сердито сообщение об уходе жирных сазанов…

Странно значительные минуты. Звучали слова, которые произносил не человек, а его создание. Аппарат произносил слова «по шпаргалке», изготовленной нашими руками.

С помощью этого «обратного действия», то есть превращения звуковидов в звук, я собирался проверять, уточнять и подтверждать наши представления о речевых знаках, об их абсолютных и относительных значениях.

Антон Михайлович и Абрам Менделевич сперва были очень довольны АИРом, внимательно слушали мои объяснения. Антон Михайлович одобрительно хмыкал, когда я говорил о возможностях теоретических и практических исследований. Несколько раз он показывал начальственным посетителям «единственный в мире» прибор, произносящий слова, которые никогда не были произнесены человеческим голосом. Но вскоре охладел к нему:

— Не вижу профита от этой игрушки. Нам сейчас нужны конкретные практические результаты. А тут чистая игра ума.

## *Глава шестая*
## СЕРЫЙ

Выпуклые, голубовато-серые глаза, кажется, никогда не мигают. Светло-русые волосы прямые, редкие. Длинное лицо. Сутуловат. Ходит, загребая плечом. Длинные сильные руки. Говорит негромко, обходительно. Частит выражениями вроде: «осмелюсь заметить», «вызывает недоумение», «простите за прямолинейность», «так сказать, не тот элемент», «имеет место». Но все это вперемежку с блатными словечками, замысловатой похабелью. Быстро переходит на свойский, приятельский тон — «Здорово, кореш! Все вкалываешь. Осмелюсь заметить, от работы и кони дохнут. Вот я шестой год разменял. Имею как-никак пятнадцать наличными и пять по рогам. Работаю безотказно. В своем деле спец не из последних. Слесарь-лекальщик, восьмой разряд; токарь не хуже; починяю машинки, любую утварь; электрик-универсал, могу и по сильным, и по слабым токам. От меня инженера впадают в недоумение. Экстракласс. Однако работаю с головой, без надрыва. Знаю, как нужно: «себе-тебе-начальнику». Подай мне, что мне положено, а что сверх положенного, я сам возьму…»

Улыбка широкая, оскаливает мелкие крепкие зубы. Смех дробный, глоточный, рывком начинается, рывком смолкает.

Евгений Г. в экспериментальной мастерской монтирует электрические приборы. Те, кто с ним работают, говорят, что он дело знает, иногда толково поправляет инженеров, улучшал уже не только детали, но и целые схемы. Он давнишний радиолюбитель-коротковолновик. Это и привело его в лагерь перед самой войной. Были

арестованы также его отец — мастер на заводе — и старший брат — военный инженер. Брат расстрелян. Отец умер в лагере. Бывшие воркутинцы рассказывали, что отец и сын непримиримо враждовали, то ли Женька заложил отца и брата, то ли отец заложил сыновей, но порядочные зеки сторонились и того, и другого.

В камере Г. спал на нижней койке, а над ним — задиристый, горластый инженер из военнопленных — Костя К., добродушный и не очень умный. Костя случайно надел ватник соседа. И вытащил из кармана аккуратно сложенный листок с текстом, отпечатанным на машинке. Во всех лабораториях были пишущие машинки, и Г. несколько раз заменял шрифт на трофейных машинках.

Листок без адреса, но содержание не вызывало сомнений: «З/к Семенов в вечерние часы изготовляет из плексигласа портсигары, мундштуки, брошки. Что-то из этого он передавал на свидании, а также дарит другим зека портсигары и мундштуки. Дал (или продал) для личного пользования з/к Измайлову, Брыксину, Солженицыну, Герасимовичу, а броши дал (или продал) з/к Лаптеву и Николаеву для передачи на свидании. З/к Лаптев на последнем свидании передал письмо жене, указал адрес объекта и распорядок дня, что видно из прихода его жены к забору в час прогулки. З/к Николаев также передал записку жене с такими сведениями, и его малолетний сын приходил к забору и даже кричал «папа». З/к з/к Панин, Копелев, Солженицын каждый вечер в нерабочие часы собираются в библиотеке, ключи от каковой у зав. библиотекой Солженицына, и он их не отдает охране, мотивируя, что имеет материальную ответственность, предъявляя охране предлог, что делает срочную работу. Однако з/к Панин большую часть времени не стоит у своего кульмана, где он должен чертить, и не слышно, чтоб стучала машинка, на каковой Копелев печатает переводы, зато слышно, что они разговаривают, даже повышая голоса до мата, или тихо читают литературу, не касающуюся работы объекта, даже стихи. Об их разговорах и дискуссиях можно думать, что имеют политический характер. Один раз я, зайдя за справкой, слышал, как з/к Солженицын сказал з/к Копелеву со злостью: «Он не великий, он всю Россию

кровью залил». Когда они заметили меня, з/к Панин сказал: «Атанда, господа», на лицах имели смущение. З/к Копелев нарочно громко сказал: «Нет, врешь, Иван Грозный был великий царь, он завоевал Волгу и Сибирь», — и стал говорить так, как будто весь разговор касался царя. Тогда з/к Солженицын тоже стал говорить про Ивана Грозного, а з/к Панин сказал: «Господа, не будем отвлекаться от работы». З/к Панин всегда говорит своим дружкам «господа».

З/к Толстобров в камере говорил с з/к Семеновым, Измайловым и восхвалял немецкую технику, а также американскую технику, а про отечественную советскую аппаратуру сказал: «Наше родное говно устарело на десять лет!» — Серый».

Именно так был подписан листок, найденный в кармане у Евгения Г. Костя в тот же день показал его всем, кто упоминался в тексте. Показывал по очереди, по секрету, заглядывая в лаборатории в рабочие часы. Его распирало от восторга, что узнал тайну, что помог нам. У каждого спрашивал совета, как поступить дальше. Солженицын, Панин и я были согласны в том, что самое лучшее — это публичное разоблачение с оттяжкой (т. е. крепкой бранью и угрозами). Сгоревший стукач уже в значительной степени обезврежен. Костя и еще кое-кто хотели сделать темную. Мы возражали. Ведь теперь уже не скрыть, кто нашел ксиву, и за побои будет отвечать именно Костя. Другие уговаривали вовсе не делать шухера, достаточно, что мы знаем, а ксиву вернуть владельцу, начертав предостережение. Костя растерялся от разнообразных предложений, к концу дня его восторг и азарт угасли, он уже явно тяготился своим открытием, туго соображал, злился на советчиков. И вдруг решил по-своему. Мы все знали, что между тюремным и лабораторным начальством все время возникали свары, и зеки, «которые ушлые», старались использовать это. Костя начал рассуждать:

— Это он кому стучал, конечно же, тюремному куму. Свиданья, разговорчики — это для шарашки плюнуть и растереть. Им он должен стучать по работе, как там план, конструкции, инструмент, трали-вали, дефицитные детали. Я отнесу эту ксиву шарашечному куму с Понтом, думаю, что для него — здрасте, возьмите. Кто-то по-

терял, я подобрал, передаю по адресу, только все это чепуха, свистит он, гад, клевещет на людей.

Мы тщетно пытались его отговорить. Он только больше распалялся. Он был очень высокого мнения о своем уме, сообразительности, проницательности, гордился этим не меньше, чем силой действительно крепких мышц.

— У меня котелок, слава Богу, варит, нет еще таких мудрых, чтобы меня перемудрили.

Поэтому любое неосторожное критическое суждение, вроде «Чепуху ты мелешь, дураком будешь» и т. п., возбуждало у него только яростное, бычье упрямство. Так и теперь, отматерив на крик незадачливых оппонентов, он побежал в кабинет оперуполномоченного по лаборатории и через несколько минут вышел, делая вид, что вполне доволен, однако все же несколько смущенный. Он сказал оперу все, что придумал заранее, но не приготовил ответа на простой вопрос:

— Вы это кому-нибудь показывали?

— А ты что ответил?

— А я тоже не пальцем деланный, сразу не отвечаю, тяну резину, строю дурака: кому я должен показывать, тому самому, что ли, кто писал? Но кум опять, правда вежливо, однако настойчиво — вы, говорит, не темните, я спрашиваю, кому из зека показывали. Ну, у меня, слава Богу, котелок варит, и не таких мудрых в рот пихал. Говорю, что специально никому не показывал, но нашел ксиву, положил на столе, пусть люди смотрят, пусть, может, и возьмет, кто потерял. Никто не взял, я вам и принес. Никто не советовал, я сам надумал. Он говорит: «Ох и хитрый вы», — и моргает мне, как бляди. А я на те морги — ноль внимания. «Ну, идите, — говорит, — и не болтайте». А я говорю: «Есть!» — и кругом. На следующее утро Г. после подъема пришел как ни в чем не бывало в нашу камеру. Он жил в малой с инженерами, ее называли «палатой лордов»; а наша большая, многолюдная считалась «плебейской». Он держал в руках котенка.

— Держи, корешки, подарок! — и метнул котенка на койку Солженицына. Тот вскинулся:

— Ты чего животное мучаешь! И вообще ты… Серый, и мы тебе не кореши.

Он только пригнулся на миг, но даже ухмылку не стянул.

— Для кошек это не мучение. Они прыгают с четвертого этажа. Надо знать, господа интеллигенты.

Тогда я стал орать уже в тоне лагерной оттяжки на полную мощность:

— Не о кошке речь. Ты что, не слышишь, падло, ты, Серый, наседка, стукач, иди, гад, и чтоб тобой и близко не смердело. Иди, а не то…

За этим шли грозные посулы.

Все, имевшие лагерный опыт, знали: когда имеешь дело со стукачом, лучше всего открыто, зло разругаться. Это сразу же снижает цену его информации как «личных счетов». Но ругаться надо тоже до известного предела, чтобы не схлопотать обвинение в «камерной агитации», «подстрекательстве к сопротивлению» и т. п.

Поэтому Митя Панин как самый опытный из нас, перебивая меня, закричал еще громче и угрожающе двинулся на Г.:

— Животных мучаешь, падло! Кошка тебе игрушка, сволочь. Бросаешь живую тварь, как камень, мерзавец! В человека бросаешь, сволочь. А если она лицо оцарапает?.. Падло! Гад!.. Сволочь… В рот… В душу… Пошел вон, хулиган, пока морду не своротили!

Еще несколько человек, успевшие сообразить, что к чему, подхватили оттяжку. Кто-то запустил ботинком, но достаточно точно промахнулся.

Г. отступал к двери, чуть побледневший, но так же скалясь, только глаза потемнели…

— А пошли вы все на хрен. Ошалели!..

После этого мы трое и еще несколько наших приятелей с ним не здоровались, отворачивались. Но его это, казалось, не смущало. На прогулках и в столовой все так же звучал его хохоток. И он был всегда в компании. Издалека уже слышалось, как он смачно рассказывает похабный анекдот, занятный случай из лагерной жизни либо спорит о каких-то футбольных, боксерских или технических проблемах.

Когда весной и летом удлинили вечерние прогулки и разрешили устроить волейбольную площадку, он оказался капитаном одной из команд, играл очень ловко, щеголял профессиональными ухватками и словечками. Он пытался иногда заговаривать как ни в чем не бывало и с теми, кто его бойкотировал. Мы отворачивались, но он словно не замечал и через несколько дней опять заговаривал. Иной не выдерживал, отвечал, хотя сухо и коротко. Нас, упорных молчальников, осталось под конец совсем немного.

В 1951 году Г. освободили досрочно в числе семерых инженеров и техников, которых наградили свободой и денежными премиями за создание самой совершенной системы секретной телефонии.

Он теперь фамильярничал и похохатывал уже с вольными рабочими. Тех заключенных, с которыми работал, он либо нагло понукал, — меня не проведете, я сам вчера такой же был, знаю, как темнить, — либо нарочито панибратски улещивал, — не подкачайте, не подведите меня, и я вам помогу.

Других зеков, в, том числе и бывших приятелей по волейболу, он старался не замечать, если они здоровались — едва кивал в ответ. Встречая меня и тех, кто раньше его избегал, глядел пристально, ухмыляясь, словно бы ждал, что заговорим.

Десять лет спустя он работал по-прежнему монтажником, в другом НИИ, вместе с несколькими бывшими зеками нашей шарашки. В 1960 году он даже пришел на вечер, когда устраивалась встреча «ветеранов». Он громче всех орал: «А помните, хлопцы, а помните, братки-однополчане?» Рассказывал анекдоты пожирнее, плясал «цыганочку». Вначале некоторые старались и здесь не замечать его. Устроители встречи, работавшие вместе с ним, просили не скандалить.

— Хрен с ним, он вроде лучше стал, вкалывает на совесть, старается. Кроме работы интересуется только футболом и водкой, а жена им помыкает как хочет.

Он единственный из всех нас привел на вечер жену. Щекастая, густо накрашенная бабенка с ухватками бойкой ларечницы или

официантки из третьеразрядной столовки плясала со всеми, визгливо смеялась анекдотам, запевала арестантские песни.

Когда выпили достаточно много, все стали умильно благодушны. Пели «Помню тот Ванинский порт» и «В воскресенье мать-старушка», перебирали старых приятелей и сокамерников — кто где живет, кто умер, дедом стал, на пенсию вышел…

Г. все же подобрался с Сергею К. и ко мне: «Осмелюсь заметить, давайте чокнемся. Мы ж однополчане. Что было, то прошло. Извините за прямолинейность. Зачем зло помнить, лучше о добром думать. Чокнемся, чтоб всем здоровыми быть!»

Было очень противно смотреть на потное лицо, дергавшееся заискивающей ухмылкой.

Сергей потом уверял, что я все же чокнулся с Г. и даже пожал протянутую руку, а он послал его куда следует. Сергей для красного словца мог и приврать. Но в этот раз он, может быть, говорил правду. Я тогда перебрал водки, и от всего помнилось только общее настроение, смесь надсадной грусти и нарочитого хмельного веселья. Из окна квартиры, где мы собрались, виднелась ограда бывшей шарашки. Всего несколько лет прошло, а уже трудно было понять, как могли мы там жить, работать, смеяться. И почему грустно теперь, когда все куда лучше, чем раньше мечталось и в самых дерзких мечтах. Возможно, я и впрямь охмелел и размяк настолько, что пожал руку бывшему стукачу.

## *Глава седьмая*
# ФОНОСКОПИЯ. ОХОТА НА ШПИОНОВ

Нет такой грязной работы, которая не возлагалась бы на современного ученого в «передовых» коммуно-фашистских странах.

*Георгий Федотов. «Новый Град»*

…Мы ходим под смертью, шпион!
…Берись за работу, шпион!
…Добудь нам ответ, шпион!
…Дай нам спасенье, шпион!

*Р. Киплинг. «Марш шпионов»*

Поздняя осень 1949 года. В лаборатории только начинали включать приборы, готовить инструменты. Мы с Солженицыным раскладывали свои папки, книги, журналы; несколько человек маячили у железного шкафа, из которого дежурный офицер доставал секретные папки и гроссбухи — рабочие дневники.

Ко мне подошел старший лейтенант Толя, один из помощников начальника лаборатории:

— Вас вызывает Антон Михайлович. Немедленно… Нет, никаких материалов брать не надо.

Большой, светлый кабинет застлан ковром; широкий письменный стол занимал дальний угол, от него диагонально через всю комнату — длинный, покрытый зеленым сукном. Книжный шкаф.

Кресла. Диваны. Круглый столик с графином. Все казалось нарядным, словно лакированным.

Антон Михайлович и Абрам Менделевич сидели у длинного стола, перед ними два магнитофона и в клубке проводов несколько пар наушников — большие, вроде танкистских или самолетных.

Антон Михайлович поглядел рассеянно, отрешенно.

— Здрасте… Здрасте… Вы, кажется, говорили, что уже как-то определяете физические параметры индивидуального голоса… Не так ли?

— Не совсем. Пока еще приблизительно, в самом начальном приближении. И не определяю, а предполагаю… Сравнительно уверенно могу сказать только, что своеобразие голоса — это главным образом особенности тембра, которые зависят от микроструктуры гортани, носоглотки, рта… Кое-что удалось наблюдать на звуковидах, когда одно и то же слово один и тот же человек произносил то громко, то шепотом, то вопросительно, то утвердительно. Спектр каждый раз иной, но в нескольких случаях, кажется, удалось распознать и постоянные индивидуальные черты голоса — я назвал их микроинтонациями и микроладом речи…

— Так, так, все это весьма занимательно… Но пока вы еще плаваете в чистой теории. Это плавание может привести вас и в болото, и к истокам некой новой науки… Последнее было бы похвально и прелестно. Науки юношей питают, отраду старцам подают. Но мы с вами еще не старцы. Ergo нам требуется наука питательная… Так вот, эти ваши исследования неожиданно приобрели новое, чрезвычайно важное значение. Настолько важное, что еще и сверхсекретное. Здесь на магнитофонных лентах есть нечто, требующее вашего особо пристального внимания… Как вы полагаете, Абрам Менделевич, пожалуй, возьмем быка за рога?.. Берите наушники и послушайте голос некоего индивидуя, пожелавшего остаться неизвестным… Анатолий Степанович, давайте сначала!

В наушниках сквозь шипение и щелчки прорывались, потом внятно зазвучали голоса:

— Але! Але! Кто это говорит?

— Я говорил. Это посольство от Соединенных Штаты от Америка.

— Вы понимаете по-русски? Вы говорите по-русски?

— Я могу плохо говорит, я могу понимат…

— У меня очень срочное, очень важное сообщение. Секретное.

— Кто есть вы?

— Этого я не могу сказать. Поймите! Как вы думаете, ваш телефон подслушивается?

— «Слушивает»? Кто слушивает?

— Кто, кто… Ну, советские органы… Слушают ваш телефон?

— О, ай си… Не знаю… Это ест возможно да, ест возможно нет… Что вы хотели говорит?

— Слушайте внимательно. Советский разведчик Коваль вылетает в Нью-Йорк. Вы слышите? Вылетает сегодня, а в четверг должен встретиться в каком-то радиомагазине с американским профессором, который даст ему новые данные об атомной бомбе. Коваль вылетает сегодня. Вы меня поняли?

— Не все понял. Кто ест Коваль?

— Советский разведчик… Шпион… Не знаю, это фамилия или псевдоним. Он вылетает сегодня, в понедельник, в Нью-Йорк, а в четверг должен встретить профессора по атомной бомбе…

Шипение… Щелчки… Мы слушаем вчетвером. Прямо напротив меня Анатолий Степанович, чубатый тяжелый лоб надвинут на густые брови, тяжелый подбородок подпирает крепкие губы. Лениво пожевывает папиросу. Слушает невозмутимо.

Антон Михайлович развалился на стуле, прикрыв глаза руками. Абрам Менделевич стоит, низко согнулся над столом, одно колено на стуле; слушает напряженно, шевелит губами, словно повторяя слова. Заметив, что я взялся за наушники, машет рукой, — мол, будет еще.

Из шипящих шумов возникает тот же напряженный, тревожный голос:

— Але, але… Это я вам раньше звонил. Тут мне помешали.

— Кто говорит? Что вам угодно?

— Я звонил час назад по очень важному делу. Я не с вами говорил? Вы кто — американец?

— О, иес, я ест американец.

— Кем вы работаете? Какая ваша должность?.. Ну, какой пост?

— Пожалуйста, говорите не быстро… Кто вы ест? Кто говорит?

— Вы понимаете по-русски?

— Да-а. Понимаю немного… Ожидайте, я буду звать человек понимает по-русски.

— Но он кто? Советский гражданин?

— Кто советский? Я не понимаю. Пожалуйста…

— Вы поймите, я не хочу говорить, если советский… Позовите военного атташе. У меня очень важная тайна, секрет. Где ваш военный атташе?

— Атташе? Он ест эбсент. Он уходил.

— Когда он вернется? Когда будет на работе?

— О, будет завтра, мэй би сегодня… Час три-четыре.

— А ваш атташе говорит по-русски?

— Кто говорит? О, да… Но мало говорит. Я буду звать переводчик.

— А ваш переводчик кто? Советский? Русский?

— О да, ест русский. Американский русский.

— Послушайте… Послушайте, запишите…

И он снова повторял: «Срочно. Важно! Советский разведчик Коваль; четверг; радиомагазин где-то в Нью-Йорке или, кажется, в Вашингтоне; американский профессор; атомная бомба…»

Голос не старого человека. Высокий баритон. Речь, интонации грамотного, бойкого, но не слишком интеллигентного горожанина. Не москвич, однако и не южанин; *Г* выговаривал звонко, *Е* звучало «узко». Не северянин — не «окал». Не слышалось ни характерных западных (смоленских, белорусских), ни питерских интонаций… Усредненный обезличенный говор российского провинциала, возможно дипломированного, понаторевшего в столице…

Он был причастен к заповедным государственным тайнам и выдавал их нашим злейшим врагам. Его необходимо изобличить, и я должен участвовать в этом.

Прослушали еще два разговора. Новый собеседник — американец — говорил лениво-медлительно и недоверчиво-равнодушно.

— А потшему вы это знаете? А потшему вы эту информацию нам даваете? А что хотите полутшит?.. А потшему я могу думать, что вы говорил правда, а не делал провокейшн?

Тот отвечал натужно. Раз-другой прорывались нотки истерического отчаяния:

— Но это я не могу вам сказать… Поймите же, я очень рискую… Почему вам звоню? А потому что я за мир.

— О, аи си! (Прозвучало едва ли не насмешливо.)

— Так вы же можете все проверить. Я ведь точно говорю: вылетает сегодня, может быть, уже вылетел. А в четверг должен встретиться… Ничего я не прошу. Сейчас не прошу… Когда-нибудь… потом все объясню… Когда-нибудь потом…

(Эти разговоры я воспроизвожу почти буквально. Слушал их тогда снова и снова множество раз; слова, интонации прочно осели в памяти.)

Последняя запись — разговор с канадским посольством. Все тот же надсадный голос просил передать американскому правительству про Коваля, радиомагазин, профессора, атомную бомбу…

Антон Михайлович включил свои наушники в колодку второго магнитофона.

— А теперь сравним голос этого неизвестного подлеца с тремя другими. Не обнаружим ли сходства или подобия…

…Молодой зычный голос докладывал брюзгливому, басовито-начальственному о передаче или пересылке каких-то документов.

…Некто усталый раздраженно объяснял жене, что должен задержаться, отстранял упреки, давал какие-то поручения.

…Два молодых собеседника договаривались о встрече в ресторане, о том, кто каким приятельницам позвонит. Один был теноpок, никак не сходный с тем голосом предателя, другой — высокий

баритон, чем-то близкий по тембру, — но произношение московское, бойкая, фатоватая речь, уснащенная нарочито грубыми словечками и оборотами, однако с внятными отголосками хорошего воспитания.

Мне показалось, что голос и речь усталого мужа более всех других напоминает голос и речь того, кто предавал разведчика Коваля.

Оба пижона отпадали. Громогласный рапорт все же вызывал сомнение. Совсем иной характер и стиль речи могли определяться различиями, внятно слышными, однако нарочитыми, искусственными.

Антон Михайлович сказал:

— Так вот, с этой минуты вы целиком переключаетесь на одну боевую задачу. Изобличить предателя! Задача абсолютно секретная. Вам придется дать соответствующее дополнительное обязательство. Для новой работы мы создаем особую лабораторию. Без наименования, просто «Лаборатория № 1». Начальник Абрам Менделевич, заместитель Анатолий Степанович, вы научный руководитель. Штаты лаборатории — я полагаю, для начала достаточно двух-трех техников — подберем сегодня же из младших офицеров. Вашим коллегам можете, сказать, что лаборатория выполняет особое задание по криптофонии, разрабатывается чрезвычайно стойкий шифратор, и потом ни звука больше… Помещение для вас уже есть. Получайте оборудование. Несколько магнитофонов. Осциллограф. И возьмите второй анализатор. Знаю, знаю, что третий более совершенен. Однако мы не можем оголять акустическую. Если вам будет нужно, то по вечерам, по ночам будете работать еще и в акустической. Впрочем, можете там анализировать отдельные кусочки ленты. Но так, чтобы не просочилось ни полслова. За это мы все отвечаем головой. Абрам Менделевич будет докладывать мне ежедневно… Но это чрезвычайное, внеочередное задание отнюдь не отменяет вашей основной работы. Более того, я уверен — это ее только обогатит и ускорит. Ведь мы ищем физические параметры индивидуальности голоса. Ищем ключи к узнаванию далекого собеседника. Необходимо обеспечить возможно более полное восстановление ин-

дивидуального голоса… Выполняя это боевое детективное задание, вы одновременно должны решать все те же акустические проблемы, приближаясь к ним с другой стороны. Это, надеюсь, понятно?.. Значит, действуйте!

* * *

К тому времени я уже законспектировал дюжину книг и кучу статей по физиологии речи, провел множество экспериментов, пытаясь возможно точнее определить конкретные признаки одного голоса. Куприянов, Солженицын и я произносили одни и те же слова с разными интонациями, нарочито изменяя голос, либо подделываясь под чужеземное произношение, либо имитируя акцент (грузинский, еврейский, немецкий, украинский…). Потом я сравнивал звуковиды… Сергей Куприянов сделал приставку к АС-3, которая позволяла «укрупненно» выделять и анализировать отдельные звуки, отдельные полосы частоты…

Иногда казалось, что уже нашел. Вот именно такой рисунок гармоники в звуковиде такой-то гласной, именно такое чередование подъемов-опусканий более темных (то есть более энергичных) и более светлых участков присуще данному голосу. Потом оказывалось, что тот же звук этот голос произносил совсем по-другому либо, напротив, обнаруживались очень сходные черты в звуковиде другого голоса.

И тогда надежды, нетерпеливое ожидание, радость сменялись разочарованием, злой досадой, недоверием к себе.

Теперь все эти искания, исследования, предположения нужно было целеустремленно сосредоточить, подчинив одной задаче — найти шпиона.

Часть моих книг и записей, несколько огромных папок со звуковидами я в тот же день стал перетаскивать в новую лабораторию. То была небольшая комната, тесно заставленная старыми канце-

лярскими столами и шкафами с испорченными или вовсе «непочатыми» приборами.

Анатолий протянул мне листок — стандартный типографский текст, в который была вписана фамилия и слова об особо важном правительственном задании. В конце значилось: «В случае разглашения или саботажа подписавшийся подлежит строжайшей ответственности во внесудебном порядке» Подписывая, я спросил, как это понимать. В темно-серых зрачках мелькнула искорка улыбки. Но отвечал он с неизменным угрюмым спокойствием:

— А то значит: если трепанетесь, просто шлепнут без суда и следствия.

* * *

Мы слушали опять и опять. Прежде всего четыре разговора о Ковале и атомной бомбе. Слушали я и Анатолий Степанович, выбирая повторяющиеся слова. Сначала слушал я, потом он, и он же «переписывал» выбранные мною слова на особенную ленту, чтобы потом с нее делать осциллограммы и звуковиды. Техническими исполнителями были три молодые женщины, которые работали через день по 24 часа.

Слова я выбирал такие, которые звучали в разных разговорах подозреваемых: «Алло… Але… звонил… позвонил… слушаю… слушайте… работа… работать… говорит… очень… алло… да… нет… почему…»

Явственно не совпадали голос предателя и голоса «докладывающего» и «начальника» — тех собеседников, которые сначала вызывали было некоторые сомнения. Они были совершенно различны по основному тону и тембру… Это стало очевидно уже при сравнении самых первых звуковидов. Для верности мы сопоставили несколько более длительных отрывков. И я дал уверенное заключение — это разные голоса. В четырех разговорах «искомого» основной тон был достаточно постоянным.

Оставался «усталый муж».

Подписка о «внесудебной ответственности» не помешала мне в первый же день рассказать обо всем Солженицыну, разумеется так, чтобы никто не мог подслушать. Он расспрашивал, переспрашивал. Услышав о подписке, нахмурился:

— Ты понимаешь, что это не пустая условность? Не вздумай рассказывать еще кому-нибудь. В таких делах третий — лишний.

Ни с кем другим я и не собирался говорить об опасной тайне. И ему рассказал не только потому, что абсолютно доверял. Хотя это, разумеется, было очень важно. Но мне были нужны еще и его математические советы и непосредственная помощь. Требовалось установить, насколько возможны совпадения внешних (явственных по звуковидам) проявлений микроинтонаций и микролада речи у разных людей. Для этого я решил «просмотреть» возможно большее число голосов. Он предложил исследовать не меньше 50, чтобы легче определять процентные данные совпадений и отклонений.

Я составил текст, включавший контрольные слова с разными интонациями. «Алло… Говорит такой-то (каждый диктор должен был назвать себя). Кто говорит со мной? Я вам звонил о нашей работе. Вы будете сегодня работать? Вы меня слышите? Я буду работать сегодня…» и т. д.

Абрам Менделевич согласился с тем, что необходимо провести массовое исследование.

Он несколько раз говорил:

— Такой негодяй… Такая сволочь… Нельзя, чтобы он скрылся. Мы должны очень добросовестно проверять и перепроверять… Если из-за нас обвинят невинного человека, будет ужасно. А тот сукин сын будет продолжать шпионить…

Солженицын разделял мое отвращение к собеседнику американцев. Между собой мы называли его «сука», «гад», «блядь» и т. п.

Антон Михайлович согласился, чтобы я исследовал голоса не менее пятидесяти человек и чтобы использовал всех артикулянтов.

— Только не вздумайте никому ничего объяснять… Вы подписку дали?.. Что же вы им скажете?.. «Имитация простейшего теле-

фонного разговора для нового шифратора»?.. Ну, что ж, легенда не слишком замысловатая, но достоверная.

Артикулянтами и дикторами, как обычно, командовал Солженицын. Все они стали наговаривать контрольный текст. Других «одноразовых» дикторов — заключенных и вольняг — набралось около ста, мы вдвоем их инструктировали. Потом провели еще один эксперимент. Текст каждого диктора занимал несколько звуковидов; изготовляли их по два экземпляра. Один был контрольным. Звуковиды одного голоса я скреплял вместе и потом сопоставлял, промерял. Все вторые экземпляры перемешивались, и артикулянты должны были разобраться в куче, в которой было представлено не больше десяти голосов: разделить ее по отдельным дикторам, определяя «на глаз» индивидуальные приметы. Солженицын и сам увлеченно участвовал в этой игре. Абрам Менделевич хотел использовать не только звуковиды, но и осциллограммы. Мы решили сравнить по осциллограммам четырех разговоров все колебания основного тона голоса, построить соответственные кривые (гауссовские) и сравнить их с такими же кривыми по другим голосам. Солженицын советовал исследовать не только отдельные абсолютные значения, но еще и относительные переходы — сравнивать скорости изменения основного тона.

— Скорости, измеренные в миллисекундах, могут быть объективным математическим выражением твоих микроинтонаций.

Работали мы напряженно. В иные сутки я спал не больше четырех часов.

Голос «усталого мужа» оказался по всем данным тождественным голосу добровольного шпиона. Вскоре Абрам Менделевич сказал, что он уже арестован и я должен составить вопросник для следователя, такой, чтобы в ответах обязательно были произнесены те же слова, которые звучали в разговорах с посольством. Нужны были все те же простые слова «звонил», «говорил», «работа». Но теперь можно было услышать еще и такие, которых он не произносил в разговоре с женой: например, «разведчик Коваль», «атомная бомба» и др. Абрам Менделевич и Анатолий с магнитофоном пристро-

ились по соседству от следовательского кабинета, а маленький пьезомикрофон установили неприметно на столе следователя. В тот же день они принесли записи.

Анатолий рассказывал:

— Обыкновенный пижон. И чего ему не хватало?! Должен был ехать в Канаду, работать в посольстве на ответственной должности. А полез в шпионы. Засранец! Теперь и шлепнуть могут.

Абрам Менделевич был возбужден. И когда мы оставались наедине, говорил доверительно:

— Это просто ужасно! Ведь обыкновенный, наш советский парень. Как говорится — из хорошей семьи. Отец — член партии, на крупной работе, где-то в министерстве. И мать тоже, кажется, в партии. Сам был в школе отличником, активным комсомольцем. Приняли в дипломатическую школу, в армию не взяли. Там вступил в партию. Потом работал в МИДе. Ему доверяли. Ездил за границу. И вот теперь получил крупное назначение — второй советник посольства. Должен был ехать с семьей. Жена — комсомолка, тоже работала в МИДе, двое детей, плюс еще теща. И в тот же день, как получил билеты, стал звонить по автоматам в посольство. Узнал где-то случайно об этом Ковале и побежал. Продавал авансом. Рассчитывал, конечно, когда приедет, сразу перебежать, как этот гад Кравченко. Вы читали в газетах?.. Сведения, конечно, особо ценные, и он старался, чтобы поскорее. Теперь там, в Америке, пострадают наши люди… Я видел его, когда привели. Обыкновенное лицо. И фамилия обыкновенная — Иванов. Конечно, выглядит растерянным, подавленным. Вы же слышите, как отвечает. А следователь — майор, очень серьезный, интеллигентный. Говорят, опытнейший криминалист. Нет, это просто непостижимо, как наш человек может пойти на такое…

Допрос, записанный на пленку, был, видимо, не первым. Следователь спрашивал медленно, звучно, красуясь голосом, старательно подбирая слова: знал ведь, что записывают.

— Что же, вы наконец вспомнили, о чем говорили по телефону с американским посольством?

Отвечал печально-приглушенный, но явственно знакомый «тот самый» голос.

— Ничего я не вспомнил. Не говорил я ни с какими американцами.

— Мы ведь вам дали прослушать. Ваши разговоры были записаны, когда вы звонили в посольство. Наша техника на высоте и позволила разоблачить ваши преступные замыслы… Так что я повторяю вопрос: о чем вы говорили, когда позвонили в американское посольство?

— Не говорил я и не звонил… Это не я звонил… Я же слышал, это совсем не мой голос… на вашей машине. Этому никто не может поверить. Я член партии, я советский дипломатический работник… получил ответственное назначение.

— Ладно, ладно… Это мы уже слышали. Но сейчас идет следствие не о вашей дипломатической работе, а о вашем преступном деянии. Факты говорят против вас. Очевидные факты. Вы знаете, кто такой Коваль?

— Не знаю. Не знаю никакого Коваля.

— Так, так. А как нужно говорить — Коваль или Коваль?

— Не знаю. Не знаю я такого.

— А вы все-таки подскажите мне, как надо правильно сказать — Коваль или Коваль.

— Не понимаю, зачем…

— А вы не понимайте, но говорите… Так как же?

— Ну, наверное… Коваль.

(В тех разговорах он чаще произносил с ударением на первом слоге.)

— А теперь попробуйте по-другому сказать — Коваль. И говорите громче, а то я что-то плохо слышу.

— Ну, пожалуйста, Коваль.

— Так, так, значит… Так кто же, по-вашему, звонил в американское посольство?

— Не знаю я.

— А кто говорил им, то есть американцам, про Коваля?

— Не знаю… Ну, честное слово не знаю.

— Честное?.. Чего же вы не знаете?

— Ничего не знаю… Ничего про это грязное дело не знаю и знать не хочу (всхлипывает).

— Ну, ну, давайте будем поспокойнее. Значит, не знаете, кто звонил и кто говорил?

— Не знаю.

— Чего не знаете?

— Кто звонил, не знаю… Кто говорил, не знаю… Не я… Клянусь вам, не я…

— А где же вы лично находились в тот самый понедельник, в одиннадцать ноль-ноль? На работе?

— Я уже говорил… Я не помню точно по часам. Я в тот день ездил по разным делам, насчет билетов, и в таможню…

— Так, так… Значит, вы в тот день не работали? Я вас спрашиваю — были вы на работе?

— Нет… Не помню… Кажется, не был.

— Что значит «кажется»? Вы работали или не работали?

— Нет… Тогда уже не работал.

— А где же вы находились в одиннадцать ноль-ноль, в тринадцать-тридцать, то есть в полвторого, и в шестнадцать ноль-ноль, то есть в четыре часа? Где вы были?

— Ну, не помню точно. Я готовился к отъезду…

Следователь еще долго говорил нарочито внятно, слушая себя, спрашивал, играя выразительными интонациями недоверия, насмешки, презрения. А тот отвечал заунывно. Рассказывал, как он собирался всей семьей выехать в Канаду, уже все было готово, и вдруг его арестовали…

* * *

Отчет о сличении голосов неизвестных А-1, А-2, А-3, А-4 (три разговора с посольством США и один с посольством Канады), неиз-

вестного Б (разговор с женой) с голосом подследственного Иванова занял два больших толстых тома. В них вошли тексты разговоров, подробные описания принципов и методов сличения, были приложены осциллограммы, звуковиды, статистические таблицы, схемы и диаграммы, составленные по контрольным словам.

Подписали отчет начальник института инженер-полковник В., начальник лаборатории инженер-майор Т. и я — старший научный сотрудник, кандидат наук…

Фома Фомич пришел в новую лабораторию величественно-благосклонный:

— Хороший почин. Давайте, чтоб и в дальнейшем не хуже, а лучше.

Абрам Менделевич стал ему рассказывать, что мы находимся «на пороге открытия новой науки» — новых путей в научной криминалистике.

Он кивнул снисходительно:

— Ну, давайте, давайте, чтоб нашему теленку, как говорится, волка скушать.

Новую науку собирался открывать я и назвал ее по аналогии с дактилоскопией «ФОНОСКОПИЯ». Мне представлялась осуществимой такая система точных формальных характеристик голоса, которая позволила бы «узнать» его при любых условиях из любого числа других голосов, даже очень похожих на слух.

Мы заканчивали оформление подробного отчета о первом фоноскопическом опыте установления личности при звукозаписи разговора. Тогда же я составил предварительный план исследований, необходимых и для развития фоноскопии, и для возможно более точного определения конкретных условий «узнаваемости» голоса, восстановленного после шифрации телефонного разговора.

Нужны были тысячи опытов.

В разработке этого плана мне помогал только Солженицын; он снабдил меня математической аргументацией.

Антон Михайлович проглядел мою «докладную» внимательно, однако без видимого удовольствия:

— Широко размахиваетесь, батенька мой. Слишком широко! Так, что заносит вас за пределы возможного… Во всяком случае за пределы целесообразного и благоразумного! Оно, конечно, прелестно бывает помечтать, но вот это уже чересчур. «Безумству храбрых поем мы славу…», «Безумец открыл новый свет…» Романтика, все — романтика. Однако нам требуются не безумные, а разумные, полезные дела — уже сегодня полезные, профитабельные!.. Да-с. А мечты — «мечты, мечты, где ваша сладость?»… А сладости позволительны, как и положено, на десерт. Вы неплохо преуспели в качестве фонетического акустического повара-пекаря. Так извольте заботиться прежде всего о пище насущной… Прежде всего и главным образом и преимущественно о наших системах, о разборчивости и узнаваемости речи в их каналах. Тут нужна повседневная кропотливая работа с каждой новой панелью, с каждой новой комбинацией узлов… Теперь вошло в моду по всякому поводу говорить о философии. Это с легкой руки американцев. Мол, философия такой-то электронной схемы или философия такой-то лампы. Кажется, вы, Абрам Менделевич, недавно очень «изячно» толковали о философии полупроводников. А теперь вот и фоноскопическая философия!… Но ведь это еще только чистое умозрение. Вы, конечно, можете и с этим повозиться — поварить, пожарить… Но прошу без отрыва от основной плиты. Как вам, должно быть, известно, «теория сера, но вечно зеленеет древо жизни».

Абрам Менделевич не возражал ему, но, когда мы оставались наедине, он весьма критически отзывался о нашем «Антоне Великолепном».

— Барин, светский болтун! Конечно, образован, толковый инженер, способен придумывать и выдумывать. Но поверхностен, вспышкопускатель… Легко зажигается идеей — чужой или своей, — иногда находит оригинальные смелые решения… Но не хватает ни глубины, ни широты. Вцепившись в одно, уже не хочет смотреть по сторонам. Свою ограниченность называет сосредоточенностью, целеустремленностью. А на поверку просто боится растеряться, боится разносторонних исследований, широкого фронта

работ. Способный технарь-эмпирик с претензиями на ученость, на блеск эрудиции. Типичный беспартийный спец, хоть и в полковничьих погонах… Все же он, конечно, лучше многих других. Что называется — хорошо воспитан. Не орет, не хамит, не матерится. Но если понадобится — предаст и продаст лучшего друга…

Лабораторию № 1 Абрам Менделевич хотел сохранить, сказал, что добивается даже расширения штатов, — будем заниматься и фонетикой, и фоноскопией. И еще кой-какими разработками. Прежде всего дешифрацией речи и голосов. Всегда приветливый к сотрудникам-арестантам, к Солженицыну и ко мне он явно благоволил.

Но когда я более чем подружился с одной из наших технических сотрудниц (мы оставались вдвоем по вечерам в комнате, которую полагалось запирать изнутри как «особо секретную»), она рассказала мне, что именно говорил Абрам Менделевич о бдительности на общем партийном собрании вольняг и на летучках партгруппы:

— Среди нашего спецконтингента большинство — враги народа. Есть, конечно, и такие, кто более или менее искренне раскаивается в совершенных преступлениях. Но об этом будут судить компетентные органы, а мы все должны за ними наблюдать, чтобы, если спросят, дать необходимые сведения. Есть и злобные, неразоружившиеся враги, такие, кто почти не скрывает ненависти к Советской власти. За ними нужен глаз да глаз. Пока они добросовестно работают, приносят пользу, им будут создавать условия, некоторых материально поощрять, а тех, кто помоложе, кто не закоснел, может быть, даже перевоспитывать… Но самые опасные, самые коварные враги — это двурушники, неразоружившиеся и нераскаявшиеся. Такие, как Копелев. (Он назвал еще несколько имен из других лабораторий — моя «осведомительница» вспомнила только Евгения Тимофеева.) Эти все еще в масках, все еще скрывают подлинное нутро, притворяются советскими патриотами, даже идейными коммунистами… С ними требуется удвоенная, утроенная бдительность. Нельзя верить ни одному их слову. Решительно избегать любых разговоров, не имеющих отношения к работе. Конечно, нужно учиться всему, что они умеют, использовать их знания. И поэтому

не следует создавать конфликтных отношений, грубить, говорить резкости… Но о каждой попытке сближения немедленно докладывать, а самим уклоняться вежливо, но категорично…

Две из трех моих технических помощниц так и поступали. Они либо «не слышали» посторонних вопросов («Где вы учились? Что вы читаете? Вы замужем?»), либо отвечали: «В рабочее время разговаривать не положено… Пожалуйста, не спрашивайте… Не разговаривайте, не надо, а то и мне, и вам только неприятности будут» и т. п. Однако третья оказалась и смелее, и темпераментнее, и любопытнее остальных. Она была недовольна мужем — полковником МГБ. Он целые месяцы в разъездах, «дома только ест и пьет до окосения… И, должно быть, на стороне гуляет, на жену не хватает ни времени, ни сил».

Большеглазая, губастая, густобровая и длинноногая дочь московской окраины, тридцатилетняя жена преуспевающего чекиста и мать двух детей, которых пестовали бабушки, прежде работала телеграфисткой где-то в органах и попала на шарашку в числе «тщательно проверенных кадров». (Большинство из таких не слишком квалифицированных вольняг составляли родственники сотрудников МГБ.) Ее направили в нашу лабораторию работать и учиться с тем, чтобы потом заменить спецконтингент. Она оказалась безнадежно невосприимчива к фонетике и к акустике, забывала простейшие объяснения, но быстро научилась изготовлять опрятные звуковиды, сушила их, ловко сортировала «на глаз», аккуратно подшивала всяческие бумажки, таблицы и т. п. При этом охотно рассказывала о себе, о начальстве, обо всех товарках и товарищах и легко уступила домогательствам оголодавшего по женской ласке арестанта. На добрые полгода она стала мне подружкой. Предостережения начальника ее не испугали:

— Он же — Абрам, а евреи всегда врут. Ты не обижайся, ты не похож на еврея. И вообще бывают исключения: у меня в техникуме подруга была Роза-евреечка. А я говорю про большинство. Ты вот за немцев заступался. Ну, конечно, и среди них бывают хорошие люди, даже члены партии. Но как нация они наши враги. Правда, поляки

еще хуже. Мы с мужем год жили в Польше, он там при посольстве работал. Я сама видела, какие они двуличные, как нас ненавидят. И муж всегда говорил, что они даже хуже немцев и хуже евреев.

Все попытки спорить, отстаивать хотя бы умеренно интернационалистские взгляды оставались безуспешными, так же, как и призывы к ее партийной совести. Почти не возражая, она слушала более или менее терпеливо.

— Ой, ну хватит, ты прямо, как пропагандист, лекцию завел. Вот я лучше тебе анекдот расскажу (или «случай из жизни»)… Ну, я тебе верю, верю. Но это ты так учился, а в жизни бывает по-другому…

Осенью она сделала аборт.

— Третьего ребенка я не побоялась бы. Где двое сыты, там и третьему найдется. Только я чужой крови боюсь. Говорят, у евреев и кожа другая. Вон ты какой волосатый… Нет, нет, никак нельзя, чтоб в семье жил ребенок с чужой кровью… Нельзя!

Однако и после этого наша связь продолжалась, пока существовала лаборатория. Одно время я и впрямь был влюблен в нее. Радость этой близости совпадала с увлекательной работой, с новыми надеждами. А она рисковала. Разоблачение грозило ей не только семейными неприятностями. Страх, сознание опасности обостряли чувственность. Но она еще и по-бабьи меня жалела:

— Ой, как же это возможно, чтоб здоровый мужчина десять лет без женщины. Ужас какой!.. Бедненький! Ну, ладно, давай сделаем… Нет, мужа я никогда не брошу, он отец моих детей. Семью нельзя разрушать. А с тобой мы будем дружить. Когда освободишься, тебя здесь оставят. Работа ведь какая секретная. Отсюда уже никуда не отпустят. Ты меня тогда забудешь? Нет?!.. Ну, мы тогда в домашних условиях еще лучше будем «делать»…

Это было ее заветное слово.

— Ты знаешь, я когда слышу, кто-нибудь — мужчина или женщина — говорит «делать», «будем делать», хоть и знаю, что это про другое, а внутри все задрожит и очень захочется.

(Когда лабораторию № 1 расформировали, ее перевели в механические мастерские, и там вскоре она завела себе любовника, тоже заключенного. А я уже до конца срока — три с половиной года — пребывал на монастырском уставе.)

Значит, Абрам Менделевич просто лицемерил, притворялся, когда разговаривал с нами доверительно, по-приятельски? И значит, потом «немедленно докладывал»? Но кому? О шарашечном куме он сам же напоминал мне: «Остерегайтесь! Любое ваше неосторожное слово могут доложить майору Шикину. Его доверенные информаторы работают и живут рядом с вами. И он, чтоб вы знали, человек неумный, но педантичный, решительный и ненавидит всех интеллигентов, не только заключенных, но и вольных. Он за всеми нами следит и за Антоном Михайловичем…»

А может быть, призывы Абрама к бдительности должны были обезопасить его самого, предупредить возможные подозрения или обвинения в братании с зеками, на случай если, подружившись с кем-либо из вольняг, мы вздумали бы рассказывать о наших с ним «нерабочих» беседах?

* * *

Заключенный радиотехник С. был осужден где-то на Северном Кавказе и хотя некоторое время состоял при зондеркоманде чуть ли не шофером карателей, но получил всего восемь лет. Говорили, что малый срок достался ему в награду за то, что он заложил контрразведке множество людей — выступал свидетелем в нескольких показательных процессах, после которых главных обвиняемых повесили.

Он держался уверенно, даже развязно; все начальники хвалили его за техническую сметку и золотые руки.

— А я так. Разок-другой гляну на схему — и можете забирать в ящик. Сам все смонтирую да еще и рационализирую. Элементов будет меньше и вообще проще. А все те схемы, какие я когда-ни-

будь работал, у меня вот тут, — стучит пальцем по низкому, широкому, складчатому лбу. — Пускай скажут: нарисуй-ка ту панель, что в прошлый месяц для Антона монтировал, — пожалуйста! Зажмурюсь — вспомню и нарисую так, что никакой инженер-профессор не пригребется.

Его технические достоинства были неоспоримы. Но работавшие вместе с ним говорили, что он угодливо выслуживается.

— Чуть что, на полусогнутых бежит, выгребывается, как сука, любому, кто с погонами, задницу лижет.

Наиболее недоверчивые утверждали, что он и «куму дует».

С. жил в той же камере, что и мы с Солженицыным. Осенью 1949 года, утром, после поверки, когда большинство уже ушло из камеры, в его углу несколько человек заспорили об амнистии, и С. сказал:

— Ну, к Иоськиным именинам верняк должна быть амнистия!

Несколько мгновений напряженного безмолвия. Потом кто-то спросил, обращаясь ко мне:

— А ты, Борода, как об этом думаешь?

Мы с Солженицыным находились в противоположном углу комнаты, разговаривали, и я сделал вид, что не расслышал.

— Эй, Борода, как думаешь: будет амнистия или нет, ты же газеты читаешь!

— Как думаю? Мне еще в Бутырках объяснили, откуда взялось слово «жопа», — это означает: «ждущий освобождения по амнистии». Вот так и думаю.

В тот же день меня вызвал из лаборатории шарашечный кум, майор Шикин.

Его кабинет был прямо напротив кабинета начальника института, но отделялся от коридора еще и открытой, темной прихожей. Туда выходила также дверь канцелярии. В этой прихожей торчали иногда то вольные, то заключенные, ожидавшие приема у Антона Михайловича, в канцелярии или у кума.

Шикин — одутловатый головастик почти без шеи; большой, но пустой и тяжелый лоб бычился над тусклыми глазами, а длинные мягкие губы брезгливо тянулись углами вниз.

— Ну, как у вас там дела? Как работаете? Успешно?

— Стараюсь. А как получается, это уж пусть начальство судит.

— Но вы сами как понимаете: с полной отдачей работаете? Проявляете инициативу?

— Так понимаю, что да. С полной! Проявляю!

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем я вас вызвал?

— Никак нет.

— А все-таки, может, припомните? Вам нечего мне сообщить?

— Простите, но я давал особую подписку: без разрешения прямого начальника…

— А вы не уклоняйтесь… Я вас не про вашу работу спрашиваю. Про это спросим, когда надо будет. Я другие вопросы имею в виду…

Разговаривая, он смотрел на бумажки, которые перебирал на своем столе, только изредка поднимая тяжелые веки. Но тут напрягся и уставился «чекистским» взглядом:

— Сегодня утром в вашей камере, тоись общежитии спецконтингента, велись антисоветские разговоры. И вы лично принимали участие…

— Это неправда. Ничего подобного не было.

— Тоись это как? Это вы что же, посягаете сказать, что я говорю неправду?!

— Нет, не вы. Ведь вы же у нас в камере не были. А вот тот, кто вам такое сказал, просто соврал. Никаких антисоветских разговоров я и слыхом не слыхал.

— А я вам докажу, что вы слышали, как заключенный С. позволил себе грубо-антисоветски говорить о вожде народа. А вы ему реплику давали.

— Ничего подобного никто доказать не может. Поняв, в чем дело, я, по давно усвоенному арестантскому опыту, решил отпираться безоговорочно.

— С заключенным С. я вообще компании не вожу. Мы работаем в разных отделах. А сегодня утром я даже не помню, чтоб его видел. Наши койки на разных концах камеры. Вы можете проверить.

— И значит, вы будете говорить, что не слышали, как он сегодня рассуждал об амнистии?

— Нет, не слышал. И не могу ничего слышать с того конца камеры. И вообще не прислушиваюсь к чужим разговорам. У меня голова работой занята. Я и сегодня пришел в камеру только в третьем часу ночи. И заснул не сразу, все думал о серьезном деле. Утром еле глаза продрал…

В это время позвонил телефон. Он взял трубку.

— Шикин слушает… Так точно… Минутку… Выйдите за дверь в коридор и никуда не уходите: мы с вами еще не закончили.

Едва я закрыл дверь, как увидел Солженицына, выходящего из кабинета Антона Михайловича. Я тихо окликнул его, и он по взгляду, мимике понял, что дело важное. Я зашептал:

— Шикин вызвал. Допрос. Какой-то утренний разговор в камере. Якобы С. трепанул что-то антисоветское. Но мы ведь ни хрена не слышали и слышать не могли. Какая-то сука дунула. Он сейчас телефонит. Еще позовет. Я сошлюсь на тебя как свидетеля. Мы с тобой разговаривали. Ничего не могли слышать.

— Вот именно. У нас же был спор о данных вчерашней артикуляции. Ты все уверял, что надо повторить, а я тебе, падло, доказывал, что и так все точно.

— Предупреди С.

— А он не расколется?

— Вот и предупреди.

За дверью послышались шаги.

— Давайте, входите… Ну, что, ничего не вспомнили?

— Нет, гражданин майор. И сколько б ни тужился, не могу вспомнить того, чего не знал, не видел и не слышал.

— А какие вы сегодня утром шуточки пускали насчет амнистии?

— Шуточки насчет амнистии? Ах, вот оно что! Опять вас неправильно информировали. Ничего антисоветского я не допускал и не могу допускать. Так как был, есть и всегда буду советским человеком. А шутка про амнистию — это старая, можно сказать, древняя шутка: «ждущий освобождения по амнистии» — из первых букв — же-о-пе-а — получается неприличное слово, которое я при вас и повторять не хочу. Но эту шуточку еще до революции блатные придумали. Ничего в ней антисоветского нет. Одно мелкое неприличие…

— Говорить вы умеете. Только меня не заговорите… Вы же эту самую шуточку в антисоветский разговор с С. пускали… Есть точные данные…

— Нет! Нет и только нет. Не точные это и не правдивые данные. Я хорошо помню: сегодня утром мы с Солженицыным долго разговаривали, даже поспорили насчет вчерашних артикуляционных испытаний. И никаких других разговоров я ни с кем не вел. А эту шутку я не раз повторял, может, и сегодня кому-нибудь сказал, не помню кому, — такой чепухи в голове не держу. Но только не С., это уж точно, я его не видел, не слышал, с ним не разговаривал. Могу вам дать формальное показание с подписью.

— Это уж мое дело, как ваши показания оформлять. Если надо — и протокол составим, и подпишете, и будете отвечать за дачу ложных показаний.

— Мне это не грозит. Я не лгал и лгать не собираюсь.

— Да? А как же вы пишете заявления о своем деле во все дистанции — и в ЦК, и в Верховный суд, и даже лично товарищу Сталину и все хочете доказать, что вы советский патриот, преданный родине и партии… Но не хочете доказывать свою преданность на деле, как вам уже предлагали, уклоняетесь помогать органам. И вот сейчас, подтверждается… Какое может быть доверие всем вашим словам, когда вы заверяете в патриотизме и преданности, если вы сейчас, на данный момент не желаете помогать органам?

— Гражданин майор, я уже вам докладывал и могу только повторить: вся моя работа здесь, в этом НИИ МГБ, есть работа для ор-

ганов — профессиональная, научная работа по созданию секретной телефонии. И работаю я не за страх, а за совесть, это видно каждому, кто хоть что-нибудь понимает…

— Знаю, знаю… я же вам сказал, что не о работе говорю, а об вашем морально-политическом уровне, об вашем патриотизме.

— Мой патриотизм я доказал всей своей жизнью — на фронте боевой работой и кровью доказывал. Кровью, а не чернилами в ведомостях зарплаты или в доносах…

— А вот это вы уже опять допускаете… Это уже можно расценить как антисоветчину. Вы допускаете оперативные сигналы называть доносами.

— Ничего я такого не допускаю… И ни о каких оперативных сигналах я не говорил. Если б я заметил где угрозу саботажа или вредительства, я бы сам сигнализировал без всякого спросу… Но доносить, то есть докладывать о разговорах, какие они бы там ни были, не стану, не хочу. Не мое это дело. И еще я убежден, что советской власти никакой угрозы от этого нет. Ведь разговоры-то за решеткой, в тюрьме. А тот сигнал, из-за которого вы меня сейчас вызвали, был именно донос, лживый донос. И от него только вред. И вы сами время теряете, нервы треплете, и меня от работы оторвали. А я сейчас работаю по важнейшему оперативному заданию, о котором даже с вами говорить не имею права.

— Ладно, ладно… Вы и так уж тут наговорили сорок бочек… Идите… Но чтоб никому ни слова…

Вечером того же дня С. подошел ко мне в камере:

— Дай руку, браток… Спасибо! Я узнал, как ты сегодня мне подмогнул. Не дал слабинку, не кололся… Ты молоток!

— А мне и нечего было колоться. Я ничего не слышал и не видел. И ты мне не мигай, как блядь рублевая. Подумай лучше, какая сука на тебя дунула, да еще набрехала. И вообще, иди ты на х…

С. не получил никакого взыскания. Те, кому я рассказывал об этом допросе, полагали, что либо Антон защитил мастера золотые руки, либо тот сам стукач и отбрехался, что затеял разговор для провокации.

* * *

Антон Михайлович был не только начальником института, но и автором одного из трех или четырех проектов абсолютно секретного телефона. Каждая из таких разработок велась в особой лаборатории.

Некоторые из них основывались на американских системах искусственной речи «Вокодер». Молодой инженер-заключенный Валентин Сергеевич Мартынов придумал свою оригинальную систему выделения и кодирования основного тона речи, сулившую значительные преимущества по сравнению с американскими, т. е. теми, которые были уже опубликованы в американских изданиях; Антон Михайлович сперва заинтересовался, но потом решил, что это потребует значительной перестройки начатой работы без полной гарантии успеха.

— Задумано прелестно, однако попахивает прожектерством. Нечего нам тут изобретать велосипеды и самовары. Покажите мне хоть что-либо подобное в «Journal of Acoustical Society»… Не покажете?.. Ну, так занимайтесь своей плановой работой. И не лезьте поперед батька в пекло.

Пылкий Валентин, влюблявшийся в каждую свою новую выдумку, а в этом проекте уверенный вдвойне, т. к. его одобрили уже несколько серьезных специалистов, стал петушиться:

— Да помилуйте, что же это такое?! Всюду пишут, по радио говорят о наших приоритетах, чтоб не поклонялись иностранщине… А тут, когда мы действительно можем разработать совершенно оригинальную систему, вы отсылаете меня к этому джорнэлу… Да что я в нем не видел? Да это же низкопоклонство настоящее получается…

Антон Михайлович покраснел пятнами и заговорил зловещим фальцетом:

— Извольте немедленно прекратить эту клоунаду! Вы получили приказание. Вы забываете, кажется, где находитесь! Никаких возражений я не потерплю.

На другой день Валентина отправили в карцер на десять суток.

Абрам Менделевич объявил, что он наказан за нарушение дисциплины.

Вернулся он из бутырского холодного карцера синевато-бледным. Он и раньше отличался худобой, а тогда стал скелетно тощ. Сергей К. говорил, что у него на животе позвонки проступают.

…Военнопленные немцы работали на строительстве и непосредственно в помещении шарашки, настилали полы в коридорах, оборудовали котельную, уборные, даже некоторые кабинеты. И в подвалах, и в коридорах стояли шкафы со все еще недоразобранными архивами берлинских лабораторий «Филипс». Среди наших спецзека было тогда уже несколько немцев — инженеров и техников. Они, так же как я, переговаривались с пленными на ходу в коридоре, уславливались о встречах в подвале. Иногда мы вели с ними простейший обмен: мы давали селедку и папиросы (нам полагался спецпаек: по 1-й категории — «Казбек», по 2-й — «Беломор», по 3-й — «Север»), а они где-то добывали водку, бритвенные лезвия, заграничные носки. Некоторых я знал в лицо, на их вопросы отвечал, как полагал обязательным для работника спецобъекта, блюдущего «гостайну»: мол, я — переводчик, перевожу всякую научную литературу, а что здесь делают — не знаю и не понимаю. Можно было не сомневаться, что их земляки более откровенны. В одном из ночных разговоров с Антоном Михайловичем я спросил:

— Вот мы на свиданиях с родственниками не смеем даже намекать, где находимся. Каждую бумажку после работы кладем в сейф. Всё тайны. А как же военнопленные?

— Сия проблема вас не должна беспокоить. Есть кому об этом заботиться. Уж поверьте мне, они свое дело знают, соображают неплохо и ни в чьих советах не нуждаются.

Вскоре один из наших немцев радостно сказал мне:

— А я сегодня своими глазами видел открытку с немецкой маркой. Помните, у военнопленных был бригадир, такой высокий блондин, лейтенант? В прошлом месяце его увезли с целой партией… Сказали, на родину. Никто не верил. А вчера некоторые полу-

чили открытки и письма. Лейтенант написал из Дортмунда. Просто не верится… Отсюда уехал домой, в Германию.

Об этом узнали некоторые зеки, наперебой матерились — вот что значит «гостайна»!

И опять был ночной разговор с благодушествующим Антоном Михайловичем:

— А ведь теперь можно с точностью плюс-минус два-три дня сказать, когда именно американская разведка подробно узнала о нашем институте. — И я рассказал об открытке лейтенанта, которую, мол, сам видел у военнопленных.

Он зло нахмурился, застучал пальцем по столу. Мы были наедине.

— Вот что, дражайший, я вам уже говорил достаточно ясно — не суйтесь не в свое дело. Если я — начальник объекта — вынужден пользоваться этими фрицами, значит, для этого есть достаточные основания. Не могу я вам все объяснять… Вы же взрослый человек, должны бы уже сами понимать… Так вот, я вам приказываю — это вы понимаете? — приказываю раз навсегда прекратить разговоры на подобные темы. Пользы вы никому не принесете, а навредить можете, и весьма сильно, прежде всего себе самому. Не спрашиваю даже — понятно ли. Приказываю!

Больше я об этом не заговаривал. Колебался, не написать ли в ЦК, но не решился и презирал себя за беспринципность.

Солженицын проводил длительные многоступенчатые артикуляционные испытания нескольких новых моделей. Работал он дотошно, безукоризненно и добросовестно.

«Диагнозы» — то есть оценки испытуемых каналов — он ставил решительно, уверенно, в иных случаях даже залихватски безапелляционно. Сказывались молодость и армейские замашки.

Модель, автором которой был Антон Михайлович, так называемая «девятка», оказалась на последнем месте. Докладывая о результатах испытаний, Солженицын не преминул отметить еще и плохое качество звука, и значительное искажение тембра голоса.

Антон Михайлович несколько раз прерывал его доклад вопросами, но тот не давал себя смутить.

— Итак, Александр Исаевич, вы похоронили «девятку»… Да-с, но меня огорчает всего более, что хороните вы ее не как дорогого покойника, близкого многим из нас, а как пьяного бродягу, умершего под забором…

Саня рассказывал об этом смеясь и с гордостью — ведь он-то был прав, уверен в себе и вдвойне доволен — прищучил «самого».

Но я встревожился.

Антон Михайлович обычно бывал с нами любезен, иногда шутливо или величаво-снисходительно давал понять, что весьма ценит наше прилежание, энтузиазм, образованность… Приходя в тихие, вечерние часы, он заговаривал и на посторонние темы — о литературе, музыке, живописи, истории…

Заметив на столе колокольчик, звон которого мы записывали, проверяя частотные характеристики телефонов, он сказал:

— Приятный звук… Вот таким же моя бабушка вызывала горничных из девичьей…

…И зачем это вы бороду растите?.. Я помню, мой дед-генерал холил бороду — расчесывал двумя клиньями, как ласточкин хвост. В детстве мне это казалось весьма красивым… Раздвоенные бороды у нас в доме называли русскими, короткие, «чеховские» бородки — французскими, а прямые ровные лопаты — немецкими.

…Нынче модно говорить о гуманизме, о человеколюбии в литературе. И Толстой — гуманист, и Чехов туда же, душка. Все они, мол, поучают нас человечности. Ежели бы только это — грош им цена была бы. Они тем и велики, что правду-матку режут беспощадно. Без всяких оглядок… А все эти гуманизмы, идеалы прогресса — на поверку пустые слова. Патока, и притом даже не сахарная, а сахариновая. Слова, слова, слова!… Как это у Толстого: «Гладко писано в бумаге, да забыли про овраги». А в наше время нужны не слова, а волчьи зубы и тигриные когти. Без этого любой талант, любой гений пропадет. Беззубых добрячков едят все, у кого аппетит есть.

А кто силен, кто зубаст, того не скушаешь, он и сам, если проголодается, слопает кого нужно…

Такие рассуждения слышал и Солженицын — ведь мы обычно вдвоем полуночничали в лаборатории. И я, разумеется, напомнил об этом, едва услышал про зловещий упрек — «похоронили».

— Да брось ты пугать. Пусть вольняги боятся обидеть начальство — им есть что терять. А нам нечего. В карцер же не посадят за данные артикуляционных испытании. Антон, конечно, гад — такой же, как Абрам и все они. Однако можешь мне верить, я людей с первого взгляда вижу. Он умен и расчетлив, а мы ему нужны. Он знает, что мы не темним, не филоним. И он понимает, что такие честняги ему куда полезнее, чем подхалимы, которые только в глаза начальству таращатся: «Чего изволите?» Нет, он знает нам цену. Сейчас позлится за неудачу «девятки», а потом еще больше уважать будет.

— Ой, Саня, ты по логике рассуждать хочешь. Как в шахматы ходы рассчитываешь… А он из тех, кто может просто доску на пол смахнуть. Ты ему изящную комбинацию, любезный шах, а он тебе сапогом в пах: не обыгрывай начальство!

— Зря паникуешь, Борода! Про Фому я бы поверил, но Антон другой породы.

Однако через несколько дней на прогулке он мрачно сказал, что Абрам Менделевич спросил его, кому бы он мог передать артикулянтов, поскольку Антон Михайлович намерен перевести его на «укрепление» математической группы, там срочно разрабатывают сверхнадежную систему шифрации. Без этого конструкторы не могут закончить шифратор…

Такое неожиданное перемещение показалось безрассудным, но, с другой стороны, успокаивало: значит, это и есть вся месть обиженного Антона.

Солженицын создал на шарашке нечто и впрямь раньше не существовавшее — научно (фонетически, психо-акустически и математически) обоснованную теорию и практическую методику артикуляционных испытаний. Он стал отличным командиром артикулянтов, был действительно незаменим. Это понимал каждый, кто

видел его работу и мог здраво судить о ней. Это сознавал и он сам и вовсе не хотел переключаться на унылую математическую поденщину рядовым, в одном строю с более опытными и знающими специалистами. Он сказал, что Абрам Менделевич думает так же, обещает отстаивать…

В те же дни у нас появился профессор математики Ростовского университета, пришел в числе штатских консультантов очередной правительственной комиссии. Узнав своего бывшего студента, удивленно, но приветливо поздоровался, участливо глядел на арестантский синий комбинезон. А на следующий день вызвал его для деловой беседы, представился куратором математической группы. Солженицын, уверенный, что его неопровержимо рациональные доводы убедят профессора, выложил начистоту, что хочет заниматься только артикуляцией, в которой он создал уже немало нового, что это настоящая научная работа, а математическая группа ему не по нраву с самых разных точек зрения…

Профессор слушал внимательно, возражать не стал и говорил в таком тоне, что совершенно успокоил доверчивого собеседника. Когда я усомнился, не перебрал ли он в откровенности, ведь почтенный земляк все же состоит при начальстве, он только отмахнулся… Через день его вызвали «с вещами».

Я прибежал к Абраму Менделевичу — может быть, это какое-то недоразумение. Но тот сухо отстранил все просьбы и уговоры. «Приказ управления».

А вечером, наедине, сказал:

— Это вам всем урок. Чтоб знали: Антон Михайлович ничего не прощает. Никому.

* * *

Солженицын оставил мне свои конспекты по Далю, по истории и философии, несколько книг, среди них растрепанный томик Есенина — подарок жены с надписью «Все твое к тебе вернется»,

и — как главное «наследство» — своего лучшего друга Николая Виткевича.

Все конспекты уцелели и вернулись к нему. Это удалось благодаря Гумеру Ахатовичу Измайлову. Талантливый инженер-электронщик, осужденный на 10 лет «за плен» и за то, что в плену дружил со своим земляком, поэтом Мусой Джалилем (о гибели Мусы и его новой славе он узнал много позднее, уже на воле), Гумер был в числе семи инженеров и техников, которых досрочно освободили в 1951 году в награду за создание сверхсекретного телефона — за ту работу, которая начальникам принесла ордена, ученые степени, Сталинские премии.

Все освобожденные остались на шарашке вольнонаемными. Но только двое — Гумер и его друг Иван Емельянович Брыксин — сохранили по-настоящему добрые отношения с недавними товарищами, не шарахались от нас, не сторонились. Именно Гумер Измайлов вынес и передал моим близким все конспекты Солженицына и значительную часть моего архива.

А книжку Есенина я, к сожалению, еще раньше доверил хранить моей подружке. Позднее, когда она уже работала в другом отделе, я, случайно встретив ее в коридоре, спросил, сохранила ли. Она испуганно зашептала: «Какая книжка? Какой Есенин? Так то же была совсем старая рвань… я и не помню, куда сунула, и вы, пожалуйста, забудьте. Совсем забудьте».

Когда Солженицын рассказывал мне о своем «деле», он говорил о Николае Виткевиче — Коке — своем лучшем друге. В годы войны они переписывались. Виткевич служил полковым химиком на другом фронте. Полагая, что военная цензура заботится только о военных тайнах, друзья непринужденно вольнодумствовали на политические темы и не слишком сложно шифровали рассуждения о преимуществах «Лысого» (Ленина) перед «Усатым» (Сталиным), который много наломал дров и в тридцатом, и в тридцать седьмом, и в сорок первом годах…

Эта переписка стала основой обвинения по ст. 58-10, 58-11. Судили их порознь. Виткевича армейский трибунал приговорил к десяти годам, а Солженицына ОСО — к восьми.

В начале пятидесятого года тюремный кум вызвал Солженицына, сказал, что скоро на объект привезут его «подельника» Виткевича, и предупредил: «Вам нужно будет вести себя особенно аккуратно».

Рассказывая об этом, Саня был очень встревожен: не провокация ли?.. Не собираются ли наматывать новое дело? Он просил меня ничего никому не говорить, даже Мите.

— А тебе Кока обязательно понравится. По убеждениям, по идеологии он, пожалуй, на полдороге между мной и тобой.

Когда Виткевич приехал, первые день-два они все свободные часы были вдвоем, сосредоточенно, серьезно толковали. Митя и я старались, чтобы им никто не мешал. Солженицын даже сменил свою нижнюю койку на верхнюю, чтобы оказаться рядом с другом.

Николай — русский по матери и поляк по отцу, которого он не помнил, — детство провел в семье отчима, дагестанца, и усвоил повадки, мироощущение и даже психологию горца-мусульманина. О Шамиле, мюридах говорил с благоговейным восхищением. Блаженно вслушивался, когда по радио передавали горские песни и когда пел Рашид Бейбутов. Ему нравилось, что я стал называть его Джалиль — так его звали в детстве.

Коренастый, смуглый, широколицый, он легко, но твердо ступал по земле; старался быть или во всяком случае казаться непроницаемо спокойным, подавлять вспыльчивость.

Очень выразительно рассказывал он о детстве, о Дагестане, о фронте, о лагерях. Особенно хорошо — почти поэтично — о том, как единоборствовал с тачкой, прилаживался к ней, пересиливая боль мышц, усталость, отчаяние, и как, осилив тачку, стал здоровей, постепенно окреп… Потом, в тайге, на лесоповале, первобытно радовался костру, готов был молиться огню, стать огнепоклонником…

Иногда мы спорили. Джалиль считал себя последовательным ленинцем, пахана Сталина отвергал безоговорочно, а меня упрекал,

что я его переоцениваю и, пытаясь рассуждать объективно, по сути оправдываю его зверства.

Наши политические разногласия я воспринимал терпимо, но раздражался, когда он называл Пушкина — Сашкой, Лермонтова — Мишкой, Некрасова — Колькой и т. п. Все замечания по этому поводу он отвергал добродушно и непреклонно.

— А это значит — я их люблю. Вот как Володька Маяковский писал: «Некрасов Коля, сын покойного Алеши». И еще — «Асеев Колька». Ведь так? А у тебя старомодное почитание: ах, великий, прославленный, шапки долой!.. А я кого люблю, с тем не могу церемониться. Вот Санька для меня Санька, или Морж, или Ксандр, ты — Левка или Борода, а Есенина я звал и буду всегда звать Сережкой.

Так же упрямо доказывал он, что «настоящий мужчина» не должен жениться на артистке или балерине.

— Они же все бляди… Как можно допускать, чтобы твою жену на сцене лапали, чмокали, хватали?.. Можешь сколько хочешь доказывать, что это мещанство и предрассудки… И чего ты лезешь в бутылку? Ты ж не на артистке женат! Да брось, все равно не поверю. На них женятся только влюбленные дураки, ну и, конечно, режиссеры и артисты. Но те ведь и сами блядуны, без всякой мужской чести. Они и женятся, и разводятся, и так дерут кого попало. Им все равно, что домой идти, что в бардак…

Виткевич и позднее, на воле, продолжал дружить с Солженицыным и с его первой женой. В конце пятидесятых годов он переехал в Рязань, чтобы жить и работать к ним поближе.

Рассорились они во время встречи Нового, 1964 года, когда он стал упрекать Солженицына, что тот зазнается, «вообразил себя гением, отдаляется от старых друзей».

Об этом он тогда же написал мне. Год спустя приезжал в Москву и пытался доказывать, что «Санька совсем сбесился от славы. Никого слушать не хочет».

Однако ни тогда, ни раньше (а ведь мы с Виткевичем и после отправки Солженицына еще больше двух лет оставались на

шарашке добрыми приятелями) он, хоть и, случалось, критически отзывался о друге, который, мол, «всегда хотел быть первым, главным», «центропуп» и «никого, кроме себя, не любит», но ни разу даже не намекнул на те обвинения в предательстве, которые в 1974 году были опубликованы за его подписью в брошюре АПН, а в 1978 году от имени Виткевича повторены в грязной книжонке Ржезача «Спираль измен Солженицына».

* * *

Когда началась война в Корее, мой друг Евгений Тимофеев стал ночами обдумывать проект торпеды БМ («Берег-море»), чтобы отражать возможные американские десанты. А я подбивал двух приятелей — механика и инженера — разработать проект УСЗПТО (универсального самоходного зенитно-противотанкового орудия) и написал подробное «тактическое обоснование», ссылаясь на наш и на немецкий опыт применения зениток против танков и на примеры разнообразных успешных действий самоходок разных калибров в 1941–1945 годах.

Все споры с Паниным, Солженицыным, Владимиром Андреевичем, с немецкими инженерами и техниками, среди которых были каявшиеся нацисты, самые толковые передачи Би-Би-Си и военно-политические статьи в американских журналах только укрепляли мои убеждения и веру, которую я считал объективным знанием.

В этом я был не одинок. Ведь моими друзьями были не только Митя Панин, Саня Солженицын и Сергей Куприянов.

Евгений Тимофеевич Тимофеев, он же «Рыжий Жень-Жень», — член РКП с 1919 года, последний оставшийся в живых участник ленинградского «оппозиционного центра» 1925–1928 гг. — о многом судил последовательнее, чем я. Он даже не одобрял моей близости с теми, кого считал явными идеологическими противниками; сторонился Панина и Солженицына.

Алексей Павлович Н. — «Полборода» — был тоже из питерских «большевиков-ленинцев». В отличие от Евгения и от меня он остался решительным противником Сталина, называл себя ортодоксальным ленинцем-интернационалистом и осуждал сталинскую внешнюю политику как империалистическую. Мы с Тимофеевым, напротив, ее всячески одобряли, доказывая, что расширение советских границ и советских сфер влияния — это пути ко всемирному торжеству социализма.

Жень-Жень, Полборода и я обычно встречались в курилке на внутренней лестнице, откуда ничего не было слышно надзирателям. Иногда мы там пели народные и старые революционные песни. Владимир Андреевич и его постоянные «трепанги» говорили про нас — «партийная ячейка»; в подначивании внятно звучала неприязнь.

Однако с нами подружился Игорь Александрович Кривошеин — сын министра в кабинете Столыпина, выпускник пажеского корпуса. Он был офицером старой армии, потом деникинцем, врангелевцем, эмигрантом. Во Франции закончил электротехнический институт, работал инженером, после 1940 года стал участником Сопротивления, разведчиком, в 1943 году был схвачен гестапо… Когда в апреле 1945 года американские танки подошли к концлагерю Бухенвальд, узники восстали, охрана разбежалась, а Игоря Александровича, истощенного, больного, товарищи вынесли за ограду на больничных носилках.

Вернувшись в Париж, он читал свои некрологи. Первые газеты, появившиеся в освобожденном Париже, называли его среди погибших героев Сопротивления. Всем участникам Сопротивления был известен закон: тот, кто попал в гестапо, должен продержаться не менее суток, а позднее может давать показания, чтобы избегнуть пыток. За это время товарищи успеют скрыться, замести следы… Но после того как был арестован Игорь Кривошеин, гестаповцы и через месяц не пришли ни на одну из тех квартир, которые знал он, и не пытались искать никого из его товарищей. И те восприняли это как свидетельство его гибели.

Между тем он выдержал все пытки, которыми славилось парижское гестапо, в том числе и «ледяную ванну», а его подельник — немецкий офицер-антифашист — самоотверженно и умно выгораживал его, отводил ему скромную роль порученца. Немца приговорили к расстрелу, Игоря Александровича — к 15 годам каторжного лагеря. Летом 1945 года он вернулся к родным воистину с иного света, воскресшим из мертвых.

Еще в 1940-м он так же, как некоторые другие эмигранты, принял советское гражданство. И после войны парижские сограждане избрали героя Сопротивления председателем «Союза советских граждан». А когда усилилась холодная война, французская полиция арестовала его и 27 его товарищей. Их выслали в СССР.

Игоря Александровича с женой и сыном направили в Ульяновск; он стал работать инженером. Не прошло и года, как его арестовали и увезли в Москву. Следствие было недолгим и мирным. Его белогвардейское прошлое подпадало под несколько амнистий. Но он и не пытался скрывать, что вплоть до высылки из Франции был масоном, руководителем русской ложи в Париже; признался он и в том, что в 1940–1943 гг. был связан с французской разведкой, добывал сведения о передвижениях немецких войск во Франции, о состоянии военной промышленности. Правда, в те годы Франция была союзницей СССР, но честному советскому гражданину следовало помогать отечественной социалистической разведке, а не иноземной, капиталистической… Следователи были вежливы, даже любезны, сочувственно расспрашивали о том, как его пытали в гестапо, каким был режим в Бухенвальде.

Прошло несколько месяцев, и дежурный по тюрьме прочел ему решение ОСО — десять лет «в общих местах заключения».

Сразу же из тюрьмы его привезли на шарашку. Все, что он увидел и услышал у нас, его необычайно поразило. Арест, следствие и нелепый приговор он воспринимал с печалью, но без удивления. Поначалу ожидал худшего. Ведь о деятельности ЧК–ГПУ–НКВД он был достаточно осведомлен из довоенных газет. Однако на Лубянке обходительные офицеры, в мундирах старого русского покроя с по-

гонами, допрашивали корректно, обещали позаботиться о его жене и сыне, давали ему газеты и журналы со статьями о величии русской истории, о преодолении «низкопоклонства перед иностранщиной». Все это в свете еще не остывших воспоминаний о гестапо, о Бухенвальде как бы успокаивало, обнадеживало… Тем более сильное впечатление производила вся обстановка на шарашке — чистое постельное белье, хлеб на столах в столовой, — ешь сколько хочешь, — пища, показавшаяся после баланды великолепной, и люди вокруг, словно бы вовсе непринужденно занятые своими делами, много интеллигентов, видны приветливые улыбки, слышны и шутки, и смех…

Когда мы познакомились и я спросил, не родственник ли он царского министра, он несколько мгновений глядел удивленно:

— Да… Сын… Вот не ожидал, что здесь еще помнят об отце… Для вас его имя, вероятно, звучит одиозно.

Тогда я рассказал ему, что помню это имя с детства. Мой отец, агроном, часто спорил со мной, пионером, а позднее и комсомольцем, доказывал, что я не знаю истории нашей страны, что моя большевистская нетерпимость и мозги, забитые болтовней брошюр и газет, мешают узнавать правду о событиях и людях. И каждый раз он вспоминал: «Вот Александр Васильевич Кривошеин — был царским министром, убежденный монархист, приятель Столыпина… И при всем при том не только великолепный администратор, образованный, умный, рачительный, но еще и великодушен, благороден, по-настоящему либерален… Это я сам видел. Благодаря Кривошеину меня назначили земским агрономом несмотря на то, что я еврей, да еще и политически неблагонадежным числился, исключался из института… Кривошеин знал дело и умел ценить людей. Когда он приезжал в села, в имения, на опытные станции, ему никто не мог пыль в глаза пустить. Он все замечал и в поле, и в парниках, и на скотном дворе. У нас в Бородянке он бывал три раза. Обедал у нас и твоей маме ручку целовал. Этот царский сановник был воспитанней, умней и образованней всех ваших народных комиссаров, да еще и человечней, и демократичней…» С первых дней знакомства

Игорь Александрович мне очень понравился, вскоре стал душевно близок. И воспоминания — рассказы моего отца о его отце казались неким знамением судьбы. Ведь арестанты чаще всего склонны ко всяческой мистике, и даже иные записные позитивисты-материалисты всерьез размышляют о снах, предчувствиях, предзнаменованиях, роковых датах…

Игорь Александрович, мягкий, деликатный до застенчивости и в мирных разговорах, и в жарких спорах, оставался несгибаемо тверд в самом существенном — в представлениях о добре и зле, о вере и чести, о нравственных основах своего мировосприятия. Русский патриот, даже националист, и глубоко верующий православный, он полагал, что советское государство стало правомерным наследником Российской империи и уж, конечно, наиболее мощной, наиболее влиятельной и международно значимой из всех былых ипостасей Российской державы.

Это сближало и наши политические взгляды, вернее, наши суждения о важнейших политических событиях. Мы были согласны в неприятии всяческой «американщины» — от плана Маршалла и атомной бомбы до рок-н-ролла и голливудских фильмов — и в желании победы Северной Корее.

* * *

Едва мы успели закончить отчет о фоноскопических исследованиях по делу Иванова, как принесли записи новых разговоров с американским посольством. В обоих один и тот же молодой голос разбитного парня говорил с внятной южнорусской или украинской артикуляцией, которую старался скрыть, натужно подражая московскому говору:

— Я могу дать точные сведения за аэродромы, какие есть, за танковые части, где вони ремонтируются, какие есть новые конструкции… Ишчо можно узнать за многие штабы… А што я за это хочу? Ну, можно деньгами, а лучше вещи. Ну, какие? Например, хо-

рошее радиво. Вы можете мне дать хорошее радиво? И фотоаппарат. Ну, чтоб с подходящими пленками. Можете? И часики, чтоб камней побольше. Што не понимаете? За камни? Какие часики бувают? Ну, часы, ур-ур, на руку браслеткой. А еще бинокель. Понимаете, бинокель? Чтоб далеко видеть. Ну, и, конечно, что из одежи. Только не польта. Пальто, его сразу видно, что заграничное, иностранная вещь. А вы давайте мужской трикотаж высокого качества.

Американец был в обоих случаях тем же, кто в последний раз говорил с Ивановым, лениво-равнодушный либо недоверчивый. Все же он согласился встретиться, предложил на вокзале или в Парке культуры.

— А вы на какой машине ехать будете? Так вашу ж машину сразу видно, что она заграничная. А флаг на ней есть? Ну, флаг, знамя, на радияторе. Ну, от видите! Как же я до вас подойду? Тут сразу легавые набегут. Не знаете, кто легавые? Ну, гепеу, милиция, или, по-вашему, полиция. А приехайте на такси. И только возьмите с собой такой предмет, чтоб я вас признал. Есть у вас большой портфель? Ну, портфель, но большой, как чемойдан. А какой цвет? Желтый — это хорошо, здалека видно. Вы будете вроде гулять, а я до вас подойду… Вы курящий? А что курите — папиросы или цигареты? Трубку? Тоже хорошо. А мне принесите цигареты, которые с верблюдом. Я до вас подойду вроде прикурить, тогда и поговорим.

Этот разговор велся в два приема. В первый раз он прервался.

Для сопоставления были приложены тоже две записи: разговоры каких-то мастеров или бригадиров-производственников с начальниками о бракованных или недоставленных деталях, слесарных и монтажных работах. В одном случае звучал, казалось, голос похожий и говор был тоже южным.

Но звуковиды немногих совпадающих в разных разговорах слов — «можно», «нужно», «знаю… знаете» и т. п. — не позволяли отождествить голос. Существенные различия в микроинтонациях и микроладе мне представлялись органичными… Правда, их можно было объяснить и нарочитыми изменениями голоса, и простудой («производственник» несколько раз чихнул). Однако после довольно

подробных исследований я пришел к выводу, что это голоса разных людей. Новый отчет уместился уже в одной папке. Антон Михайлович и Абрам Менделевич подписали его без околичностей.

А через несколько дней Антон Михайлович сказал, зайдя в лабораторию с утра:

— А ваш второй блин — комом. Этот сержант во всем признался.

Оказалось, что разговоры с посольством велись не из разных автоматов, как в первом случае, а из проходной воинской части — мастерских, в которых ремонтировали танки, бронетранспортеры и другие армейские машины. Смершевцы провели обыск в казарме и в тумбочке сержанта Н., бригадира слесарей, нашли его дневник, в котором были записи о расположениях аэродромов, танковых частей, штабов, о количествах ремонтируемых машин и какие-то зарисовки. После ареста он сознался, что хотел «с понтом шпионить», подурачить американцев и для этого позвонил в посольство.

Получил я вскоре и записи двух допросов. Оба раза ходил уже один Толя; разочарованный неудачей, Абрам Менделевич устранился. Толя сказал о подследственном:

— Вроде обыкновенный солдат. Такой невысокий, русявый, невидный… А вообще дурак, сукин сын. Еще темнить пробует.

Но и звуковиды с тех записей допросов, в которых звучали такие же слова, как и в перехваченном разговоре, не позволили утверждать тождество этого голоса с голосом неизвестного парня, набивавшегося в шпионы.

Допрашиваемый говорил уныло, без сколько-нибудь повышенных эмоциональных интонаций. И на слух голос был непохож.

— Так я же ж только звонив раз… ну да, ну да, два разы… То я уж и забыв… Так я же только звонив… Я ничего им не докладывав. То я так, для смеху звонив… Ну, как говорится, дурочку с них строить хотив. Ну, чтоб посмеяться с них, с тех американцев… А что в тетрадочках, так то ж я себе на память… Ну, да, ну да, там аэродромы и наши части, соткуда нам машины пригоняют для ремонту… Да нет, за радио я ничего не знаю. Какое еще радио? Не-е, фотоаппаратов не просил… Ну, я же вам сразу признався, что виноватый…

Да нет, я не собирався до них идти… Я же не дурной… И тех тетрадочек никому не показував. Да нет, и не собирался, я думал, скажу в крайности, но только не то, что в тетрадочках, а вроде. Ну, так, чтоб оно похоже и совсем не то… Ну, дурацкая шутка… ну да, ну да, вся придумка дурацкая… Но только же я ничего не сделав, так только, потрепался для смеху…

Нет, это был голос другого человека, не того, который уговаривал равнодушного американца. Но звуковиды, снятые с записи допроса, обнаруживали существенные различия и с теми, которые мы сняли с записи того же голоса, звучавшего в мастерской.

В лабораторию № 1 пришел еще один зек — Василий Иванович Г. До этого он был переводчиком технической документации и литературы, числился при библиотеке. В начале войны он, молодой инженер-экономист, работал пом. начальника геологической или топографической изыскательской группы. Его призвали в армию. Дошел слух, что он погиб, — он был тяжело ранен, потерял ногу, — и некоторые сослуживцы списали на «погибшего героя» довольно крупные суммы, неведомо как и кем израсходованные. После излечения он демобилизовался, работал в Москве на хозяйственной должности. Но в 1945 году его разыскали и осудили «за хищения» на 10 лет по указу от 7 августа 1932 г., который не подлежал амнистии.

Еще до войны он заочно учился в институте иностранных языков, хорошо переводил с немецкого, английского, французского, знал тюркские языки, увлекался эсперанто. Интеллигент в первом поколении, упрямый самоучка, он настороженно и недоверчиво относился к столичным грамотеям, «слишком о себе понимающим».

Абрам Менделевич сказал, что он будет моим помощником, и я должен обучить его чтению звуковидов, включить в работу с артикулянтами, а также посвятить в фоноскопические и криптографические дела. Поначалу я решил, что он подсажен.

Но Василий избегал разговоров на политические темы:

— Тут у стен уши, а мне моего указного срока хватит. Не хочу, чтоб еще 58-ю довешивали.

Работал он толково, быстро, хотя и спешил подытоживать и обобщать:

— Ну, чего ты резину тянешь?.. Ведь и так уже ясно. По десяти таблицам достаточно виден процент разборчивости… Вот не проходят взрывные звуки… Ну, пускай половина… И на высоких частотах путают. Так чего еще повторять? Давай пиши заключение.

Общие вопросы языковедения его не занимали — «это я проработал еще на втором курсе». К моим «ручным» изысканиям и догадкам он относился сочувственно, но без особого интереса — «уж очень ты узкую тему взял». Но увлеченно, подолгу рассуждал о происхождении отдельных слов, о родственных связях между языками. Кто у кого заимствовал, как видоизменялся один и тот же корень в разных языках.

Литературой, поэзией, историей, музыкой он интересовался и меньше, чем мои друзья, и совсем по-иному. Вкусы у нас часто не совпадали. Он просто не верил, что кому-то могут нравиться «заумные вирши», которые и поймешь только после долгих объяснений, где уж там что-нибудь чувствовать.

— Хорошую оперу или оперетту послушать бывает приятно. Даже балет, хотя это больше для господ эстетов. Они там знают: если ногой влево махнула — значит, любит, если вправо — не любит, а завертелась волчком — ах, какие страсти! Но как можно часами сидеть на концерте, где только симфонии наяривают, не понимаю! Хорошие песни за душу берут. Народные танцы всех народов, хоть гопак, хоть лезгинка — смотреть приятно, у самого ноги задергаются. А все эти Шостаковичи — бренчание, пиликанье, гром и лязг… Нет, есть, конечно, понимающие, спецы, но большинство — это те, кто притворяются, пра-а-слово, темнят для интеллигентности. Сидит такой пижон, скучает, зевки проглатывает, но супится, щурится, губами шевелит, делает вид, что понимает, наслаждается…

Василий читал звуковиды без увлечения, не очень старался и принимал мои уроки не слишком серьезно:

— А на кой ляд еще и над этим голову ломать? Ведь если на спектрограмме видно, значит, слышно и так. Ну, я понимаю, использо-

вать для дешифрации, когда мозаичный телефон. Но и тогда ведь не стоит читать по слогам, по словам еле-еле разбирать. А надо установить код, подобрать фильтры, а потом декодировать и слушать… Проще надо, рациональнее. Да что ты мне тычешь: «наука, наука…» Науки разные бывают. Помнишь, как Гулливер попал к ученым, как их там, лапутянцам? Так вот, я не уважаю лапутянскую науку для науки, искусство для искусства… Как определить границы? Ну, это, конечно, бывает трудно. Я вот переводил американские, английские статьи по физике, по математике. Ну, чистейшие абстракции, игра ума. И вроде для практики — ноль целых и хрен десятых. Но Антон говорит, из этих ихних игр кибернетика получается. Тоже вроде абстракции и даже лженаука. Но они ее для зенитной артиллерии использовали и еще где-то там практически применяют… Так что не думай, я не против науки, но только хочу понимать — каждый раз хочу, — для чего именно стараемся. Вот как Антон Михайлович, он все толкует — нужен профит, профит! И по-моему, правильно. А читать эти звуковиды — все одно и то же, как дьячку псалтырь.

* * *

…Принесли записи еще двух допросов — двух других солдат, приятелей первого.

Новая фоноскопическая экспертиза производилась уже при Васе. Он старался понять, как именно я сравниваю голоса, переспрашивал; я подробно объяснял. Иногда казалось, что он хочет проверять и перепроверять. Но вскоре я убедился, что он мне, во всяком случае, доверяет, и если не соглашается с моими выводами, то говорит, что еще не может судить. Я запретил себе подозревать его.

Вскоре и он обзавелся подружкой. Одна из двух технических сотрудниц, которые держались недотрогами, заболела. Ее заменила толстенькая, почти коническая Шура, которая и раньше, в библиотеке, работала с Васей, помогая в переводах; она знала английский. Ко мне она с первых же дней отнеслась подчеркнуто сурово — разок-

другой даже попыталась цукать: «Попрошу без шуточек… вы объясняйте по-рабочему… Шуточки неуместны… Почему у вас такие грязные записи? Тут же никто ничего не поймет. Что значит «заметки для себя»? А если вас завтра отправят? Вся работа, значит, должна пропадать? Нужно записывать так, чтобы каждый мог прочесть».

Терпел я недолго: взорвался и сказал, что тюремным надзирателям вынужден подчиняться в тюрьме, но работать, вести научную работу под командой надзирательницы не могу, не буду. И если она не изменит тон и будет донимать меня придирками, то я официально попрошу, чтобы либо меня, либо ее перевели в другую лабораторию.

Сначала она сварливо огрызнулась:

— Еще чего захотели! Забываетесь… Есть порядок и дисциплина!

Но потом вдруг растерянно переглянулась с Василием, и я сообразил, что они больше, чем знакомые. И что ее откровенная неприязнь ко мне скорее всего прикрытие сокровенной приязни к нему.

Он стал меня успокаивать:

— Брось ты, чего ты в бутылку лезешь? Никто к тебе не придирается. При чем тут надзиратели? И если вдруг слово не так сказано, не таким тоном, ну, может, у человека настроение плохое. Надо ведь понимать. А ты сразу официально… Брось. И вы его не слушайте! Он ученый-ученый, но еще и нервный сильно.

Позднее, уже наедине, он продолжал меня уговаривать, стараясь ни единым словом не выдать своих отношений с нею:

— Знаешь, что им про нас говорят, особенно про 58-ю: «враги народа», «коварные методы», «даешь бдительность-перебдительность»! А тут она видит и тебя: лохматый громила с черной бородищей, чего-то колдует, говорит и пишет такое, чего и не понять. И еще зубы скалит… Другая бы еще хуже напугалась.

После этого установилось безмолвное соглашение. С Шурой я днем говорил только сухо официально, а в те вечера, когда она дежурила, уходил на все время в акустическую, благо и там было чего делать, оставлял ее вдвоем с Василием.

Он также исчезал в те вечерние часы, когда дежурила моя подружка. Мы ни о чем не договаривались, все происходило само собой. Но моя первое время тревожилась:

— Почему он опять ушел? Ты ему рассказал, да? Честное слово? А что у него с Шуркой? Не знаешь? И он тебе не говорит? Ни словечком, ни намеком?.. Это все вы, заключенные, такие заядлые и скрытные?.. Но он же догадывается, раз уходит. Ага, значит, и ты что-то знаешь, раз уходишь, когда она дежурит… Ну, догадываешься. Значит, и он догадывается… Что значит — из догадок штаны не сошьешь? Но дело пришить можно. А ты уверен, что он это тоже так понимает, что если он на нас капать будет, то и ему хуже?.. Ну, хорошо, он понимает, а если она нет? Она вредная, важничает, интеллигентку строит, а у самой ногти обкусанные и потом воняет — моется редко… Нет, нет, конечно, она не дурочка, она себе вреда не захочет. А они с Василием, конечно, тоже здесь делают. Другой кто на нее и не польстился бы. Только такой, кто долго без женщины… Вот и ты бы к ней тоже полез…

В записях допросов двух солдат-ремонтников один голос показался мне похожим на голос того бойкого собеседника американцев. Только на допросе он звучал глуше, монотоннее.

Следователь — развязный, хамоватый — играл рубаху-парня, расспрашивал о девках, о танцульках. А в промежутках нарочито небрежным тоном, внезапно:

— Так чего же это вы, дружки веселые, не удержали Петьку, когда он американцам звонил?.. Ну, а матерьяльчик про аэродромы ведь ты Петьке давал?.. Он так и признался, что это ты и Жорка его научили звонить в посольство… Да брось темнить, Петька уж раскололся до жопы, сам написал, что ты главный заводила. Жорка и он только шестерили на подхвате… А ты учил их на шпионов…

Из записей допросов я понял, что Петя, Жора и Сеня — приятели, солдаты одной части, работавшие вместе в мастерской, — видимо, втроем либо только двое из них затеяли игру в шпионы. Позвонил один, а признался другой, тот, у кого нашли «тетрадочки». Возможно, были и какие-то другие соображения или предварительные

условия, побудившие его взять на себя всю вину. На допросе он не сразу «вспомнил», что было два разговора с посольством, говорил об одном и не твердо помнил, о чем именно шла речь. Но упрямо стоял на том, что все делал он один и никто больше ничего не знал, никто ему не помогал, а Сенька и Жорка просто так, корешки, ну, погулять, выпить, козла забить…

Настырный следователь снова и снова повторял:

— А они оба уже раскололись… Признались, что ты их вовлек, давал команды, посылал шпионить.

Но он каждый раз отвечал:

— Не-е, эта не может быть такого. Они и не знали и не чуяли. Не, не, Жорка и Сенька тут ни к чему… Все только я один.

Записи допросов были технически недоброкачественны. В эти разы ходил с магнитофоном кто-то из менее опытных техников, и шпаргалок для следователей у нас не просили. Сравнивая звуковиды нескольких более или менее созвучных слов, я заподозрил, что звонил Сенька. Судя по голосу и речи, он был старше и грамотнее двух других. То же предположение высказали Вася и Абрам Менделевич, хотя не очень уверенно.

Эти трое оболтусов не вызывали у меня такого отвращения, как тот дипломат, они были неизмеримо менее опасны и уж конечно менее виновны. Можно было настаивать на подробном исследовании голоса Сени и попытаться изобличить настоящего собеседника американцев. Тем самым, вероятно, подтвердилась бы эффективность наших фоноскопических методов. Но злополучный Петя уже взял всю вину на себя, хотя оба его приятеля тоже были арестованы. Возможно, они и впрямь только играли в дурацкую игру недоумков-переростков. Возможно, это была и серьезная затея, но глупая, беспомощная попытка стать шпионами…

Так или иначе, но Петя вел себя мужественно и самоотверженно. К чему привела бы экспертиза, которая, опровергнув его самообвинение, разоблачила бы его приятеля? Это могло только ухудшить их общую судьбу. «Тетрадочек» и признаний было уже достаточно для того, чтобы трибунал осудил и Петю, и его друзей. Дополни-

тельное «научное» изобличение только усилило бы обвинительный материал, доказывая сговор — заговор. Ведь любая «коллективка», да еще в армии, у нас всегда считалась опасным преступлением.

И я вновь написал, что «наличные звукозаписи не позволяют отождествить ни один из «контрольных» голосов с тем, который…» и т. п.

Антон Михайлович приказал включить дополнительный пункт, что, мол, не позволяет утверждать и обратное, т. к. не установлены пределы возможных различий слышимых и видимых проявлений одного и того же голоса.

Он пасмурно выслушал мой доклад.

— Так-с, так-с… Значит, ваш метод явно несостоятелен. Ведь вот это и это бесспорно один голос: допрашивали именно этого болвана. А налицо очевидные различия… Понимаю, понимаю, тут шумы, насморк, другие интонации, другой телефон… Все так. Но так же всегда будет. Всегда придется сравнивать разговоры, происходившие в разных условиях… Значит, напрасно мы с Абрамом Менделевичем так рекламировали ваши эпохальные открытия… Осрамились мы с вашей фоноскопией!

— Она еще не существует, Антон Михайлович, эта наша фоноскопия. Она еще не родилась, а только зарождается. Именно так я вам все время и докладываю. Фоноскопия — еще не действительность, а возможность. Но возможность реальная, в этом я твердо убежден. Уже сегодня я могу с достаточной уверенностью обнаружить тождество голоса в разных записях. Могу сказать: вот эти и эти детали на звуковиде, вот такие и такие статистические данные свидетельствуют, что в этих разных случаях говорил один и тот же человек… И могу объяснить, почему я в этом уверен. Однако мне почти вовсе неизвестны возможности видоизменения одного и того же голоса, неизвестны пределы, в которых может варьироваться, искажаться, и нарочно и ненарочно, один и тот же голос…

— Иными словами, вы можете пользоваться всей нашей акустической техникой так же, как цыганка колодой карт или кофейной гущей?

— Отнюдь нет! Совсем напротив: я стремлюсь к точному, объективному исследованию, а не к гаданию. Положительный ответ я при известных условиях могу уже сейчас находить. Но отрицательный, как видите, сомнителен… И я не могу быть уверенным в отрицательных ответах до тех пор, пока мы не установим пределов отклонений… Для этого необходимо провести тысячи опытов.

— А где вы возьмете время и средства на тысячи опытов? Вы, батенька мой, фантаст, прожектер… Но я не Жюль Верн, не Уэллс, и нам ни к чему фантастические прожекты… Извольте заниматься не зародышами небывалых наук, а реальными делами… С тех пор как отправили этого… Солженицына, артикуляционные испытания совершенно захирели. Вот и семерка и еще две схемы уже две недели как не проартикулированы… Казалось бы, чего тут хитрого, еще при царе Горохе телефоны умели проверять на слух, но ваши работники, Абрам Менделевич, оказывается, не умеют… Вы будете опять говорить о незаменимости Солженицына?! А я этого не принимаю и не понимаю. У нас нет и не может быть незаменимых. И нас с вами заменят, если потребуется… Так вот, почтеннейший Лев Зиновьевич, извольте сегодня же приступить к налаживанию артикуляционных испытаний. Разумеется, без отрыва от вашей основной работы. Изучайте физические параметры разборчивости речи и узнаваемости голосов… Вряд ли нам придется производить новые криминалистические опыты. Оперативники нашей экспертизой весьма недовольны. Хуже того — смеются. Вы научно доказали, что и голос не тот, и подозреваемый невинен, аки агнец. Но он сам признался: «Я шпионил, я звонил».

— У него нашли какие-то тетрадочки, вот он и признается. А ведь звонить мог и кто-то другой?

— Возможно, все возможно. Да только эти шерлок-холмсовские задачи не для нас. Поиграли, и хватит. Вернемся к основным делам. Займитесь артикуляцией.

## *Глава восьмая*
# «БЕГУМА» И ДРУГИЕ КАПИТАЛИСТЫ

Николай Б. долго перебирал дюжины три потрепанных книг — наш первый библиотечный фонд. И, наконец, взял небольшую книжку в красной обложке с потускневшим золоченым тиснением: Жюль Верн, «Пятьсот миллионов Бегумы». Читал он ее долго, едва ли не месяц.

Он работал мастером в механической мастерской (называл себя главным механиком). Приходя вечером в камеру, он сразу же доставал из тумбочки книгу. Его кровать — одна из немногих одинарных среди наших вагонок — была с железной сеткой. Другие лежали на досках. Вместо казенной подушки, набитой комками жесткой ваты, на ней возвышались несколько собственных пуховых. Лежа на роскошной постели, он жевал печенье или курил и, насупившись, читал «Пятьсот миллионов Бегумы».

— Почему ты никак не кончишь? Книжка тонкая, а ты мусолишь скоро второй месяц.

— А тебе что — приспичило? Что значит «тонкая»? Это очень глубокая книжка. Ты думаешь, раз она с картинками, значит, для пацанов. А я тебе скажу, что это глубокая книжка, со значением для жизни. Я никогда еще такой не читал. Очень поучительная книжка.

— Да что ж в ней такого особенного, в твоей Бегуме?

— От пойдем на прогулку, я тебе объясню. Это надо серьезно говорить, не с кондачка. И не так, чтоб слушал кто схочет.

Николаю было немногим больше сорока лет. Невысокий, ладно скроенный, светлое лицо горожанина, высокий лоб с залысинами.

Держался он со всеми вежливо, ровно, без арестантских фамильярностей. Разговаривал и с начальниками, и с товарищами приветливо, негромко и словно бы доверительно. Даже о погоде или о том, что сегодня на завтрак, спрашивал тихо и так многозначительно склоняя голову к плечу, будто речь шла об интимных тайнах. Беседу о «миллионах Бегумы» он несколько раз откладывал: то слишком много людей топталось рядом на прогулке, то времени недостаточно. Все же, наконец, разговорился:

— Ну, как же ты не понимаешь, а ведь образованный, доцент или как там у вас называется. Видно, одной образованности тут не хватает. (Он произносил «фатает».) Эта книжка вроде байка, ну, значит, сказка, придумка. Но только вроде. А на самделе она показывает, что есть главное в жизни… Не соображаешь что? Главное — это богатство. Вот ты, грамотней от меня, и научные книги читал, и разные языки знаешь, но я лучше тебя понимаю, что есть главное в жизни. Понимаю, бо сам пережил. А ты ведь даже не знаешь, что там понимать можно. Ты ведь как думаешь? Так, как тебя в пионерах, в комсомолах научили. Я ж это знаю, нас всех так учили: кто богатство имеет, тот работать не хочет, только в карман сует, тот куркуль, буржуй, гад ползучий, от жадности в зобу дыханье сперло… И я раньше тоже так думал. Я в техникуме политграмоту проходил, в комсомоле состоял. И два дяди у меня партийные. Отец, правда, без. Он мастер был на механическом заводе. Он научил меня и слесарить, и столярить. Я на всех станках могу, хоть за токаря высшего разряда, хоть за фрезеровщика, хоть за строгальщика. Я всякую работу уважаю. Еще пацаном, как в первый раз в цех попал, так сразу схотел, чтоб все уметь. Учился, старался, — от жадности в зобу дыханье сперло.

Эту искаженную Крыловскую строчку Коля повторял кстати и некстати. Видно, когда-то ему нелегко давалась басня и в памяти застряла приметой образованности.

— Так вот, я кто? Рабочий класс! Пролетарий от самого корня, от деда, прадеда. Понимаешь это? Ну, так я тебе признаюсь: но только чтоб ты уже не говорил никому, самым своим корешам-раско-

решам не говорил, — я сам был как эта Бегума… Не понимаешь? Я был миллионер, аж два раза… Ты всмехайся не всмехайся, а послухай, как дело было.

И Коля стал рассказывать вполголоса, неторопливо, с долгими отступлениями… То грустя, то досадуя, то наслаждаясь воспоминаниями. Он рассказывал на прогулках три или четыре вечера. Когда кто-нибудь подходил, Коля, не умолкая, продолжал говорить так же вполголоса, с теми же интонациями, но совсем о другом — пересказывая длинный анекдот или «случай из жизни».

…Перед войной он работал в Славянске старшим механиком на небольшом механическом заводе, который изготовлял простейшие инструменты, строительное оборудование. Когда началась война, на заводе получили приказ составить план эвакуации, но совершенно секретно, говорить об этом нельзя было. Немецкие войска вошли в Славянск неожиданно, боев даже поблизости не было.

— Начальники из райкома, райисполкома успели поутикать. Но многие жители поостались. Мой директор тоже удрал. Завод стал, рабочие по домам поховались, не знают, что делать. И у них семьи голодные. А я все думал: как же так — и добру пропадать, и людям. И тут меня как молотком в лоб стукнуло. Пошел я до немецкого коменданта. Обер-лейтенант был уже в годах, солидный, интеллигентный, в очках. Переводчик при нем немчик молодой, беленький, тоже вежливый. Я им и говорю: дайте мне тот завод, ну, хоть в аренду, хоть продайте. Я вам заплачу аванс, сколько соберу, а потом буду платить, как скажете, калым или там налог… Что делать стану? Я так думаю — сначала ходы, ну, значит, телеги, а там и брички. Я ж понимаю, что это нужно. Ведь машины и тракторы по селам стоят, горючего нет, а ездить надо, возить надо. В ходы можно и коня запрячь и, в крайности, даже корову… Комендант сразу все понял, спросил еще то и другое и говорит: «Зер гут». Аванс брать не стал: вы, говорит, должны рабочим платить. А мы вам, наоборот, ссуду дадим, пособие на обзаведение. Ну, так я тебе скажу чистую правду — вот забожусь, чтоб мне век на свободе не бывать, чтоб я детей своих не дождался увидеть, если хоть слово сбрешу, —

но только через два месяца, к Рождеству, у меня уже было больше миллиона своих чистых денег… И никакой эксплуатации я не делал. Зарплату я платил больше, чем при Советах, кому на пятьдесят процентов, а хорошим мастерам и на все сто и полтораста процентов. И не по газетному процент считал, когда на бумаге полное перевыполнение, да здравствует, ура! а в кармане дуля и в печке одна макуха. Не-е, я считал, что можно купить на ту зарплату. У меня работали 150–160 человек, и все в цехах, при деле. А в конторе только двое, я и бухгалтер; старичок такой честный и такой аккуратный, каждую копейку, каждую бумажку и кнопочку бережет. Потом я еще компаньона заимел. Миша звали; техник-механик, но умел больше головой, чем руками. Коммерческий человек. Деловой и такой ушлый, что он десять евреев, или армян, или цыган обкрутит вокруг пальца, и продаст, и купит, и они еще магарыч ему поставят. Так мы с ним вдвоем были и снаб, и сбыт. А на другой год я еще в Лисичанске содовый заводик заарендовал. Лисичанский комендант, капитан, с нашим были вроде как земляки и хорошие знакомые. Тот капитан очень уважал украинские вышивки: «прима», «кунст» — искусство, значит. Так мы с Мишей ему тех сорочек, и рушников, и скатертей не меньше вагона перевозили. Он и дал нам заводик в аренду. Там соды неразобранной на складах много тонн лежало. И мы сразу девчат на расфасовку наняли, производство пакетиков, чтоб на 10 грамм и на 50, мы надомникам давали. Платили и деньгами, и продуктами… Как продадим в деревню ходы, или бричку, или столько-то мешков соды, — продавали и немцам, которые на хозяйстве были, — берем не только гроши, а еще муку или картошку, а то и свинку. На весну у меня лично три миллиона было и у Миши миллион с гаком. Тогда завели мы в Славянске и Лисичанске подсобные хозяйства, вроде совхозы, — огороды всякие, коровы там, куры, утки. И себе же на харчи, и работягам продавали по хорошей цене. Они такие благодарные были: у нас цены куда меньше, чем на базаре. А нам, обратно, калым. От жадности в зобу дыханье сперло. Завел я себе грузовик-полуторку ЗИСовскую, потом купил автобус у румын. Если б схотел, мог и легковую

достать. Но только я понимал, что с легковой могу нарваться: бензин у немцев был на очень строгом счету. Конечно, и у них леваки были, а у румын, итальянцев, венгров — еще больше. У тех каждый, кто мог, работал налево: даю-беру. Но я не хотел риску. А полуторки и автобус на газу ходили, на чурках или на брикетах. Зато я пропуска имел куда хочу. С комендантом у нас полная дружба. На Рождество, на Новый год, Пасху я ему подарки дарил, не как-нибудь так на лапу, а культурно — золотой портсигар, самовар чистого серебра. Миша достал ему шикарную лампу: бронза с серебром и с такими статуйками — голые девочки, красоточки, ну как живые, за цицьки потрогать хочется…

Были у нас, конечно, потери на производстве. Через бракованный материал бывало и так, что возьмет кто-то товар, а потом не заплатит. Но на круг доход имели дай Боже!.. Больше года мы жировали. А тут как раз Сталинград. И уже советские самолеты летают. Комендант говорит: «Надо цурюк». Я успел еще кое-что загнать. Весь завод чохом продал двум барыгам. Они станки, и весь инструмент, и все, что осталось, позабирали. Дешево отдал — сорок тысяч марок. Спешил. Погрузили мы с Мишей семьи в автобусы — у него тоже автобус был. На полуторку навалили чурок, брикетов, ну и кое-что с барахла — поехали. Я мечтал ехать или до жениной родни в Запорожье, или к Мишиной родне где-то около Киева. Но только отступление пошло такое, что кто куда. Чистая паника! Мы еще до Днепра не доехали, как нас повыкидывали с автобусов. Немцы все же таки фашисты. Кричат «Раус!» и автоматом крутят. Мишу я потерял на переправе. И только сберег свою семью и полуторку, сберег через свое счастье, и через хитрость, и потому, что ничего не жалел. Марки, какие были, и золотые браслетки, и колечки, и серебряные ложки я тем фашистам давал. Сам за баранку сел. И спасибо, один дядька научил — когда задерживали, стал я кричать: «Полицай, СС зондеркоманда». Ну, СС они все боялись — пропускали. Так и пустили через Прут и, значит, уже за границу… Там я аж заплакал от радости. Вот верь не верь, но я всегда был патриот Родины, прямо даже патриций… Ты что, не знаешь: патриций

значит сильный патриот. Это почему же неправильно?.. Ну, может, я с румынским языком спутался. Ладно, нехай по-твоему, но только я Родину всегда любил и уважал. А вот как приехали в Румынию, тут я вдруг почувствовал, что это такое — свободно дыхать. Раньше я что знал? Трудовая дисциплина! Соцсоревнование! Вредительство! Ударничество! Даешь план! Даешь встречный! Даешь процент! А потом — война. И немцы. Ну, один комендант, другой по-людски относились. Но все другие — фашисты, блядская солдатня, автомат в пуп наставят: рус, швайн! Ограбили дочиста, хорошо еще живы остались…

А тут все вольно. И люди живут кто как хочет. И природа — чистый рай. Сады, виноградники — богатство такое, только руки приложить. Приехали в Букурешту. Город красивый, дома шикарные, магазины богатейшие. На базарах всего навалом, особенно фрукты всякие, виноград. Но цены приличные. А когда мы ехали, так по селам почти даром давали. У меня сразу в голове мечта, ну вот как с той Бегумой, это ж какое дело верное!.. Договорился я с одним румыном, — он лавку держал бакалейную, — чтоб он от полиции пропуск взял. Оставил ему в залог жену, тещу, детей — он мне кредит дал, и я на все марки и рубли, какие оставались, наменял ихних лей. Сел я сам за баранку и давай с ним вдвоем по селам — накупил винограду, яблок, груш, слив… Привез, и с тем бакалейщиком за день продали. Ну, и что говорить: через месяц у меня было уже пять грузовиков. Заарендовал я гараж и нашел компаньона-бояра. Настоящий интеллигент — адвокат, высший шик. У нас таких уже не бывает. Видный мужчина, волосы напомажены, духами за сто шагов пахнет, золотая зубочистка. Он, значит, адвокат, а его брат в министерстве служил в больших чинах. Им самим торговать неудобно. Адвокат на всех языках говорил, по-немецки, и по-французски, и по-русски тоже. Не так чисто, но понятно. Мы и договорились. Они вошли в долю, но вроде под секретом. Моих было пять грузовиков, а от братьев-бояр — еще шесть. Гараж устроили в ихнем доме. На все дела с полицией, с начальством, с клиентами у них был прокурист — это вроде секретарь — Митрю: молодой па-

рень, но такой жох. Он и с них имел, и с меня. У него была и жена, и любовница, свой дом и дачка — вилла называется — на Черном море. И сам он завсегда веселый и все делал вроде шутейно, со смехом, с песнями… Через дружбу с ним я на весну заимел уже двенадцать своих грузовиков и домик себе купил небольшой, но приличный, с обстановкой. И боярам, конечно, тоже отломилось. Они через меня и через Митрю имели куда больше, чем от своего адвокатства и министерства. У них в городе два больших собственных дома. Так раньше с них больше расходов, чем доходов. А я в одном доме устроил ресторанчик, доставал вино дешевое, крестьянское, харчи простые, но свежие. Нанял цыган — со скрипками, бубнами, песнями, плясками. Каждый вечер — прибыли полный мешок лей. Всем хватало. А в другом доме, где гараж был, я в подвале ремонтную мастерскую пристроил. И наши машины чинил, и чужие. Обратно доход. А в первом этаже магазин — дешевые сельские фрукты, овощи, виноград. Главным арендатором числился тот бакалейщик, какой мне первым помог. На вывеске — его фамилие. Он чуть не плакал, говорил: я ему лучше брата. Он уже десять лет торговал: туда, сюда -только на мамалыгу хватало и на вино. А в нашей компании он за один год свой домик завел и уже не лавку, а магазин. И какой — три витрины зеркальных, одна с проточной водой, сверху текет, чтоб фруктам свежесть была. Стал я брать заказы на перевозку уже не только фруктов. Возил разные товары и от фирм, и от людей, и от государства. Шофера у меня работали, и механики, и слесаря — кадры душ больше двадцати, и румыны, и русские, и молдаване, и даже два еврея. Там, в Румынии, их не так сничтожали; они откупались, румыны добрая нация, берегли их от немцев. А контора обратно маленькая: со мной вместе трое — один бухгалтер, местный русский, пожилой такой, честняга, хоть все ключи оставляй, — божественный, церковный староста. И секретарша-румыночка, чернявая, красивенькая, на машинке строчила, стенографию знала, по телефону звонила. Она по-русски понимала, была мне за переводчицу. Вот и все мои штаты. Работали мы, прямо сказать, крепко, но вольно — никто в шею не гнал. Там, в Румы-

нии, люди большие дела делают и тут же в конторе, как в ресторане, кофей пьют, или вино, или коньячок. И бумажек почти никаких. Сказал — сделай, давай гроши; можно и без расписки, если человека уважаешь… Года не прошло, а я уже в банке имел два миллиона. Понимаешь, приехал без ничего, а за десять месяцев сделал два миллиона. Вот тебе и Бегума!..

А потом наступили Советы, ну, значит, наши пришли. Но я почти год хозяйничал еще и после войны до самой осени. Назывался Никола Николеску. Правда, бояре советовали, чтоб я тикал, обещали пристроить у своих знакомых в Австрии или даже в Италии. Но я все не хотел уезжать от своих машин, от дома, от мастерской, от магазина — от жадности в зобу дыханье сперло. Дурной был фраер. В Румынии все осталось вроде по-своему — и король, и полиция, и частная торговля. И я понадеялся, что наши будут уважать, как обещали. Я и для них, советских, разные товары перевозил, машины им ремонтировал. Но только сам больше в стороне, так, чтобы только шофера и механики с ними дело имели. И все же нарвался. Один старший лейтенант привел ремонтировать трофейный «оппель». И такой показался простяга симпатичный. Поговорили, выпили. Я старался балакать вроде не по-русски, язык ломал. Он спрашивает: «Откуда вы сами?» Я говорю: молдаванин. Он был такой белявый, курносый, ну чистый, как у нас говорят, кацап. Я иначе и не думал. А он тут возьми и спроси что-то по-молдавански. Ну, а я ни бе ни ме, «ну-шти» не понимаю. Он вроде посмеялся. А через два дня другой лейтенант привел ремонтировать, тоже «оппель-капитан». Принес водку, выпили, потом позвал меня показать грузовик-трехтонку. Говорит: капитальный ремонт нужен. Совсем не ходит. Встал недалеко в центре, на бульваре. Я сначала не хотел идти, но потом стал думать: чего бояться посреди Бухареста, кругом румыны, полиция румынская, обратно же бояры меня знают, я у них компаньон… Пошел, дурак. И уже не вернулся. Толкнули в подъезд. Стукнули раза так, что я и крикнуть не успел. И сунули в «студебеккер»… А там уже известно что — десять лет и пять по рогам…

Три года прошло — не могу добиться, где жена, где дети. Чи осталось им хоть что-нибудь от моих миллионов.

* * *

Анатолий М. работал техником-монтажником. Работал добросовестно, толково, но «пупа не надрывал».

— Пусть упирается рогами, кто на досрочное надеется. Тот и жилы из себя тянет. А я уже битый фраер. Прошел университет в плену, а на Воркуте — академию. Уже точно знаю: чем больше надеешься, тем больнее потом, опять носом в говно. Есть золотое правило: не лезь в первые, не оставайся последним. Потому что спереди бьют в лоб, а сзади пинают в крестец. Спокойнее всего посередине. Потому и называется — золотая середина.

Он и внешне был — старался быть — неприметным. Ни с кем первым не заговаривал, в камере держался особняком, не участвовал в обсуждении параш, а читал, штопал или дремал, натянув наушники…

Оживился он лишь весной, когда на прогулочном дворе устроили волейбольную площадку. Завхоз достал мяч, и начались игры. Анатолий стал капитаном команды «Железная воля». Играл он хорошо, но его команда всегда проигрывала бесспорному чемпиону — команде «Соколы», ее неистово азартным капитаном был инженер Александр К. — высокий круглолицый «красюк», атлет. Коренной москвич, сын, внук и даже, кажется, правнук инженера, он закончил институт весной 41-го года. В первый же день войны стал проситься на фронт, и дядя-генерал помог, чтобы его отправили без волокиты. В августе под Вязьмой он попал в окружение и в плен. Дважды бежал, едва не погиб от голода. И, наконец, стал власовцем. Был командиром взвода связи на берегу Ламанша. Летом 44-го года попал в плен к американцам. Негр-конвоир ударил его прикладом. Он обозлился, бежал, пристал к какой-то немецкой части и воевал еще несколько дней. Потом скрывался у французских крестьян как

военнопленный, бежавший от немцев… Он уехал на Восток с первым эшелоном репатриантов. К тому времени он уже знал, что дядя достиг весьма высоких постов. В фильтрационном лагере пытался «качать права», требовал скорейшей отправки в Москву. Но отвезли его в тюрьму, а следователь вежливо объяснил, что он подлежит суду за измену Родине и должен стыдиться, так как опозорил славное имя своего древнего рода… Столбовое дворянство, которым гордилась бабушка, но не любили вспоминать родители, снова оказывалось достоинством. Мать на свидании сказала ему, что дядя очень сердит, кричал, что готов расстрелять изменника собственной рукой, но все же обещал содействовать, чтобы тот искупал позорную вину в возможно лучших условиях.

Александра осудили на десять лет и прямо из Бутырок привезли на шарашку. (Одаренный инженер-изобретатель, он был одним из досрочно освобожденных в 1951 году; в последующее время избегал встреч с бывшими товарищами по заключению. Жестоко пил. Рано умер.)

Он тщательно подобрал свою волейбольную команду и строго ее муштровал. Во время игры он распоряжался истово, сосредоточенно, как на поле боя. «Соколы» обычно побеждали, и тогда он снисходительно улыбался, — иначе быть не могло. Но любой проигрыш, даже упущенный мяч, мог вызвать у него приступ ярости: он бледнел, глаза стекленели, рот судорожно подергивался. Казалось, он готов смертельно возненавидеть незадачливого игрока, способен избить, убить. Если же он сам промахивался, то либо погружался в сумрачное отчаяние, либо еще злее цукал других.

Анатолий играл не менее увлеченно, но совсем в ином стиле. Название «Железная воля» придумали остряки, потому что его команда продолжала существовать, хотя чаще всего проигрывала и состав то и дело менялся. Анатолий принимал всех желающих. Несколько раз играли с ним и Панин, и Солженицын, и я. Наш капитан играл азартно, легко, весело, без злости. И так же тренировал нас. Панину он объяснял, что тот играет красиво, смело, но… слишком сильно бьет по мячу, не заботясь, куда тот полетит… Солже-

ницына просил не суетиться на площадке, не командовать вместо капитана и не перехватывать мяч у партнера из опасения, что тот может зевнуть. А мне он говорил укоризненно: «Ты же прирожденный волейболист — рост, удар, прыжок… Но реакции у тебя очень замедленные. Ты все отстаешь на полфазы: машешь руками, когда мяч уже сзади…»

Из команды я выбыл бесславно. Но с капитаном мы остались добрыми приятелями.

Анатолий — москвич, сын рабочего, ставшего мастером, начальником пролета; кончил десятилетку в 1940 году, хотел стать радиоинженером; был активным комсомольцем, секретарем курсовой организации, физкультурничал — бегал, прыгал, участвовал в городских спартакиадах. В июне 1941 года он поехал на каникулы к сестре в Гродно, там работал ее муж, строитель.

— На новой границе тогда только начали укрепления строить. Шурин — инженер, все там пропадал. Я, как приехал, его и повидать не успел. На третью ночь проснулись от пальбы, грохота… Война! Сестра с детьми успела уехать. Семьи наших командиров сразу же увезли на грузовиках. А я побежал искать военкомат или горком комсомола. Хотел, конечно, добровольцем, сразу в бой… Но там уже везде паниковали, никто ничего не знал, не понимал. Собрали кучу таких, как я, послали копать противотанковые рвы, окопы. Мы еще шли, а немцы уже в город ворвались. Так что я и оружия никакого, кроме лопаты, не держал.

Анатолия увезли с военнопленными на Запад. Он попал в Бельгию; работал сперва в шахте, под землей, потом слесарем, электриком. Бельгийские рабочие сочувствовали пленным красноармейцам, приносили еду, сигареты.

Анатолий в институте учил английский, помнил кое-что из школьных уроков немецкого. Подружившись с бельгийцами, вскоре начал говорить и писать по-французски. Солдаты, охранявшие военнопленных, — немолодые запасники, — бывало, грубо покрикивали, могли пнуть прикладом, но почти не мешали им разговаривать и торговать с бельгийцами. Умельцы выделывали из про-

волоки, из кусочков угля, осколков стекла и щепок замысловатые безделки, елочные игрушки, настенные украшения. Даже иные конвоиры выменивали их на табак, на консервы. Анатолий рисовал «портреты» с натуры. Начальник конвоя, пожилой астматический обер-лейтенант, остался доволен своим изображением, заплатил за него несколькими пачками сигарет и бутылкой пива.

Бельгийские друзья помогли Анатолию бежать на грузовике, перевозившем товары местному лавочнику. Он уехал в Брюссель, где его уже ожидал брат одного из новых друзей — владелец небольшого магазина-мастерской, в которой чинились электрические чайники, утюги, плитки и радиоприемники.

Мастерская, магазин и квартира хозяина занимали небольшой дом на тихой улице. До войны работали еще два подмастерья. Но их призвали в армию и потом увезли в Германию военнопленными. Друзья хозяина достали Анатолию документы бельгийского юноши, умершего от язвы желудка. И он работал, не прячась, устроил нарядную витрину, сам нарисовал вывеску, придумывал замысловатые украшения для приборов; с помощью куска линолеума, валика и самодельных красок изготовлял смешные рекламные листовки, которые вывешивал на других улицах… Хозяин, его жена и две дочери — старшая кончала гимназию — полюбили толкового и веселого работника. Через два года он женился на Сесиль, и тесть торжественно объявил его своим компаньоном.

Подруги и одноклассники жены познакомили Анатолия с подпольщиками Сопротивления. Он сделал для них два радиопередатчика и шапирограф, чтобы печатать листовки. Когда началось отступление немцев, он вместе с новыми товарищами разоружал арьергардные команды поджигателей и подрывников — саперов, минировавших некоторые здания, дороги и мосты. Отряд, в котором был Анатолий, захватил большой склад немецкого батальона связи. И он пригнал в подарок тестю грузовик, наполненный радиоаппаратурой, приборами, инструментом.

Незадолго до победы родился сын; назвали его, конечно, Виктор. Мастерская быстро росла. Пришлось арендовать еще один дом

по соседству. Вернувшиеся из плена старые подмастерья были назначены мастерами, помогли найти десятка полтора хороших рабочих и работниц. Все они отлично ладили с молодым шефом.

— В общем, стал я бельгийцем. Часто уже и думал по-французски. Ну, когда думал о том, что рядом, что в данный момент. Но вспоминал, конечно, еще по-русски. Нет, домой не хотелось… Мама давно умерла. У отца еще перед войной была другая семья. А сестрам, шурьям, я понимал, могут быть только неприятности из-за такого родственника: был пленный, стал капиталист… Политикой я никогда не увлекался. Ну, учил, конечно, что надо и как надо. Пел «Широка страна моя родная…», уважал товарища Сталина. И в комсомол пошел сознательно. Правда, активничал больше по линии спорта. Но, конечно же, твердо верил, что социализм идет от победы к победе, что все наши временные трудности — это плюнуть и растереть. А капитализм, конечно, гниет и погибает, ну и так далее. Но вот плен, и вообще война, и вся жизнь в Брюсселе меня, как бы сказать, так сильно тряхануло, что и мозги перетрясло. Стал я хочешь не хочешь, а вспоминать. Как мы в очередях торчали. Как с хлеба на квас перебивались. Как в коммуналках, в бараках по пять-шесть душ в комнате… Вспоминалось и другое. Про классовую борьбу, про бдительность. У нас был сосед, старый большевик. При царе его на каторгу ссылали, в гражданскую воевал; он ответственную должность занимал в горкоме или в райкоме, но дома у них лишней тарелки не было. Все богатство — книжки. Я с его сыном в одном классе учился, вместе мечтали удрать в Испанию, в интербригады. А тут как раз его отца забрали — «враг народа». А потом и мать — добрейшая тетка была. В библиотеке работала. И тоже большевичка насквозь. А потом и моего дружка увели, ему шестнадцати не было. И его сестренку, совсем малую. Я получил от него письмо из Казахстана, из колонии. Мама тогда еще жива была, болела. Она очень испугалась, плакала, просила, чтоб я не отвечал, а то и меня и всех нас арестуют за связи… Ну я и не ответил. Были и другие факты, похожие… Хотел я забыть, а все вспоминались. И в плену, и особенно потом. В Брюссе-

ле вся жизнь оказалась совсем не такая, как мы учили и как читали, совсем не такая, как у нас… Ну, в общем, я решил оставаться бельгийцем. Думал — потом, когда-нибудь поеду в Москву. Разузнаю, как там сестры, отец. И к маме на могилу схожу. Но только потом, потом… Жили мы хорошо, дружно. И с женой, и с ее родными. А осенью, уже в 46-м, шел я днем по улице и увидел русских офицеров. Один из них, старший лейтенант, — Мишка, мой сокурсник. Он, может, и не заметил бы, да я сам окликнул… Ну, то да се. Поговорили. Они были из какой-то миссии-комиссии по линии бывших военнопленных и вольных советских граждан. Помогали возвращаться.

Я рассказал коротенько про себя. И сразу сказал, что хочу остаться как есть — с женой и сыном. Они посмеялись: «Фабрикантом стал. Из комсомольцев — в капиталисты». Но без злости, даже вроде позавидовали. Спросили, не хочу ли своим в Москву весточку передать. У них есть возможность по оказии, без бюрократизма и так, что никто не узнает. Условились вечером встретиться в одном очень шикарном ресторане. Они объяснили, что им нельзя ходить куда попало, разрешается только в одно-два самых пристойных заведения… Пришел я, как условились. С ними был еще третий, капитан. Сказал, что сегодня в Москву уезжает, передаст, что попрошу. Ну, я тут же написал короткую записочку, дал адрес отца, младшей сестры, написал, что жив, здоров, но живу другой жизнью, прошу понять, простить. И очень прошу хоть один разок написать или устно передать через товарища — капитан говорил, что скоро должен вернуться, — как живут, как другие родственники.

Тот взял записку, отдельно в книжечке записал мой адрес и телефон. Мы тут же и выпивали и закусывали. Выпили за победу, за Родину, за наши семьи. Они смеялись, что впервые в жизни пьют с капиталистом, да еще комсомольцем. А я отвечал, что обязательно буду поддерживать бельгийский комсомол и компартию, а когда наживу миллион франков, тогда вернусь в Москву… Потом собрались уходить. Я чувствую — захмелел. Ноги заплетаются. А они го-

ворят: пойдем боковым ходом, там у нас машина, отвезем. Вышли в переулок, и только помню: удар по затылку… Очнулся в машине. Едем. Башка трещит. Во рту пакостно. С двух боков — незнакомые офицеры. Впереди тот капитан. А на мне шинель с погонами, фуражка. Хотел спросить, а справа мне кулаком в живот: «Молчи, сука, твою мать! Пикнешь — удавим!»

Не помню, сколько ехали, где останавливались. Привезли уже к вечеру в какой-то немецкий город. Большой двор, ходят солдаты. Привели меня в подвал: «Раздевайся». Забрали все документы, деньги, часы, ручку. Даже карточку жены и сына. Сунули в камеру. Там и немцы, и свои. Большинство — пленники, и пара блатных. Надзиратель дал мне кусок черняшки — черствую, и даже пятна плесени. И консервную банку с пшенной баландой. Хлебнул я, чуть не стошнило. Но тут уже окончательно понял — «Здравствуй, Родина!».

* * *

Николай и Анатолий были первыми капиталистами, с которыми я познакомился.

…Доктор-инженер Вальтер Р. работал в, химической лаборатории: изготовлял радиокерамику. Начальница не могла им нахвалиться:

— Другого такого днем с фонарем не сыщешь.. Он, кажется, и живет только работой. Придумывает все новые составы; сам конструирует печи и сам же ходит в механическую их делать. И все новые режимы испытывает. Каждый день что-нибудь улучшает… Капиталист ведь, а работяга — нашим стахановцам у него поучиться можно. Поглядеть на него: тощий старичок, ветром сдуть может, в чем только душа держится… А в работе двужильный. С утра как засядет — спины не разгибает. В обед ему иногда по десять раз напомнить надо, чтобы шел поесть. Мой второй старик, Фриц, тоже старательный — и ведь тоже капиталист. Но он у Вальтера вторая

скрипка — подсобник, на подхвате. И слушается его беспрекословно. Тот и придумывает, и распоряжается, а этот знай «яволькает» — «яволь, яволь, герр доктор… зер гут, герр доктор».

Евгения Васильевна не слишком доверяла своему знанию немецкого и несколько раз вызывала меня переводить новые предложения доктора Р., когда обсуждала их в лаборатории. Так я познакомился с ним.

Он был очень худощав, поэтому казался выше. Удлиненное, тонкое, стариковски розовое лицо, но почти без морщин, седой ежик, светло-голубые пристальные глаза, тонкий, крепкий рот. Улыбался он редко, скупо. Но не выглядел ни угрюмо-насупленным, ни печальным, а только сосредоточенно-серьезным. Говорил он с легким, но заметным австрийским акцентом.

С 1945 года он по контракту работал в большой химической лаборатории под Москвой. О тамошних своих коллегах и начальниках отзывался приязненно.

— Профессор Ки-тай-го-родский очень хороший химик. Его пенное стекло — весьма интересное изобретение. Представляет множество возможностей. На Западе он стал бы, конечно, миллионером. Хороший химик и хороший человек.

В 1946 году доктору Р. удалось по почте разыскать своих родственников: дочь с мужем и младший сын оказались в Вене, старший сын — в Швейцарии; через них он просил австрийское правительство считать его гражданином Австрии, — с 1919 по 1939 год он был гражданином Чехословакии, — получил утвердительный ответ. Срок его контракта истекал в 1950 году.

— Профессор Ки-тай-го-родский предлагал мне еще один контракт, еще на пять лет. Приходил другой начальник и приглашал к еще более высокому начальнику. Они предлагали больше жалованья — пять тысяч вместо трех тысяч, обещали новую большую квартиру, обещали посылать на курорт, в Крым, на Кавказ: за пять лет я только два раза был в отпуске по две недели. Жил в лесу в хорошем домике, называется дача. Хорошее питание, рыбная ловля… Но я не видел сыновей почти десять лет и дочь и внуков

больше пяти лет. Я не хотел заключать новый контракт. Я — гражданин австрийской республики, суверенного, нейтрального государства. И в Москве уже было посольство. Я хотел уехать к семье. Нужно было решать и некоторые имущественные и финансовые проблемы. Профессор Китайгородский меня понимал. Он сожалел — мы хорошо работали вместе, ему нравились мои методы, но он мне сочувствовал. Самый главный шеф разговаривал со мной вежливо, но раздраженно. И все убеждал: «Подумайте, подумайте; вам нужно оставаться здесь, вам будет хорошо, иначе вы можете сами себе причинить вред». Но этого я не понимал. Какой может быть вред от возвращения к своей семье! За месяц до истечения срока контракта я поехал в Москву в посольство. Там побеседовал с самим послом, заполнил какие-то анкеты, бумаги, договорился об отъезде…

Вернулся к себе, а на следующий день меня вызвали из лаборатории, и два офицера увезли в Москву, на Лубянку… Следствие было недолгим. Я рассказал, о чем говорил в посольстве, что написал в заявлении. А следователь сказал мне, что я не должен был сообщать, где именно работал эти пять лет, чем занимался. Я возражал: «Я работаю в гражданском научном учреждении, ни в каких секретных проектах не участвую и к тому же вообще никаких подробностей ни в анкетах, ни в разговорах с послом не сообщал». Во время следствия приходил еще какой-то офицер, видимо, очень важный. Мой следователь, подполковник, разговаривал с ним, как подчиненный. Тот предлагал мне снова контракт и работу в той же лаборатории. Я решительно отказался. Он сердился. Грозил, что мне будет плохо. Потом следователь еще несколько раз предлагал мне то же самое. Но не мог же я согласиться — и не мог поверить угрозам. Ведь я ни в чем не был виноват. Я честно работал согласно контракту, не нарушал никаких законов. Я был уверен в своем праве. Но потом меня увезли в другую тюрьму. Там пришел дежурный офицер тюремной стражи с переводчиком и прочитал мне по листочку папиросной бумаги текст приговора. Так я узнал, что осужден на 25 лет за шпионаж…

Но ведь это же абсурд! Во-первых, я никогда никаким шпионажем не занимался. А во-вторых, мне скоро 60 лет. Как же можно меня осуждать на четверть столетия тюрьмы. Ведь я столько не могу прожить… Совершеннейший абсурд!

Несколько раз я помогал доктору Р. писать жалобы и прошения генеральному прокурору, в Президиум Верховного Совета и лично его превосходительству генералиссимусу Сталину. Так у нас возникли, можно сказать, приятельские отношения. Несколько раз мы гуляли вдвоем с ним или втроем с его коллегой и помощником, доктором Фрицем Б., остролицым, молочно-седым, сутулым стариком, чрезвычайно вежливым. О чем бы его ни спрашивали, он отвечал, любезно улыбаясь и даже прихихикивая. Владелец одной из крупнейших химико-фармацевтических фирм, он состоял в нацистской партии с 1930 года. За что и был осужден тоже на 25 лет.

— Да я ведь только взносы платил. А втянули меня зятья и младший сын. Они уверяли, что их фюрер спасет Германию от кризиса, от версальского диктата. Мой сын идеалист, романтик. А старший зять — деловой человек, и он доказывал, что их партия содействует успехам фирмы, а я никогда ничего не смыслил в политике. Я люблю химию, музыку и резьбу по дереву. По-моему, в мире нет ничего возвышеннее и прекраснее Баха… Ах, какая у меня была коллекция старинной резьбы! Почти все погибло. Прямое попадание тонной бомбы. Пожар, огонь проник в подвалы, где я все прятал. Там были статуи двенадцатого и тринадцатого века, резные шкафчики, сундуки, дивные шкатулки, утварь… Неоценимые сокровища. О них я больше жалею, чем о разрушенных и конфискованных фабриках… Да, да, часть наших предприятий уцелела. В американской зоне и во французской. Я-то их уже не увижу. Надеюсь, что внуки будут обеспечены. Старший зять погиб на фронте, сын в плену… Наша фирма еще может принести много пользы не только Германии. До войны у меня были связи со всеми континентами; сюда, в Россию, мы экспортировали ежегодно на несколько миллионов.

Доктор Р. вспомнил, что и он торговал со многими странами. Правда, Советский Союз покупал меньше других, спорадически и, кажется, только лабораторную посуду, техническое стекло.

— Но во все европейские страны, в Америку и в Японию я отправлял десятки тонн: сервизы всех видов, парадные, праздничные, на каждый день, игрушечные… Моя фабрика и сейчас работает. Чехи ее национализировали. Сперва они хотели, чтобы я оставался владельцем, а государство — совладельцем. Чехи меня прятали от ваших в лесной сторожке. Среди моих рабочих были и чешские националисты, и коммунисты. Но отношения у нас были дружеские, почти семейные. Пражские коммунисты помогли вашим, навели их на след. За мной приехали в лес, целый грузовик солдат. Увезли на аэродром и сразу в Москву. А там сообщили, что моя фабрика национализирована, и предложили на выбор: контракт или лагерь военнопленных. Это было сразу после окончания войны. Австрии еще не существовало. Тогда я и согласился.

…Надеюсь, что фабрика и сейчас хорошо работает. Там остались настоящие мастера. Верю, что они сохранят добрую репутацию нашей фирмы. Ведь она существует с 1701 года. Ровесница прусского королевства. И пережила его. Первым владельцем-учредителем был прадед моего прадеда, стеклодув и гончар. В наших местах стекло изготовляли еще с тринадцатого-четырнадцатого века. Подмастерьем он работал и в Италии, Венеции и в Нюрнберге. Вернулся в нашу деревню мастером; женился на состоятельной вдове и завел свою мастерскую. Годовщину основания мы праздновали ежегодно в первое воскресенье сентября… Да-да, через месяц будет ровно 250 лет… Мои дети, конечно, отпразднуют. Они в Штирии уже приобрели небольшую мастерскую. И начали производить кое-что из посуды и радиокерамики и техническое стекло…

Через тюремного завхоза-ларечника я приобрел коробку хороших сигар. А с разрешения бригадира садовников собрал букет из астр и хризантем. В утро юбилейного дня я торжественно поздравил доктора Р., когда он возвращался после зарядки. В любую пого-

ду, в дождь и в мороз, он сразу после подъема не менее пятнадцати минут делал гимнастику, потом бегал, прыгал на месте.

Он поблагодарил немногословно, со спокойным достоинством. Несколько раз повторил: «Я тронут. Я очень тронут» — своим обычным негромким, чуть скрипучим голосом, однако в необычно мягком, чуть вибрирующем тоне.

Вечером на прогулке он начал подробный рассказ:

— Богемское стекло славится много веков, и в этой славе изрядная доля нашего рода. Этим гордился мой дед, мой отец, горжусь я и — верю — будут гордиться мои внуки. Это вовсе не имеет ничего общего с националистической гордостью. Эта гордость у нас общая с чехами. Мой род — австрийский. Мы называли себя «богемские немцы». Нацисты говорили «судетские», но я этого не признавал. Я — богемский немец или даже просто богемец. Никогда у нас в роду не было противоречий с чехами или неприязни. Вероятно, потому, что в нашей местности чехи тоже католики. Не было конфессиональных споров.

На моей фабрике бывало больше тысячи рабочих и техников. Примерно четыре пятых — постоянные работники. Можно сказать — наследственно связанные с нашей фабрикой, с нашей семьей. Они жили в собственных домах. Поселок очень удобно расположен в предгорье. Прекрасный ландшафт, здоровый воздух… За 250 лет у нас не было ни одной забастовки, ни одного конфликта с рабочими. Вероятно, и потому, что мы менее других страдали от кризисов. Правда, в семейных летописях есть и грустные записи. В начале и в середине прошлого века многие европейские страны повысили таможенные пошлины на богемский хрусталь, а немецкие и русские фабриканты стали переманивать у нас мастеров. Однако наша фирма тогда выстояла. И уже на памяти моего отца не знала тревог. Ведь и в годы любых кризисов люди покупают посуду себе и в подарок — на свадьбы, на юбилеи, на дни рождения. И всегда празднуют Рождество, и всегда есть покупатели игрушек. Ни отцу, ни мне ни разу не приходилось увольнять рабочих, сокращать производство… Разумеется, был у нас профсоюз. Были и лево на-

строенные молодые рабочие. Праздновали Первое мая. И в другие дни видны были красные флаги. Но политические проблемы меня никогда не интересовали.

Со многими рабочими мы были знакомы лично. И со многими встречались не только на фабрике и в церкви, но и семейно. В нашей канцелярии точно знали дни рождения и вообще памятные даты всех наших рабочих. И мне, и моей жене, и сыновьям часто приходилось бывать крестными. И у нас в дни рождений в доме не закрывались двери. Приходили семьями, с цветами, с самодельными сувенирами. И разумеется, как у нас заведено, хоры пели поздравительные кантаты. Летом в саду накрывалось несколько столов, и там уже дотемна пировали, плясали. А в плохую погоду, в холодные дни и зимой мои дети и наша прислуга угощали гостей с подносов вином, пирожками… К столу у нас садилась только семья и немногие приезжие гости — родственники, близкие друзья. Приглашать к семейному столу рабочих или служащих у нас было не принято: всех усадить невозможно, а выбрать одного-двух — значит обидеть других.

Фабрика передавалась по наследству, но майората никогда не было. Очередной владелец должен был назначить одного наследника — преемника, — это мог быть его сын, но мог быть и племянник, и зять или пасынок. Требовалось только, чтоб он был честен, толков — ну, в общем, достойный человек. И чтобы знал и любил дело. Вот я был третьим из четырех братьев. Отец нас всех водил на фабрику, едва мы начинали ходить. Знакомил с мастерами, рабочими. Поощрял, если мы играли в стеклодувов. Но старшие братья не заинтересовались этим. Один стал архитектором, другой — врачом. Только мы с младшим, как хотел отец, начали изучать химию. И уже студентами должны были работать на фабрике. В семье были непреложные традиции: хозяин должен был начинать с самой черной работы. Приезжая на каникулы, мы первый год таскали мешки, месили глину, выполняли все поручения мастеров. На фабрике знали, что никаких поблажек нам делать нельзя. И зарплату мы получали, как все чернорабочие. И не посмели бы опоздать утром ни на

минуту или раньше других уйти на обед. И потом мы должны были последовательно работать на всех участках. И мастера, которые нас учили, были к нам взыскательнее, чем ко всем подмастерьям. Отец говорил: «Этого требуют и семейные традиции, и реальные интересы фирмы. Будущий хозяин должен знать дело по-настоящему». Младший брат на третий год стал напоминать о других традициях — наши деды ездили учиться и в Париж, и в Дрезден, и в Венецию. Ему надоели все те же цеха, все те же люди. А тут как раз война. Нас троих старших призвали. Я дослужился до капитана горной артиллерии. Но тяжело ранили у Абруццо. Потом еще долго хромал. Вернулся домой. Отец и мать очень постарели. Второй брат умер — у себя в полевом госпитале заразился тифом. Старший был в плену, в Италии. А младший, мой коллега, освобожденный от военной службы, женился на артистке, связался с ее родней — венскими коммерсантами, покупал-продавал какие-то акции; не хотел и слушать о нашей фабрике — «о вороньем гнезде в глуши». А я в первые же часы начал расспрашивать отца о фабричных делах, о людях. Некоторые из наших парней служили в том же полку, что и я. Впервые я увидел его таким взволнованным. Он был очень сдержанным человеком, никаких сентиментов, никакой австрийской Gemьtlichkeit — сух, даже строг. Но безупречно справедлив. Он ни разу не ударил, не шлепнул никого из детей, но никого из мальчиков даже ни разу не обнял. Сестру, бывало, иногда погладит по голове, поцелует в лоб. А нас, когда хвалил, похлопает по плечу и, если надолго расставались, пожмет руку… Но в тот раз, услышав мои вопросы, он так возбудился, мне показалось, что хочет обнять, что у него слезы на глазах. И сказал торжественно, впервые я слышал от него такие слова, такой тон: «Мой сын, ты меня чрезвычайно обрадовал своим участием, я счастлив, что вижу перед собой достойного наследника наших предков». Завещание у него было уже раньше готово: фабрика — мне; братьям и сестре — определенные суммы наличными и к тому же — равные доли от 10–20% годовой прибыли. А сами проценты устанавливались в зависимости от уровня прибыли. Если слишком низок, выплата их доли вообще не должна производиться.

Отец вскоре умер. Его доконало крушение империи. Нет, он не был политиком, националистом, наш род вообще этим никогда не болел. В австро-венгерской империи просвещенным людям и добрым католикам была свойственна известная сверхнациональная широта мировоззрения. Военные и чиновники служили государству, короне, династии. Промышленники, ученые, негоцианты работали для общего блага всех племен империи… Только пустые болтуны, политиканы, корыстные или невежественные провинциалы старались непомерно возвеличить свои, местные интересы, свой язык, свои обычаи и мифы за счет инородных… Мои деды, мой отец чтили императора, помазанника Божия. Мы говорили и думали по-немецки. Однако наши чешские соседи и чешские рабочие были нам так же близки, как наши соплеменники, и куда ближе, чем северяне-пруссаки или даже соседи-саксонцы. Ближе, понятнее и симпатичнее. Если уж и встречались у нас настроения национальной неприязни, то скорее всего именно к пруссакам. Это они разгромили Австрию. Мой дед был ранен прусской пулей под Кенигрецем… И в ту войну Вильгельма у нас ненавидели даже самые крайние консерваторы. А нашего старичка «каундка»[5] Франца-Йозефа по-родственному любили даже многие социалисты… Ну, конечно, я читал Швейка. Веселая книга, хотя местами весьма непристойная. Однако ненависти к императору там нет. Скорее недостаток уважения. Это действительно было. А Йозефа Рота вы читали — «Марш Радецкого»? Он австриец еврейского, галицийского происхождения. А с какой любовью писал о нашей родине, о династии. Нет, старая Австро-Венгрия была куда лучше, чем ее изображают сатирики. Лучше прусской Германии. И теперь, после нацистской тысячелетней империи, это должно быть всем ясно. Как вы сказали? «Что имеем — не храним, потерявши — плачем»? Умная пословица. Да, именно так… Но и в Чехословакии жилось неплохо. Да, там обострялись давние национальные противоречия. Разумеется, у чехов было и вполне справедливое недовольство имперскими властями —

[5] КИК — аббревиатура титула «Кайзер унд Кениг».

дойчмейстерами. И словаки справедливо обижались на венгерских чиновников и помещиков-аристократов. Но из справедливого недовольства, из старых обид слишком часто возникает слепая мстительность и безрассудные шовинистические претензии. Зигмунд Фрейд, великий ученый, хотя нацисты его проклинают, писал о комплексе неполноценности. Именно этот комплекс рождает и шовинистические предрассудки. И маниакальную ненависть к инородцам. Именно так вырастали у немцев ненависть к французам, антисемитизм, презрение к славянам… Да, да, вы правы, это также австрийские болезни. Гитлер был австрийцем. Типичный венский плебей, мещанин, ставший люмпеном. Из подонков богемы… Но и у чехов были свои маньяки-шовинисты. А среди моих земляков завелись эти «белочулочники» — судетские нацисты. Даже в нашем поселке еще перед Мюнхеном кое-где появились флаги со свастикой. Некоторые молодые парни бегали в белых чулках, горланили песню Хорста Весселя. Но в нашей семье, среди наших близких, среди коренных рабочих нашей фабрики не было ни одного наци. Не знаю, какой будет новая Австрия. Надеюсь, что не станет ни сплошь красной, ни черной. И уж конечно не коричневой… Я бы хотел, чтобы она стала разноцветной. И по-старому красно-бело-красной, и по-новому радужной. Без прусской черноты. Одноцветность — это всегда плохо. И в искусстве, и в жизни. А для стран и наций — опасно. Вот и ваша великая страна — я всегда считал Россию страной великой культуры и великого духа — очень пострадала от одноцветности.

* * *

Был на шарашке еще один настоящий капиталист, Густав Х., берлинец, владелец небольшого завода трансформаторов. Сын рабочего, он и сам больше 20 лет работал у Симменса; до 1930 года голосовал за коммунистов; став безработным, решил завести собственное дело — помогли родственники, и он из маленькой мастерс-

кой по намотке и ремонту трансформаторов за несколько лет создал небольшой, но крепкий заводик. Экспортировал трансформаторы и в Советский Союз, и в Америку, поставлял их вермахту и авиации. За это он был осужден на 10 лет как военный преступник.

Краснолицый, коренастый крепыш, он был общителен, жовиален, помнил множество похабных стишков из цикла «Фрау хозяйка» и похабных вицев. Другими видами литературы не интересовался. О политике разговаривать не хотел.

— Это все равно, что пустую солому молотить. Но из такой соломы могут иногда сплести крепкую веревку для виселицы.

Работал он так же истово, как и другие наши капиталисты. Однажды он пришел ко мне сердито возбужденный:

— Пожалуйста, очень прошу, помогите мне. Вот, переведите. Тут я написал жалобу, протест. Беспримерное свинство! Я разработал совершенно оригинальную систему намотки малогабаритных трансформаторов. На моей фабрике такой еще не было. А тут я сделал все с начала до конца. И меня обокрали, авторами объявили двух других. Сначала я, дурак, согласился, чтобы приписали соавторов. Первым записали начальника, капитана. Тут я не мог возражать. Он — шеф, он офицер. Но вторым записали тоже заключенного, инженера Сергея Т., только он не политический заключенный, он воровал государственные деньги. Другие русские коллеги говорили мне, что он — доносчик, айн штукач… Мне объяснили, что я практик, а он теоретик, что я только на глаз, по интуиции все делаю, а он рассчитывал. Сказали, что и патент должен быть на трех. Но сегодня я узнал, что капитана наградили и Сергей получил премию триста рублей и первую категорию питания, а я — только сто рублей и вторую. Мне сказали, что в отчете о работе нашей мастерской обо мне вообще не упоминается. Это чудовищная несправедливость, это — подлое свинство! Я думал, работал все ночи напролет. Я сам все придумал и сам рассчитывал. Они говорят — у меня нет диплома. Да их дипломами я подтираться бы не стал. Таких инженеров, как этот в погонах и как Сергей, я не взял бы и в подмастерья: лентяи, болтуны, пачкуны

безрукие… Вот я написал протест. Пусть меня отправят в лагерь, в шахту, в Сибирь! Я здесь работаю на совесть. Все исполняю, послушен, как солдат. Ни одного замечания не имел, только похвалы. Но у меня есть самолюбие, моя рабочая честь. Такой несправедливости, таких унижений терпеть не хочу. Жалобу я перевел, уговорив его смягчить слишком резкие выражения. Ему повысили категорию, и начальник в присутствии всей мастерской подтвердил его авторство. Дальше такого устного признания дело не пошло. Густав продолжал работать так же прилежно, однако стал молчаливее, пасмурнее.

## *Глава девятая*
# ШКУРА ЗЕБРЫ

> У души тоже должен быть свой скелет, не дающий ей гнуться при всяком давлении, придающий ей устойчивость и силу в действии и противодействии. Этим скелетом души должна быть вера (…религиозная в прямом смысле или «убеждения»), но такая, за которую стоят «даже до смерти», которая не поддается софизмам ближайших практических соображений, которая говорит человеку свое «не могу». И не потому не могу, что то или другое полезно или вредно практически, с точки зрения ближайшей пользы, а потому, что есть во мне нечто, не гнущееся в эту сторону…
>
> *В. Короленко. Дневник. 5 дек. 1917 года*

Старые арестанты говорили: «Наша житуха как шкура зебры — черные полосы чередуются со светлыми; когда черно — терпи, не кисни, а когда посветлеет — не расслабляйся!»

Летом 1950 года черные полосы густели. Увезли Панина и Солженицына. Не ладились мои фоноскопические работы, поблекли связанные с ними надежды. Подружка захворала, но успела еще сказать, что муж приезжает из долгой командировки и ей «так страшно, так страшно…»

Техник С., тот самый, из-за которого меня вызвал Шикин, с тех пор назойливо лип ко мне. То рассказывал похабные анекдоты, то

лез бороться, размахивая вихлястыми, угловатыми руками… Утром в камере, когда мы убирали постели, С., «резвясь», подкрался сзади ко мне, нагнувшемуся над койкой, и толкнул так, что я стукнулся лбом в стенку над калорифером. Боль, неожиданность нападения обозлили. Обернувшись, я сунул кулаком в ухмыляющуюся физиономию. Он упал на соседнюю койку.

— Ты чего? Ты чего?.. Я ж пошутил, а ты, гад, драться. У-у, жидовская морда!..

Он схватил бутылку из-под ситро, стоявшую на тумбочке, но я поднял сапог и, пока нас не растащили, успел разок-другой стукнуть по руке с бутылкой.

Виткевич, который первым бросился между нами, говорил, что я орал всякое, чего потом сам не помнил, — обзывал С. фашистом, стукачом.

На следующий день мы перебирались в лагерь, откуда увезли последних военнопленных.

В небольшой прямоугольной зоне, примыкавшей вплотную к усадьбе шарашки, были два-три небольших дома — столовая, баня, кладовые, контора, вахта и двумя рядами круглые фанерные юрты, сцепленные попарно короткими тамбурами.

Начальник тюрьмы, флегматичный подполковник, наблюдавший, как мы перетаскивали свое барахло, отозвал меня:

— Вы там давеча с кем-то подрались в камере… Я вас не спрашиваю, кто начинал, кто кончал… Стыдно… Серьезные вроде люди. Не мальчишки, не ворье какое, а деретесь, сапогами бьете… За это полагается строгое наказание. Карцер. Но у вас на объекте срочная работа. А у меня здесь нет карцерного помещения, чтоб содержать с выводом на работу. Объявляю наказание: переводитесь обратно на вторую категорию. Лишаетесь очередного свидания. А также объявляю строгое предупреждение… В повторном случае будете наказаны сильнее.

В двух юртах первой категории стояли обычные койки. Там поселились все мои друзья. А нас с Виткевичем, который был еще новичком, направили в одну из дальних юрт, заставленных деревян-

ными четверными вагонками. Уже больше полугода я числился первокатегорником, курил «Казбек», получал к завтраку яйца и в обед вместо одной свиной отбивной — две. Но как штрафник должен был вернуться к «Беломору» и к пшенной каше — «блондинке».

Абрам Менделевич был недоволен.

— Какой вы несдержанный… Вдруг — драка! Да, я вам верю, верю. Этот С. крайне антипатичный субъект. Но его очень ценят. Таких, как он, мастеров у нас — раз-два и обчелся. А он еще и умеет показать себя, вовремя поддакнуть начальству. Сравните, например, Сергей Григорьевич, Валентин Сергеевич или Евгений Аркадьевич Соломин — какие специалисты! Много опытнее его и куда интеллигентнее. И руки у них тоже золотые. Но к ним отношение значительно хуже. Потому что спорят и все время дают понять, что видят недостатки начальства. А С., когда что-нибудь придумает, докладывает: «Кажется, я понял вашу мысль, продумал все, что вы мне говорили, убедился, что очень здорово задумано, и вот, как будто хорошо получается…» Куприянов, Соломин и Мартынов лезут напролом: «Вот вы говорите одно, а я придумал по-другому, и смотрите, что лучше…» Мартынов еще и болтает, как попугай. В технике он, можно сказать, зрелый талант, а в жизни — просто мальчишка. За это и в карцер попал. Хорошо еще мы тут с товарищами упросили, чтобы его совсем не отправлять. И Солженицына ведь за это же убрали — все хотел настаивать на своем. Антон Михайлович ценит-ценит, но пока не почувствует себя лично задетым. Ваше счастье, что вы считаетесь незаменимым. Как же — «единственный в Союзе чтец видимой речи». Но главное — он к вам хорошо относится, говорит: «Чудак, вроде юродивого, а для объекта полезен». И с фоноскопией, я надеюсь, пока еще не все потеряно. Хотя Фома Фомич очень сердится. Ему в министерстве еще тот нагоняй был. Наверно, он и вас будет отчитывать. Имейте в виду, он очень груб, советую, даже прошу, держите себя в руках, не позволяйте никаких неосторожных слов. А то может очень печально кончиться…

* * *

Голос Антона Михайловича в телефонной трубке холодный, отчужденный:

— Зайдите. Немедленно.

Он сидел за своим письменным столом, перебирая бумаги. А у длинного стола стоял Железов; едва кивнул мне.

— Садитесь.

А сам продолжал стоять и смотреть сверху вниз тусклыми, казалось, вовсе ничего не выражавшими глазами.

— Что это вы вздумали драки устраивать!.. Вы что, забыли, где находитесь? Вы, может, думаете, здесь дом отдыха для хулиганов? Не желаю слушать объяснений. И работаете вы хреново. Напридумывали всякое фоновидение, звукочитание. Наполовину очковтирательство нахальное. Одно оперативное задание кое-как обляпали… А со вторым уже обосрались… Так что весь институт в говне… Оперативники с нас смеются, как с дураков. Хорошо, не посчитали за саботаж… А то вы не могли бы доказать, что врали несознательно, что не хотели покрыть шпионов, врагов народа. Не могли бы доказать! Работаете говенно, с оперативниками позволяете себе нахальные разговорчики. Врете бесстыдно. И еще хулиганство… Молчать! Я вас не спрашиваю, я сам знаю.

Страшнее всего было, что он не кричал. А говорил почти что бесстрастно, монотонно. Лишь изредка голос повышался визгливо, но ни разу не крикнул, не рявкнул…

Антон Михайлович пытался вставлять какие-то замечания, иногда «укоризненные», обращенные к ко мне: «И как только вы могли… Я не поверил, когда узнал… Возмутительно…»; иногда уговаривал: «Фома Фомич, это был первый случай… Там у них, видимо, обстановка нездоровая… А научная работа может вызвать нервное переутомление…»

— Научная?.. Научился только строить из себя ученого, а хватает сапог, как босяк… Говно он, а не ученый. Хулиган и говно… Вы сами понимаете, что вы говно, или не понимаете?

Горло стиснуло тоскливой, бессильной ненавистью и страхом, подлым, сковывающим страхом:

— Чего молчите? Не понимаете, чего говорю?

— Не понимаю, как вы можете… оскорблять человека, который не может вам возразить…

Мгновение он смотрел все так же молча, все так же тускло. Мгновение ужаса.

— Человека? Он еще держит себя за человека?! Посмел бы возражать — завтра же отправили бы, куда Макар телят не гонял. На урановые рудники. Там за полгода вся борода вылезет, волосы вылезут и зубы тоже… А потом подох бы, как крыса… Не цените условий, какие вам здесь создают, обнаглели. Ученого строит… Антон Михайлович, а кто это ему разрешил бороду носить? Он же один такой на весь объект. Это недопустимо. Мы же знаем, что у них значит борода, — зароки! Антисоветские зароки!.. Он обращался уже только к Антону Михайловичу:

— Вот и вы, и майор (т. е. Абрам Менделевич) за него заступались, даже в карцер не отпустили. Теперь обратно ссылаетесь на новую работу, что он вам нужен. Я делаю вам уступку в последний раз. Пусть он вам благодарный будет, и чтоб понимал, кому обязан и чему обязан… Пусть оправдывается работой. В другой раз не миновать урановых. А сейчас категорию снизить, пока не докажет, что достоин… И чтоб сбрил бороду сегодня же. Хватит, покрасовался. Вы мне доложите.

И мне через плечо:

— Можете идти.

Начался обеденный перерыв. Новая столовая была тоже в лагере. Поев, я пошел в юрту, взял у Джалиля ножницы и бритву и соскоблил бороду, тогда еще сплошь черную, с редкими сединами.

На удивленные вопросы и подначки отвечал коротко:

— Начальство приказало! Надоела!! Умываться трудно… Так захотелось… Иди ты…

Моя подружка таращилась в безмолвном испуге. Когда вечером я рассказал ей, она поахала, спрашивала: а не будут ли теперь внимательнее следить за мной, — потом стала утешать:

— Ой, теперь у меня вроде другой роман… Как вас зовут, дяденька?.. Не приставайте, а то скажу бородатому, он вас сапогом отделает…

* * *

Новое задание, ссылаясь на которое Антон Михайлович уберег меня от более суровых кар, было акустическое исследование тончайшей проволоки, предназначенной для звукозаписи в приборах подслушивания. Эту проволоку изготовляли на другой шарашке, а наши химики покрывали особым составом.

Химической лабораторией заведовала капитан Евгения Васильевна К., дочь интеллигентных купцов и бывший следователь промышленного отдела НКВД.

Панин учился с ее старшей сестрой, «обе они были красавицы, а нравственности безукоризненной, строжайших правил. Непонятно, как из такой барышни получилась чекистка».

Она была еще пригожа. Пристальные серые глаза, русые волосы на прямой пробор, с круглым пучком сзади. И лицо хоть потускневшее, но миловидное. Только рот с неизменной папиросой стягивался жесткой складкой. Фигура несколько оплыла, отяжелела в бедрах. Ноги были чуть коротковаты, но ладно вылеплены, мускулисты и шагали твердо, гулко, по-мужски.

Она давно овдовела, растила двух детей, уже кончавших школу. С иными заключенными, работавшими в химической лаборатории, и с вольнонаемными девушками не стеснялась:

— Чего уставились? Я же вижу, куда пялитесь? Клара, одерните халат! А вы лучше утешайтесь онанизмом.

Ей приглянулся Сергей. Она уводила его в вечерние часы в свой кабинет, жаловалась, что изголодалась по ласке.

Он говорил:

— Такая, казалось бы, грубая, наглая вертухайка, баба-танк. А вот оказывается, несчастливая, влюбчивая… Только ненасытна уж очень.

При этом у нее была еще и потребность в обычной дружбе, в серьезных разговорах «по душам». Жень-Жень, работавший в химической, стал ее платоническим другом и партийным наставником. Готовясь к политзанятиям, она советовалась с ним как со «старым членом партии и образованным марксистом».

Но он был недоволен своей жизнью на шарашке. Его основная специальность — кораблестроитель. В годы войны он после Соловков попал на шарашку, где конструировались подводные лодки, сперва на Волге, потом в Баку. Освобожденный в 1947 году, он работал на верфи в Рыбинске, успел жениться. (Его первая жена была расстреляна в 1937 г.) Год спустя его снова арестовали. Следователь заполнил обычный протокол «установления личности». На вопрос подследственного о деле, об обвинении раздраженно пожал плечами:

— Вы же взрослый человек. Газеты читаете? Ну, так что же вы спрашиваете? Сами должны понимать.

Больше допросов не было. ОСО приговорило его снова к 10 годам по той же статье, по тем же пунктам: 58-8, 10, 11 — обычный «ленинградский набор».

В химической лаборатории он наблюдал за всей электротехникой, вел документацию экспериментов, конструировал печи для обжига мелкой керамики.

Покрытие для звукозаписывающей проволоки изготовлял заключенный Ф., доктор физических наук, бывший сотрудник президента Академии наук С.И. Вавилова.

Он был осужден «за измену и шпионаж» на 25 лет, и на шарашку его доставили прямо с Лубянки. В первые дни он пугливо сторонился всех. Невысокий, сутулый, смуглый, подслеповатый — в очень сильных очках, — толстогубый, говоривший с приметным еврейским акцентом, он затравленно глядел на каждого:

— Не надо. Пожалуйста, не надо. Не спрашивайте. Я ничего не знаю. Пожалуйста, не надо… Извините, я ничего не помню… Какая статья? Не помню… Да, да, двадцать пять лет… Извините, пожа-

луйста… Позвольте, я пройду… Нет, нет, я не могу. Не знаю, не надо… Очень прошу…

Его прозвали «Братец Кролик». Вскоре после его прибытия был банный день. В каменном сарае неподалеку от вахты три раза в месяц мы банились под горячими душами и тут же стирали свое белье.

Когда Братец Кролик просеменил под душ, на минуту стих обычный веселый галдеж. Его спина, плечи, ягодицы, худые икры были исполосованы, испятнаны темно-синими, почти черными и побледневшими красноватыми рубцами.

Кто-то пытался расспрашивать: «Где это тебя так?», «Что, долго не признавался?»

Он сжимался под струями душа и шептал, едва не плача:

— Пожалуйста, не надо… Это ничего… Пожалуйста…

Но другие прикрикнули:

— Отзыньте от человека, дуроломы! Что, сами не видите?

В последующие месяцы и годы Братец Кролик не стал общительнее. На прогулки выходил редко; из столовой спешил обратно в лабораторию, к своему столу. Жень-Жень и Джалиль, работавшие неподалеку от него, и начальница Евгения Васильевна говорили, что он очень знающий и талантливый физико-химик. Он занимался главным образом явлениями флюоресценции, разрабатывал светящиеся покрытия для измерительных приборов и телевизоров. Работал с исступленным прилежанием.

Когда были изготовлены первые варианты звукозаписывающей проволоки, я должен был проверять степень разборчивости и узнаваемости записываемых голосов. Сергей сделал новое приспособление для анализатора, позволявшее снимать звуковиды с проволоки.

Прибор, заряженный катушками для двух-трехчасовой записи, умещался в футляре объемом примерно с десять спичечных коробков. Труднее всего оказалось избавиться от наводки, от «взаимного перекрывания» записей. Чем больше было витков, то есть чем продолжительнее записанный разговор, тем назойливее перемешивались звуки. А через несколько дней становилось и вовсе трудно слушать. Одни слова звучали на фоне других, произнесенных позже.

Больше года химики искали все новые и новые составы, чтобы проволока была достаточно чувствительна и вместе с тем достаточно изолирована от наводок.

Разрабатывались все новые режимы покрытия. И каждый раз мы должны были проводить акустические исследования «на слух» с артикулянтами и на глаз по звуковидам.

Братец Кролик нервничал, худел; отвечая на вопросы начальства, бормотал почти нечленораздельно:

— Надо еще пробовать. Да, да, пожалуйста. Я постараюсь. Конечно, надо. Это не от нас зависит. Нужна другая сердцевина.

Евгения Васильевна жалела его и зычно доказывала Антону Михайловичу и Абраму Менделевичу, что у нее химия и физика на полной высоте и надо подтянуть изготовителей проволоки.

А к нам приставали конструкторы. От них требовали разработать прибор настолько малого объема, чтобы его можно было незаметно пристроить в автомашине, в номере гостиницы. Акустики должны были обеспечить такую схему, чтобы запись включалась только при звуках речи, а не от стука шагов, шарканья полотера, уличного шума. Сергей начал было разрабатывать включатель, отзывавшийся только на звуки речи. Но главной помехой оказалось требование малого размера.

Антон Михайлович сперва настойчиво интересовался: «Что сегодня? Ну, как новое покрытие? Так и не убрали эхо? Ну, давайте, не тяните!» Но постепенно он остыл к неподатливой проволоке.

Окончательной судьбы этих разработок не знаю. Их передали на другую шарашку. Вместе со всеми нашими материалами.

* * *

— А мы все-таки не будем хоронить нашу фоноскопию. Даже наоборот… Но только строго между нами.

Абрам Менделевич пришел радостно возбужденный, говорил по-свойски доверительно:

— Создается новый институт. Я хотел было только нашу лабораторию развернуть в отдел. Но Антон Михайлович считает более целесообразным другое. Он сказал, — знаете, как он умеет с шуточками-прибауточками, — «Я хочу по старинке, по-крестьянски выделить старших сыновей. Пусть сами хозяйничают». Говорит — «по-крестьянски», а в действительности он — барин, буржуй. Не терпит ни конкуренции, ни товарищеского соревнования. Ну, что ж, пускай! Так и нам лучше будет. В управлении уже подготовлен приказ. Меня назначают начальником нового института, заместителем — Василий Николаевич. Отсюда перейдут еще человек десять вольнонаемных инженеров и техников и, конечно, вы, Сергей Григорьевич, Валентин Сергеевич, Евгений Аркадьевич, Василий Иванович, еще два-три человека. Там создадим такие условия, как нигде. Будем заниматься и фоноскопией, и дешифрацией, и разработкой новых телефонов. С Валентином Сергеевичем я уже говорил. Его система выделения основного тона отлично задумана. Антон Михайлович тогда отправил его в карцер, а ведь то, что он предлагал, очень и очень многообещающая штука… Вот увидите, мы будем прекрасно работать. И у вас всех перспективы будут оптимальные…

Хотелось верить щедрым посулам. Но даже Валентин, самый молодой из нас, самый доверчивый и легко увлекавшийся, сомневался:

— Обещает-обещает сорок бочек арестантов. И еще маленькую тележку… Но что из этого получится? Несолидно как-то. Антон, может, и отдаст ему людей. Но где он возьмет оборудование, приборы, мастерские? Здесь всего навалом. А чтоб на пустом месте шарашку устраивать, нужны силы побольше, чем у него.

Абрам Менделевич предлагал думать о планах, проектах, деталях, составлять списки приборов, инструментов, приспособлений.

— Приказ управления точный: обеспечить нас полностью всем необходимым. Я уверен, Антон Михайлович не будет скупиться. Ведь он знает: мне подробно известно, что есть в институте, какие запасы еще даже не заприходованных трофейных приборов и материалов. Анализатор мы возьмем тот, что поновее. А там уж Сергей

Григорьевич и Аркадий Николаевич разработают новый, еще получше. Книгами, журналами нас будет обслуживать здешняя библиотека. Это предусмотрено приказом, и есть договоренность. Так что переедем недели через две, максимум три.

Но прошло несколько дней, и он говорил уже невесело:

— Возникли неожиданные сложности. Только из-за тюремщиков. Они заявляют, что здание там не приспособлено. В центре города; вокруг жилые дома. Я просто не понимаю, ведь на Бронной работает такой же небольшой институт со спецконтингентом. Теперь вопрос будет решаться на самом верху. В крайнем случае некоторое время вам придется жить здесь. Вас будут отсюда возить туда. Завтрак и ужин здесь, а обед мы устроим там. Это же все-таки менее сложно, чем наши разработки… Да, да, понимаю, с прогулками будет похуже, меньше на воздухе. Но мы и это со временем наладим. Зато условия работы куда лучше. Неограниченные возможности творческой инициативы… Вот переберемся, начнем работать — увидите…

С каждым днем он тускнел. Говорил все менее уверенно, скрывая раздражение.

— Тюремщики уперлись. У них там какие-то свои законы, правила. Нельзя, чтобы жить здесь, а работать там. Видимо, вам придется на некоторое время поселиться в Бутырках или в Лефортове… Но вы поймите: фактически только ночевать. И конечно, в особых условиях. И в смысле питания мы обеспечим по высшей категории. И свидания с родственниками будут чаще. Вы сейчас видитесь только раз в три-четыре месяца. А там мы уже договоримся ежемесячно или даже чаще… Да, конечно, прогулки, воздух… Но зато досрочное освобождение куда более реально. Я понимаю, вам не по душе опять в тюрьму. Это, конечно, очень тяжело. Но это ведь только вначале. Когда мы предъявим первые конкретные результаты работы, будем добиваться самых лучших бытовых условий…

Сергей на прогулке отвел меня в дальний угол двора.

— Ты понимаешь, чего он придумал? Обратно в камеру с парашей. Дверь на замке. Выходишь — руки назад и не вертухайся. Гу-

лять — полчаса и давай, давай, не разговаривай. И гулять-то где — по асфальту, между тюремными стенами. Дыши глубже носом. Не нравится — можешь досрочно подохнуть… Что же, мы вот так и полезем в душегубку? Зарабатывать ему еще одну звездочку на погон? Еще одну Сталинскую премию?.. Неужели будем скотами бессловесными? Куда ни погонят, хоть в стойло, хоть на убой, даже не замычим?.. Что делать?.. Вот и давай мозговать, что делать!!! Я думаю, надо идти прямо к Антону: так, мол, и так, вы нас привезли сюда, мы и стараемся — вкалываем, изобретаем, исследуем, паяем, клепаем… И наперед готовы служить вашей милости не за страх, а за совесть. Какого же хрена вы нас, ваших верных холопов, с рук сбываете? Вам в убыток, нам на погибель. Помилосердствуйте, ваше степенство, ваше превосходительство, в рот вас долбать!.. Вы же такой мудрый, такой всезнающий, вы же должны понимать. У этого Менделевича наши мозги-смекалки только вполнакала работать могут. А у вас мы один за двоих выкладываемся… Нет, без дураков, надо же как-то сопротивляться. Ты ведь знаешь, что Антон с Менделевичем как собака с кошкой. И Антон ему уж конечно всячески гадить будет. Но его обгадят — он отряхнется, а нам в дерьме тонуть…

Шли тоскливо-тревожные дни. Антон Михайлович то ли заболел, то ли уехал в командировку. Ни с кем другим говорить мы не хотели. Абрам Менделевич редко заходил в лабораторию, здоровался приветливо-отрешенно и торопился уйти.

Капитан Василий Николаевич М., его заместитель по акустической, назначенный заместителем начальника нового института, был деловит, вежлив, почти застенчив, редко сердился; сердясь — не кричал, не ругался, а выговаривал нудным, скриповатым тенорком. Обычно он уклонялся от общения на «посторонние темы». Однако напористому Сергею удалось выведать у него, что тюремное управление МГБ полагает вообще невозможным использовать спецконтингент на новом объекте ввиду того, что там нет необходимых условий: двери и окна выходят на улицу, и все здание расположено так, что «по нормам» нужно было бы иметь столько охранников,

что число их значительно превысило бы весь штат института. Им необходимо было бы особое караульное помещение. А на все это нет ни места, ни средств…

Когда Абраму Менделевичу объяснили, что ни одного заключенного ему не дадут, он то ли с отчаяния, то ли в надежде на уступку заявил, что вынужден отказаться от руководства новым институтом и вообще полагает его существование нецелесообразным без этих кадров.

Но приказ о создании института был уже подписан министром Абакумовым. В управлении кто-то сказал: «Вот он каков, значит, этот Абрам: корчил из себя великого спеца, пролез в лауреаты. А сам, оказывается, не может ни шагу сделать без заключенных…»

На всех шарашках арестанты зарабатывали научные степени, ордена и премии для чекистов, числившихся учеными. Но говорить об этом вслух было так же недопустимо, как и о том, кто был основной рабочей силой на «великих стройках коммунизма». Поэтому приказ отменили, а злополучного инженер-майора отчислили и демобилизовали.

В последний раз он пришел на шарашку уже в мешковатом штатском костюме. Беспомощно торчала тонкая шея. Печально поблескивали очки. Он простоял несколько минут у моего стола.

— Антон Михайлович оказался еще хитрее, еще коварнее, чем я предполагал. По работе он не мог меня съесть. Как инженер я не хуже, а может, и получше его. С техникой современной больше знаком. И соображаю быстрей. В управлении это знают. К тому же я коммунист, а он после своей Промпартии уже остался беспартийным. Так что в открытую он против меня никак не мог. Вот и придумал хитрое шунтирование. А я, дурак, обрадовался. Но теперь, — это строго между нами, — с такой фамилией, как моя, уже нельзя быть начальником института. Никакие заслуги, никакой партстаж не помогают. Есть кадровая политика! Так что возражения тюремщиков — формальный повод. Вернее, нам подобрали именно такое здание, чтобы вызвать возражения. Он все продумал заранее, рассчитал точно. Интриган он гениальный. Мне товарищи давно гово-

рили. А я недопонимал. Ну, что ж, поработаем на гражданке. А вам пусть будет еще один урок. Всего хорошего.

Он пожал мне руку у локтя и ушел с кривой улыбкой.

* * *

Сверхсекретную фоноскопическую лабораторию № 1 попросту ликвидировали, а нас с Василием передали в распоряжение математической группы, которая разрабатывала шифры и системы дешифраций. Мы оба должны были с помощью звуковидов определять сравнительную устойчивость секретных телефонов. Кроме того, Василий, по заданиям группы технической информации, переводил статьи из английских, американских и французских журналов. Я тоже оказался в двойном подчинении, так как продолжал руководить артикуляционными испытаниями, участвовал в некоторых исследованиях, которые вела акустическая лаборатория, и по вечерам преподавал английский и немецкий язык молодым офицерам, обучал их переводу технических текстов.

Оценки исследуемых систем секретных телефонов выражались в виде дроби. Постоянный числитель означал одну минуту зашифрованного разговора. А в знаменателе проставлялось двух- или трехзначное число минут, потраченных на дешифрацию или на установление схемы шифратора и кода. Чем больше знаменатель, тем устойчивее система и код. «Отметки» различных телефонов колебались от 1/120 до 1/600.

Но постепенно я убеждался, что скорость наших догадок, которая должна была определять объективные характеристики телефонов, заметно менялась в зависимости от разных причин. По утрам мы дешифровали быстрее, чем к концу дня. Угадывание замедлялось из-за любого недомогания — от зубной боли, сильного насморка, расстройства кишечника. И в те дни, когда меня одолевала хандра после невеселого письма из дому или неприятного разговора в камере, Василий легко обгонял меня и весело хвалился:

— Вот что значит иметь крепкие нервы. Недаром моя бабка говорила, что от печальных дум вши заводятся.

Начальник группы Константин Федорович К., сухощавый, подтянутый, узколицый, с умным и холодным взглядом, был неизменно вежлив, но соблюдал дистанцию. «Посторонние разговоры» отклонялись холодно и решительно: «Этот вопрос не имеет прямого отношения к нашей задаче…»

Но об очередной хитрой математической проблеме, возникшей у конструкторов шифратора, он подолгу увлеченно толковал и с главным математиком группы Александром Л., и с другими спецами. Они говорили: «Хоть в погонах, но серьезный математик и добросовестный инженер».

Александр Л. был осужден «за плен». На фронт он попал, кажется, с первого курса аспирантуры. Интеллигентный, столичный юноша, насмешливый скептик, немного сноб, был влюблен в математику — «науку наук» — и в музыку. Когда на шарашке появилось пианино в красном уголке вольнонаемных, он его настроил и за это получил разрешение играть в воскресные вечера. Другим зекам тюремные надзиратели запрещали присутствовать — «не положено, тут вам не концерт». Но когда дежурный вертухай бывал в хорошем настроении, иным из нас удавалось просочиться.

Александр играл наизусть сонаты Бетховена, прелюды и мазурки Шопена, «Времена года» Чайковского.

И тогда время шло то медленно, почти замирало, то стремительно ускорялось. Радость и печаль чередовались или сливались. Радостная печаль, когда вот-вот заплачешь и с трудом удерживаешься. Мгновение счастья, пронзительного до боли в сердце, когда весь мир прекрасен и все люди милы… И тут же удушье от сознания — где ты и что с тобой.

Александр, заключенный, «изменник Родины», с любым начальством держался корректно, даже несколько чопорно, в иных случаях почти высокомерно. Но когда он разговаривал с майором К., они оба словно оттаивали, непринужденно спорили, случалось и шутили, смеялись, радуясь каким-то удачным решениям.

В первые дни Александр едва замечал меня. Однажды, когда зашла речь о том, что я — убежденный марксист, он заметил, что это естественно, потому что я — не русский.

— Нет, что вы, я вовсе не антисемит. У меня были друзья евреи и в школе, и в университете. Но в русской истории XX века евреи играли скорее неприглядную роль. Достаточно вспомнить Троцкого, Зиновьева… Вы, конечно, можете назвать Левитана, Рубинштейна, Эренбурга, скрипачей, пианистов, математиков. Эйнштейн, конечно, гениален… У каждой нации есть свои достоинства и свои пороки. И в разные времена становятся доминантными то одни, то другие свойства. Ведь и у немцев были великие люди. Знаю, знаю — вам этого не нужно доказывать. Вас, я слыхал, даже посадили, кажется, за переоценку немцев. Но когда Гитлер пришел к власти, стали доминантны немецкие пороки. И все забыли о Бахе, Бетховене, Шиллере… Ведь и вы, конечно, кричали: «Убей немца!» А если не кричали, то можно только удивляться, что вас не посадили раньше…

Математиком был и рижский студент — сионист Перец Г., прозванный Дон Перес, очень молодой и выглядевший еще моложе своих лет, но уже лысевший, остролицый, самоуверенный, категорично судивший обо всем и обо всех.

Александр и Перец встретили Василия и меня холодно, отстраненно. Вскоре я сообразил, что они в нас заподозрили наседок. Василий — «указник», раньше одиноко работал в библиотеке и, как говорили, сторонился пятьдесят восьмой, потом вдвоем со мной работал в особо секретной таинственной группе. А я беззастенчиво признавался в своих коммунистических убеждениях и, значит, мог быть только пособником начальства.

Числясь в штате их группы, мы нередко отлучались в акустическую или в библиотеку; значит, могли завернуть и к оперу с доносом. Я заметил, как прерываются разговоры, когда мы входим в комнату, если там нет вольных. Однажды Василий утром заговорил о последних известиях из Кореи — мы с ним «болели» за северян. Александр прервал едва ли не начальственным тоном:

— Я просил бы не отвлекать разговорами. Тут кое-кто мозгами работает. Может быть, вашему гаданию по этим картинкам трепня помогает, но мне мешает.

Начальник группы заходил время от времени; постоянно должен был сидеть его помощник, старший лейтенант, смазливый очкарик, простодушный и ленивый. Он то и дело уходил покурить с приятелями, посудачить с девицами из конструкторского бюро.

К Василию и ко мне он относился почтительно, ничего не понимая в том, чем мы занимаемся. Математиков считал коллегами и старался держаться по-свойски, хотя на Александра Михайловича глядел снизу вверх. Иногда подсаживался к нему, чтобы подготовить уроки; он учился заочно в аспирантуре института связи.

Старший лейтенант порою развлекал нас рассказами о спортивных событиях, о кражах, грабежах, о семейных драмах у его соседей и знакомых. Однажды он стал рассказывать, как в последний год войны ехал из Ташкента, где учился в эвакуированном институте.

— Я туда поступил еще перед войной. Не так чтоб особенный интерес был. Но там броню давали… Мне в казарму идти не хотелось. А на фронт еще меньше. Ну, а в институте хоть и голодно и все отрывали — то на вокзал грузить-разгружать, то в кишлак на хлопок, — но зато цел остался, закончил, еще и погоны заимел, и в органы взяли работать. У меня отец воевал за всех сыновей. Он и в партизанах был. Вся грудь в орденах-медалях… А теперь обратно в органах. Он еще комсомольцем в пограничники пошел. Теперь полковник из сильно секретных, никто не знает — ни братья, ни мать, — чем он там командует, знаем только, что на генеральской должности… Когда мы ехали с Ташкента в Москву в 44-м, денег мало было. Да и чего за деньги достанешь? А со мной кореш был, ушлый москвич — его потом тоже в органы взяли по линии связи. Так он вот что придумал: мы купили два ведра соли, там по дороге такие соленые места есть, забыл, как называется… С проводниками договорились и на других станциях меняли соль на рыбу — вяленую

и свежую. Мешками брали, а еще дальше поехали и стали менять рыбу на водку, на табак, на молоко… И прибарахлились даже.

Александр и Перец ободряли рассказчика сочувственными репликами. А меня охватывал злобный стыд: офицер, комсомолец хвастается, как спекулировал. Вероятно, он полагал, что именно это должно нравиться таким преступникам, как мы.

После нескольких тщательно обработанных опытов звуковидной дешифрации мозаичных телефонов я пришел к убеждению, что все наши «дробные» оценки несостоятельны. Время, затраченное нами, — основной критерий для определения телефонной системы. Мы — два немолодых и не слишком здоровых арестанта — работали добросовестно, старались не отвлекаться. Но легко можно себе представить, что у противника — у тех американцев, от которых мы позаимствовали технологию «видимой речи», — есть немало молодых, хорошо тренированных дешифраторов. И для них различия между более или менее сложными видами мозаичных систем ничтожны. Следовательно, такая шифрация с появлением анализаторов спектра вообще становится неустойчивой — распознается легко и быстро.

Вася не соглашался. Он доказывал, что сравнения важнее, чем абсолютные коэффициенты устойчивости. А мы ведь по нескольку раз исследовали одни и те же сравниваемые системы. И результаты получали каждый раз если не тождественные, то уж во всяком случае близкие. И ни разу не было так, чтобы один из нас признал лучшей ту систему, которую счел худшей другой. Хотя величины дробных показателей колеблются, итоги сравнений, как правило, более или менее совпадают.

Мои соображения я доложил Константину Федоровичу. Мы спорили горячо, но беззлобно. Начальник изредка переспрашивал, слушал насупившись, жевал мундштук погасшей папиросы.

— Ну, что же, все ясно, что ничего не ясно. Потрудитесь изложить это в письменной форме в рабочих тетрадях.

(У каждого из нас была рабочая книга — большая тетрадь с пронумерованными страницами, прошитая шнуром, закрепленным

сургучной печатью или пломбой. В эту тетрадь полагалось записывать все, что было сделано или обдумано за день. А на ночь их клали в сейфы вместе с секретными документами, схемами, чертежами.)

Александр слышал наш спор. После работы он спросил меня:

— А вы понимаете, что рубите ветку, на которой сидите? Начальство не любит, когда ему доказывают, что оно темнит и выдает говно за золото… Вам что же, шарашка надоела? Захотелось на лесоповал или в шахту?

Я сказал, что не хочу участвовать в очковтирательстве, кто бы его ни затевал; нельзя расходовать государственные, народные средства на изготовление заведомо непригодных телефонных систем.

Он слушал с недоверчивой полуулыбкой. Вероятно, думал, что я притворяюсь «честнягой», рассчитывая на особую благосклонность начальства, и значит, дурак; либо хочу втереться в доверие к товарищам и, значит, опасен.

Вскоре Константин Федорович сказал:

— Ваши соображения мы рассмотрели. В общем и целом, вы предлагаете похоронить мозаичную шифрацию без почестей и возможно скорее. Вы представили известные резоны… (Он говорил почти теми же словами, которыми Антон Михайлович укорял Солженицына, но без огорчения, бесстрастно.) Однако действительность куда сложнее ваших теорий. Мозаичные телефоны пока нужны и в армии, и в органах. Они много дешевле нашей новейшей совершенной системы. Они предотвращают прямое подслушивание. Перехваченный разговор может быть дешифрован только в лабораторных условиях. Поэтому все же важна возможно большая устойчивость кодов. И мы должны добросовестно определять сравнительные достоинства разных систем. Василий Иванович уже достаточно поднаторел и теперь, пожалуй, справится сам. А вас Антон Михайлович забирает обратно в акустическую.

В тот же день я стал перетаскивать туда свои книги, блокноты, кипы звуковидов. Александру я сказал:

— Была без радости любовь, разлука будет без печали.

Но именно с этого времени он заметно подобрел ко мне, даже пригласил вечерами заниматься на математических курсах, которые он вел для вольнонаемных. И я стал его прилежным слушателем. Упоенно зубрил ряды Фурье и теорию вероятности, вспоминая забытые квадратные уравнения, элементарную тригонометрию и начала дифференцирования и интегрирования…

В акустической «блудного сына» приняли весело, отвели мне бывший стол Абрама Менделевича в самом дальнем углу у стены. Там, укрытый за стойками, я мог опять читать и писать, маскируясь ворохом звуковидов. Там опять появился у меня самодельный приемничек, настроенный на Би-Би-Си.

В математической группе столы были открытые — все поверхности на виду, и каждая задача точно определена — не отвлечешься.

* * *

Осенью 1949 года наши умельцы сработали телевизор с большим зеркальным экраном и дистанционным управлением в виде резиновой груши на шнурке. Его смонтировали в шкафу красного дерева, обшили синим бархатом; на серебряной пластинке выгравировали надпись, поясняющую, что это подарок «Великому Сталину, любимому вождю народов, от московских чекистов».

А несколько месяцев спустя начали изготовлять нечто еще более роскошное уже для своего министра Абакумова. К лету 1951 года был готов электронный комбайн, в котором сочетались широкоэкранный телевизор, радиола и магнитофон — по тем временам единственное в своем роде сооружение.

Его оформили едва ли не наряднее, чем подарок Сталину. Смонтировать все это нужно было на месте установки. Ранним утром несколько мастеров-зеков, с разобранным на части комбайном, инструментами и приборами, погрузились в особый воронок и со спецконвоем отправились прямо на квартиру к Абакумову.

Они сами дотащили драгоценный груз до дверей. Но там шел обыск. Уставшие за ночь оперативники не сразу сообразили, кто и зачем приехал, что за аппаратура. За двенадцать лет после Ежова они отвыкли арестовывать собственных министров.

Телерадиокомбайн остался так и неустановленным. Арестантам сурово приказали молчать, чтоб никому ни слова, ни полслова.

Но уже в обеденный перерыв мы с Сергеем и Жень-Женем судили и рядили, что может означать этот арест и чего ждать нам: «закручивания или ослабления».

О падении всесильного хозяина органов мы, бесправные зеки, узнали раньше многих членов правительства. В газетах в последующие месяцы и годы ничего об этом не сообщалось.

От вольняг проползли слушки, что он не то упустил какой-то заговор, не то напутал в Югославии и арестован по личному приказу товарища Сталина. Примерно так же говорили комментаторы Би-Би-Си. Но был и другой слух — «параша», рожденная арестантскими мечтами: наказан за перегибы, как раньше Ежов. И значит, должно стать легче.

Прошла неделя, другая, и всех участников разработки той системы секретного телефона, которая оказалась более совершенной, освободили досрочно. Инженеры И. Брыксин, Г. Измайлов, А. Котиков, Л. Файнберг, конструктор С. Проценко, техники Н. Степаненко и Е. Геништа ушли «с вещами» и через несколько дней вернулись на рабочие места уже вольнонаемными сотрудниками.

Тогда стало известно, что указ Президиума Верховного Совета об их досрочном освобождении был подписан еще год назад, но лежал в столе у Абакумова. То ли просто забытым, то ли министр хотел придержать его по каким-то своим расчетам. Один из досрочно освобожденных, Н. Степаненко, который к тому времени отбыл пять лет из восьми (он был осужден по статье 58-3 за то, что при немцах работал в частной радиомастерской), зимой подавал прошение о помиловании. И получил отказ от того же Президиума Вер-

ховного Совета, который несколькими месяцами раньше уже освободил его особым указом.

Радость за товарищей, которые сами себе заработали волю, рождала новые и укрепляла старые надежды.

Но эта отсрочка на целый год — отсрочка исполнения правительственного указа по прихоти или по забывчивости министра! И отказ в помиловании тому, кто давно уже должен был быть на свободе!.. Значит, и там, на самом верху, и в министерстве, и в Верховном Совете те, кто распоряжался нашими судьбами и всей страной, просто равнодушны, хамски равнодушны и к людям, и к законам, и к собственным указам!..

Но может быть, это лишь исключительные, чрезвычайные безобразия? Ведь министра все же арестовали!

Всех зеков созвали в помещение столовой. И новый заместитель Антона Михайловича, майор К., взобравшись на стул, прочитал указ Президиума Верховного Совета о досрочном освобождении и постановление Совета Министров о наградах освобожденным: денежные премии от пяти до пятнадцати тысяч.

Потом на стул влез, покряхтывая, оперуполномоченный, майор Шикин, и прочитал приказ по министерству госбезопасности о наградах работникам спецконтингента нашего института. Премии от 100 до тысячи рублей получили более трехсот зеков. Шарашка в то время насчитывала примерно четыреста заключенных. Из них многие прибыли совсем недавно. Были премированы все работники акустической лаборатории и математической группы, за исключением двух новеньких и меня.

На следующий день капитан М. сказал мне:

— Я слышал, что вам не назначили премии. Но мы вас представили. Список уже давно был подготовлен. Вас тогда представили на максимальную сумму. Антон Михайлович подписал; вычеркнули уже в управлении. Вы же знаете, Фома Фомич был вами недоволен.

После полуторагодичного перерыва мне, наконец, опять разрешили свидание.

Лефортовская тюрьма. Следовательский кабинет. Мама и Надя сидели через столик. Дежурный вертухай на торцевой стороне стола.

— Руки не подавать. Не обниматься и не целоваться. Не положено.

Мама очень постарела, осунулась. Все лицо в морщинах, в складках увядшей кожи. Если бы встретил ее на улице — не узнал бы.

Надя старалась бодриться, улыбаться. Милое усталое лицо. Печальные глаза. Опущенные плечи. Вымученные улыбки.

Они рассказывали о девочках: какие отметки, что читают. Собираются в пионерлагерь. Отец в командировке. Передавали приветы от родственников, от друзей. Тот болен, эта вышла замуж.

— Кончайте. Уже лишних пять минут.

Обнимаю их. Вертухай ворчит, но не слишком ревностно:

— Сказано же было — нельзя. Нарушаете. Хотите, чтоб опять лишили свидания.

На обратном пути в воронке, жуя мамины коржики, я старался думать только о завтрашней работе…

* * *

Летом и осенью 1951 года зачастили оптимистические «параши».

Сулили амнистию либо к 50-летию партии — то есть к 1953 году, либо еще раньше, как только заключат мир с Германией и Японией. И уж во всяком случае к 75-летию Сталина в 1954 году. Но я уже не позволял себе ни мечтать, ни надеяться. Понимал, что буду сидеть «до звонка». А потом в лучшем случае останусь здесь же вольнонаемным, строго засекреченным, то есть по сути крепостным. Но зато буду жить дома с Надей, с дочками. Может быть, нам дадут жилье поближе к шарашке и побольше, чем наша 18-метровая комната — вшестером с моими родителями.

И конечно, буду ходить в театры, на концерты, в музеи… Когда получу отпуск, поеду в Ленинград, пройду по набережным Невы, Фонтанки, по залам Эрмитажа. Или в Киев, — выйду на Владимирскую горку… А в следующий отпуск поеду в Крым купаться в море, а может быть, наконец, и Кавказ увижу; раньше бывал только в Ессентуках и в Кисловодске, откуда в ясную погоду смотрел на сахарно-белые колпачки Эльбруса…

Такими были самые заветные, самые дерзновенные мечты.

Утешал я себя, читая стоиков, китайских и японских мудрецов. Тогда я ничего толком не знал об экзистенциализме. В журналах и газетах писали, что эта новейшая реакционная полуфашистская философия отрицает классовую борьбу, старается «подменять политику этикой», и Фадеев назвал экзистенциалиста Сартра «гиена с пишущей машинкой».

Но десять лет спустя, подобно Журдену, который внезапно узнал, что всю жизнь говорил прозой, я обнаружил, что в тюрьме стал «стихийным экзистенциалистом». Хотя тогда я хотел быть последовательным учеником Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Даже его полуграмотные рассуждения об языковедении не поколебали моего доверия. Более того, я убедил себя, что, дилетантски повторяя некоторые азбучные истины лингвистики, грубо понося Марра, но утверждая бесклассовость-надклассовость языка, Сталин тем самым открывает новые пути для нового движения к творческому развитию марксизма-ленинизма. Его уже не будет стеснять упрощенно-социологизирующий классовый подход. И другим, и себе я доказывал, что эти на первый взгляд случайные, примитивные, в иных частностях даже неправильные высказывания Сталина о языке позволяют по-новому, объективно исследовать историю нации и современные национальные проблемы, которые после войны оказались нежданно-негаданно такими сложными. И явно противоречат всем нашим былым классовым, диалектико-материалистическим представлениям.

…В Корее шла война. Отряды китайских добровольцев поспешили на помощь северянам и теснили войска ООН — американцев,

турок, австралийцев — «объединенные силы международной реакции». Вьетнамские и алжирские повстанцы воевали с французскими колонизаторами. Индонезия и Индия стали независимыми государствами, и там действовали мощные коммунистические партии. В Греции коммунисты дрались, отстаивая горные укрепления.

Только Тито зарвался, самовольничал, упрямо отказывался примириться с нами и с другими братскими партиями.

Внезапная смерть Димитрова, процессы Костова, Райка и других «югославских агентов» в Болгарии, Венгрии, ГДР вызывали невеселые сомнения. Неужели опять то же, что было у нас в 35–38-м годах, когда судили Зиновьева, Бухарина, Пятакова, когда охотились на врагов народа?!

Жень-Жень и Василий Иванович рассуждали примерно так же, как я. Моими постоянными оппонентами были Сергей Куприянов и Семен П., молодой инженер-москвич, сын старого большевика, политкаторжанина, исчезнувшего в 1937 году.

Привезли его к нам вскоре после того, как увезли Солженицына и Панина.

Он закончил МЭИ настолько успешно, что его оставили в аспирантуре, несмотря на плохую анкету; он уже собирался защищать диссертацию о гироскопах. А в 1949 году к нему пришел его бывший сосед по дому и одноклассник, с которым они не виделись после школы. Тот из девятого класса удрал на фронт. Молодой капитан служил в оккупационных войсках в Австрии, получил отпуск и в Москве навещал своих бывших друзей-товарищей, пил с ними, просил найти невесту, рассказывал, расспрашивал.

Семен, говоря о своей будущей диссертации, нарисовал на обрывке бумаги схему гироскопа — такую, как в школьных учебниках физики.

Веселый капитан уехал в Австрию, а через месяц Семена арестовали, и на Лубянке заспанный следователь предъявил ему обвинение в шпионаже.

Оказалось, что бывший одноклассник работал на американскую разведку. Австрийца-инженера, через которого он поддержи-

вал связь с американцами, выследили, нашли у него отчет капитана о поездке в Москву и список людей, которых тот якобы завербовал и авансировал — значились довольно крупные суммы. Среди приложений к отчету был карандашный рисунок схемы гироскопа.

Веселого капитана посадили. Он сперва признался, что завербовал своего школьного товарища и купил у него за наличные чертеж военного прибора. Позднее, на очной ставке, вспомнил, что прямо вербовать не вербовал, а только намекал; убедился в антисоветских настроениях собеседника, был уверен, что тот его понял, поэтому и сделал рисунок важного прибора. Денег он ему действительно дал меньше, чем указал в отчете, кажется, даже вообще не давал наличными, а принес выпивку, харчи и еще какие-то гостинцы; точно не помнит, был тогда сильно хмельным.

Следствие шло быстро. Капитан и его австрийский резидент были, видимо, настоящими шпионами, они «кололись» безоговорочно и услужливо помогали следователям, выполняя и перевыполняя их желания.

Упрямство Семена, который не винился и не каялся, все же не нарушало общий успешный ход «разработки». Он ведь не отрицал, что капитан приходил к нему, приносил коньяк, шнапс, какие-то консервы, что они выпивали, долго разговаривали, рассказывали анекдоты, в том числе и «антисоветские», что говорил гостю и про диссертацию, что гироскопы применяются и на боевых самолетах, и на боевых кораблях…

Он не отрицал факты, а только оспаривал оценки. Следователи были снисходительны. Семена не били. Раза два для острастки посадили в карцер, лишали передач. А потом ОСО приговорило его к 15 годам за «соучастие в шпионаже», и как специалист он прямо с Лубянки попал на шарашку.

Несмотря на молодость, он был спокойно-рассудителен и мягко-насмешлив в идеологических спорах.

— Вы утверждаете, что ваши взгляды научны. Но в действительности это не научное знание, а вера. Другие верят в непорочное зачатие, в обновление икон, в превосходство арийской расы, в ша-

манов, а вы — в диамат… И все верующие ссылаются на «Капитал»… Я учил; скучно было, но казалось убедительным. И Ленина сдавал на «отлично», хотя «Материализм и эмпириокритицизм» — это и скучно, и неубедительно. Больше ругани, чем аргументов. А в «Кратком курсе» уже столько наврано!.. А как врали перед войной про Польшу, про Финляндию!.. И во время войны врали, и после… Нет, уж лучше об этом не спорить. Можете верить — вам так легче, а я предпочитаю вот это…

Он читал книгу Шредингера «В чем смысл жизни».

— Маленькая книжка, но, по-моему, в ней больше толку, чем в многотомных изданиях ваших классиков… А могли бы вы объяснить, почему сейчас так набросились на морганистов-вейсманистов? Ведь биология — наука; в науке аргументируют фактами, экспериментами. Это философы, политэкономы лупят друг друга цитатами, абстрактными формулами. Но когда речь идет об урожаях, о разведении скота, то ведь все можно проверить на опыте. Зачем же разорять институты, закрывать лаборатории, лишать работы ученых? Если они ошибаются, то можно проверить, доказать… Американцы же не идиоты. Если Морган там получает крупные средства, значит, от его науки есть какая-то выгода. Вы же не можете поверить, что американцы дают миллионы на лженауку только для того, чтобы доставлять неприятности советскому академику Лысенко. Или что они разоряют свою биологию, свое сельское хозяйство, надеясь, что у нас будут разоряться по их примеру… А в колорадского жука вы верите? Что его запускают к нам с самолетов и с подводных лодок?.. Муть все это. Давайте лучше послушаем — сегодня Гилельс играет сонаты Бетховена.

Пытаясь убедить и друзей, и себя, я придумывал, казалось бы, убедительные аргументы:

— Мы все едем в одном поезде. Нам с тобой не повезло: сволочи-проводники, дураки-контролеры запихнули нас в арестантский вагон. Могли бы и вовсе под колеса бросить. Нам худо; но нельзя же винить за это машиниста и вообще железную дорогу. Если даже большинство поездной бригады — болваны, негодяи, жулики, —

разве это значит, что плоха станция назначения? Что неправильно проложены пути?.. Таких пассажиров, как мы, — миллионы. Непомерно много! Но других все же куда больше… Правда, и они едут по-разному: кто в роскошных спальных вагонах, а кто и в теплушках… Но все мы движемся в одном направлении, к одной цели — к социализму. И по единственно возможному пути.

Сергей возражал тоже метафорически:

— Никуда мы не движемся. Сидим в говне. Увязли по макушку. А ты доказываешь, что это не говно, а мед…

Впрочем, и он, и Семен были менее радикальными отрицателями, чем Панин. Для них так же, как и для меня, были неоспоримы справедливость Октябрьской революции и величие Ленина. И спорили мы больше о том, насколько глубоко переродилось, разложилось наше общество, есть ли надежды на его исцеление. И чего ждать нам — бесправным государственным рабам.

Не раз вспоминал я тургеневское стихотворение в прозе «Порог» о русской девушке, самозабвенно идущей на гибельный подвиг, о котором никто не узнает. Ей вдогонку звучат два голоса: «Дура!», «Святая!»…

И сочинял в утешенье друзьям и себе:

Пусть наш труд безымянен,
Лишь бы не был бесплоден,
Горд уже тем неизвестный солдат,
Что подвиг без славы вдвойне благороден.

* * *

После того как начались бои в Корее, все напряженней задумывался Жень-Жень. Война на Дальнем Востоке требовала его знаний. Он стал писать заявления в ЦК, на имя Берии, на имя Сталина, настаивая, что должен работать по основной специальности.

Его начальница Евгения Васильевна сочувствовала этим желаниям, советовала писать еще и Маленкову — «он сейчас главный помощник товарища Сталина» — и сама передавала письма.

Когда Жень-Женя наконец отправили, он оставил ей в наследство дружбу со мной.

> Евгения Тимофеевича Тимофеева, мечтавшего о том, чтобы конструировать новые подводные лодки и торпеды для Северной Кореи и Китая, увезли не на другую шарашку, как полагала даже Евгения Васильевна, а в Магадан, Там его, как прибывшего с «особого спецобъекта», направили в особый лагерь. Пьяный начальник встретил этап короткой приветственной речью: «Вы что, фашисты, думаете, зачем сюда приехали?.. Думаете, работать?.. Это правильно, работать будете, вкалывать будете, пока дышите... Но вы думаете, что когда-нибудь отсюда уйдете?.. Хрена вам, фашисты! Вы сюда подыхать приехали. Здесь все подохнете. Так и знайте»... Упрямый Жень-Жень все же добился, чтобы его оттуда перевели в лагпункт при верфи, чинил каботажные суда. В 1956 году мы с ним встретились в Москве, его реабилитировали, восстановили партийный стаж с 1919 года, он работал ведущим инженером до последних дней жизни. Он умер в 1975 году.

Опыты с проволокой продолжались. Мне приходилось бывать в химической, докладывать Евгении Васильевне о результатах прослушивания. И за короткими докладами следовали долгие беседы, иногда весьма доверительные.

Она была так одинока, что своими бабьими горестями и мечтами делилась с приятелем-арестантом. Бывшая оперативница знала, что таким, как Жень-Жень и я, можно доверить больше, чем товарищам, с которыми она состояла в одной партии, в одном «чекистском подразделении».

Когда освободили Гумера, Евгения Васильевна увела его к себе и жаловалась мне:

— Люблю я его, черта четырехглазого. Понимаете, люблю! Ведь не девчонка уже. Разное в жизни испытала; вашего брата — мужиков — должна бы уж хорошо знать. А вот влюбилась, хоть плачь, хоть головой об стенку… Да какая же это радость? Он ведь моложе меня на год, нет, честно говоря, даже на два… Нет-нет, не возражайте, это имеет значение! В первый день он как вышел, бросился ко мне, ну прямо как теленок ласковый… А теперь я вижу — все прошло. Он говорит, что любит, но не может жениться. Потому что родители не позволяют… Они, мол, велят, чтобы он на своей, на татарке, женился. Видали, какой домострой, да еще с буржуазным национализмом… И чтобы я поверила, что он так слушается папумаму! Мужчине без малого сорок лет. Нет, он просто не любит. Разлюбил. И придумывает доводы, такие дурацкие, еще с национальной подкладкой. Да вы не успокаивайте меня, что значит — «любит, но не может», «сыновний долг сильнее любви»… Я моложе была, когда с семьей порвала, ушла в комсомол, в вуз… А девушке такое труднее. Нет, я не из-за любви уходила… Хотя и любовь, конечно, была. Но главное была — идейность… Так вы считаете, что в молодости легче порвать с семьей, с родителями?.. Ну, конечно, какая у нас с ним идейность? Он-то просто после тюрьмы дорвался до бабьего мяса, до ласки в мягкой постели… А я, дура, поверила, что это — любовь, страсть. Ведь он такой красивый, такой приветливый… Растаяла, а теперь мучаюсь. Живем, как на вокзале, — день-ночь, сутки прочь… Жду, пока ему папа с мамой найдут татарочку; и тогда прощай навсегда. Нет, я лучше его сейчас выгоню. Пореву недельку — отвыкну… только бы его, проклятого, больше не встречать, а то каждый взгляд как буравчик в душу…

— …А в Корее наших нет, почти нет. Там все, что нужно, китайцы делают. Их ведь не пересчитать сколько. На десять Корей хватит. Ну, оружие, конечно, мы даем. Но они способные, быстро учатся. А дисциплинка у них, как нигде. Прикажут: иди, прямо хоть в огонь, — не моргнувши идут! С такими солдатами никакие атомные бомбы не страшны. Они лучше корейцев, они вроде как раньше японцы были — самураи. Но те разложились, зажирели. А китай-

цы все века голодали. И к тому же, конечно, высокая идейность. Ничего не боятся…

— …У нас послезавтра политзанятия: «Товарищ Сталин о вопросах языкознания» и какое это имеет значение вообще. У меня тут несколько тезисов. Мы еще в прошлом году с Евгением Тимофеевичем подрабатывали. Но теперь, наверное, есть новые материалы. Вы ведь следите за газетами, за журналами. Вот, возьмите тетрадку, но только осторожно, чтобы ваши наседки не заметили. И дополнения сделайте, на отдельном листке. Завтра опять будем проверять нашу проволоку, принесите. Ладно?

— …А мой-то как себя держит теперь в лаборатории с вами и с другими из спецконтингента? Задается очень?.. Да-да, конечно, он тактичный, воспитанный… Ну, а лишнего он и не должен позволять. Это правильно. А то ведь обратно загреметь куда как легко…

Гумеру я, разумеется, не давал понять, что знаю о его похождениях на воле. Диковинно бывало говорить с ним через час-другой после горестных сетований его подруги.

Он рассказывал, что побывал уже у родителей в Казани, что ему приглянулась там очень-очень славная девушка.

Прошло время; еще на шарашке Гумер показывал статью в газете о Мусе Джалиле — герое, казненном гитлеровцами.

— А ведь на меня следователь орал: «Твой Муса — изменник Родины, гад фашистский! А ты — его пособник. Вас всех вешать надо…»

## *Глава десятая*
# ГОРЕ ОТ ЛЮБВИ

Несколько человек в разное время замечали, как инженер Ч. украдкой жует комочки ваты, смоченные спиртом, которым в лаборатории протирали приборы. Жует и блаженно улыбается. Видели, как он жадно обнюхал бутылочку из-под спирта… Невысокий, узкоплечий, он казался болезненно постаревшим юношей, почти мальчиком. Бледное узкое лицо, бледно-голубые удивленные глаза, бледно-русые волосы жиденькими прядками, бледно-розовые тонкие губы; застенчивая улыбка… Разговаривал он изысканно, старосветски-вежливо. Иным работягам лагерникам казалось — даже подобострастно. Однако работавшие с ним говорили, что он вот так же вежливо противоречит любому начальству. «Тихий, но упрямый. На вид цыпленок, а в работе — орел». Специалисты утверждали, что он отличный радиоинженер: «Один раз глянет на схему и уже в ней как дома».

Сосед по камере в свой день рождения поднес ему полчашки разбавленного одеколона. Ч. сразу же захмелел: смеялся, кудахча и повизгивая:

— Ах, как хорошо! Как прекрасно!.. Спасибо, мои милые, спасибо, родные! А я не решался приобретать одеколон, чтобы не было соблазна. Такая радость, нежданная-негаданная!.. Знаю-знаю, что вредно. Зеленый змий! Из-за него ведь и сюда угодил. Да-да, вот именно из-за водочки. За сладостные минуты и часы расплачиваюсь горькими годами… Нет-нет, что вы! Я на хулиганство не способен. И в детстве был тише воды. Аз есмь кроток, аки агнец.

И водочка мою кротость лишь усугубляет. Одна беда: разговорчив становлюсь безмерно. Вы уж не обессудьте, не посетуйте на болтуна… Нет-нет, и не за болтовню. Да и что бы я мог сказать дурного даже в сильнейшем хмелю?!.. Ведь я воистину советский патриот и разумом, и сердцем. Водочка подвела меня совсем в ином смысле. В таком, что даже поверить трудно… Простите, там на донышке, кажется, есть еще на глоточек?.. Благодарю вас, дорогой мой друг! Безмерно благодарю!.. Да-а, так вот подвела меня она, как бы это выразить поточнее, будучи и катализатором, и проявителем моих чувств — искренних сокровенных чувств, но в неподходящих условиях… Да-да , любовь, именно любовь. Но только не такая, как вы, кажется, предполагаете, — не романтическая, не адюльтер, не ревность… Нет-нет — чистая патриотическая любовь к товарищу Сталину!.. Да-да, это звучит парадоксально, представляется неправдоподобным… Но клянусь, это чистейшая правда. Я попал в тюрьму за то, что — как бы это сказать — слишком люблю товарища Сталина, за то, что проявлял свою любовь в неположенных формах и… неуместно. Вот именно — неуместно… А в этом как раз и повинна водочка. Зеленый змий!.. Стоит мне выпить, и я уже не могу сдержать чувств. Вот как сейчас…

Он говорил, кротко улыбаясь, не замечая насмешливых взглядов, не слыша злых голосов: «Что он — псих или сука?»… «Хлебнул на копейку, а выгребывается на рубль, пидер верноподданный!»… «Чего ты свистишь, фрей небитый! Если кто дунет, что ты здесь одеколон сосал, тебе и Сталин не поможет».

— Товарища Сталина я люблю с детства. Уже школьником, можно сказать, его боготворил. Читал, видел в кино, слушал по радио и лично видел три раза — на демонстрации. Он стоял на Мавзолее — улыбался, махал нам. В годы войны все его речи, все приказы читал-перечитывал от слова до слова. Я тогда студентом был. Просился на фронт — не пустили. И здоровье никудышное, и близорукость минус двенадцать. И радиоинженеры нужны. Я тогда полюбил его еще сильнее. Ведь это он спас Москву, спас Россию и весь мир. Люблю его, как родного отца. Нет, пожалуй, больше…

С моим покойным батюшкой у нас были сложные отношения. Он в свое время крепко выпивал и, случалось, бил и меня, и даже маму. Хотя интеллигент был. Чистейшей души — бессребреник. А когда и я с водочкой познакомился, он меня больше всех корил, ругательски ругал. Любил я его, конечно, любил и уважал, но видел теневые стороны. А товарищ Сталин — свет без тени, чистый свет мудрости и добра! И так за него иногда тревожно — что не жалеет он себя, не бережет. Он-то ведь один, а врагов не счесть… Выпьешь, вот как сейчас, и вдруг страх возьмет, прямо за горло хватает: вот я тут жизни радуюсь, прохлаждаюсь, а он там в Кремле, неутомимый, неустанный, сил своих не щадит, за все, за всех душой болеет. И может быть, в этот миг враги к нему подбираются, и уж конечно где-то орудуют заговорщики, тайные злоумышленники… Года два назад, в компании друзей, вот так же разговорились, — выпили изрядно, и — верьте, не помню даже, как именно, — оказался я на Красной площади… Потом уже мне рассказывали, что стучал в Спасские ворота, плакал и просил пустить к товарищу Сталину, хочу сказать ему, как люблю, как тревожусь. И слезно упрашивал солдат, чтобы лучше его оберегали… Они забрали меня в свою караулку в башне. Наутро проснулся — ничего не помню и не пойму, где нахожусь… Они проверили документы, позвонили ко мне на работу. Потом пришел полковник — серьезный такой, корректный. Расспрашивал обстоятельно, кто, откуда. Никаких протоколов, только его адъютант что-то записывал. Под конец он пожурил меня строго — не годится и даже непристойно среди ночи пьяным пробиваться в Кремль… Да ведь я и сам понимал. Стыдно было так, что и слов не найти. Извинился. Обещал…

Но прошло несколько месяцев, и приключилось то же самое. И опять я себя не помнил… Проснулся в милиции — в районном отделении по месту жительства. Паспорт с собой был. Милицейские начальники разговаривали уже не слишком любезно. Грозили отдать под суд, лишить прописки, выселить из Москвы… И на работе были неприятности. Вызывали в спецчасть, в отдел кадров, на заседание месткома… Но что я мог им сказать, кроме того, что люб-

лю товарища Сталина всей душой… А как известно, что у трезвого на уме, то пьяный и выбалтывает. Разумеется, я признавал недопустимость своего поведения, каялся — искренне каялся… Но прошло еще меньше времени… В октябрьские праздники продрог я на демонстрации. Охрип, — мы много пели, «ура» кричали. Весело было. Дружно. Зашел потом к приятелю погреться. Твердо решил, приказывал себе: две стопочки, не больше. И помню хорошо — хотел сразу же домой ехать. Но в метро не пустили — заметили, что под хмельком… А что дальше было, не помню. И проснулся уже в боксе — на Малой Лубянке…

Все это я слышал от Ч. несколько раз. Стоило ему в тихий вечер или в праздники потешить себя глотком спиртного, и он начинал рассказывать все то же и едва ли не теми же словами и с теми же интонациями. И так же влажно поблескивали испуганно расширенные бледные зрачки. И каждый раз в этом месте все окружавшие его — и те, кто уже знал всю историю, и те, кто впервые слушал, — смеялись… Одни смеялись презрительно или злорадно, другие — жалостливо, сочувственно, однако все с известным облегчением — наконец-то!.. И каждый раз он при этом запинался испуганно, недоуменно, а потом тоже посмеивался. И продолжал говорить о том же и так же:

— Да-да, на Лубянке. Там повели следствие. Сказали, что я опять пришел на Красную площадь, опять приставал к часовым… И предъявили обвинение… Вы никогда бы не догадались какое. В террористических намерениях. Представляете?!.. Ведь это даже подумать страшно и дико нелепо. Но следователь требовал, чтобы я назвал подстрекателей, соучастников… Сначала допрашивал старший лейтенант, молодой, совершенно невоспитанный, грубый… Ударил меня по лицу… Несколько раз… Ну, и в карцер сажал… Но не мог же я лгать!.. Не мог отречься от себя… Не мог оклеветать других людей… Другой следователь — капитан, постарше, более отесанный и с такими вкрадчивыми манерами. Но мучил едва ли не хуже… Достанет из сейфа бутылку водки или коньяка, нальет стакан и улыбается: «Подпиши — угощу…» У меня спазмы

начинались в горле, в груди и вот здесь, в желудке… Один раз даже сознание потерял. Но все же не уступил этим домоганиям. В последний раз он объявил мне: «Следствие закончено, и хотя вы запирались, обвинение остается в силе. Решать будет суд». Я сказал: ваши страшные обвинения — самое большое горе всей моей жизни… А он с этакой мефистофельской улыбочкой: «Ну, что ж, бывало горе от ума, а у вас получается горе от… любви»… Никакого суда не было; увезли меня в Бутырки, и через две недели вызвал офицер, — кажется, дежурный по тюрьме, — и показал бумажку — решение какого-то особого совещания: «Осужден на восемь лет по статье 58 пункт 8 через 17-й», это значит: за террор, но неосуществленный, за намерение… Вот какое безумие! Вы смеетесь, а мне больно. В иные минуты, кажется, нестерпимо больно. Легче бы умереть… Да-да, разумеется, жаловался. Писал и Генеральному прокурору, и на имя товарища Сталина… Ему, конечно, не доставляют. Получаю стандартные ответы: «Нет оснований для пересмотра».

Ах, если бы только он узнал правду! Если б узнал, какие у нас еще бывают несправедливости. Но от него скрывают… И я думаю, что это правильно, что скрывают. Его надо беречь. Свято беречь его время, его душевные силы. Нельзя его расстраивать, огорчать отдельными безобразиями. Ведь на нем вся держава, весь мир.

Ч. вызывал у меня жалость, сочувствие, но и досаду и раздражение. Нелепая история его «дела», его хмельная экзальтация пародировали мою судьбу и мою упрямую партийность.

Возбужденно придыхая, судорожно поглатывая, — вот-вот заплачет, — говорил он о своей великой любви, о мудром вожде человечества, чуждом всякой скверны.

Мой друг Сергей брезгливо отстранялся от него.

— Дерьмо всмятку! Не мужчина, а слезливое, сопливое междометие. Да еще и дурак. Верит, будто Сталин ничего не знает. А ты не придуривайся. Ты что, не соображаешь: конечно же, Сталину докладывали об этом психе. И конечно, это он сам все решал… Откуда я знаю? А ты шевельни хоть одной мозговой извилиной, и сам поймешь: как его зовут? Чей он родственник?

Ч. был племянником, однофамильцем и тезкой известного деятеля искусств, которого тогда в очередной раз поносили за безыдейность и формализм.

— Дядюшку не посадили. О нем весь мир знает. Он — экспортный товар. Его в помоях искупали, высекли, в глаза наплевали, но этого мало. Надо еще и припугнуть, чтобы не вздумал трепыхнуться. Чего доброго, не забыл покаяться. Вот тут-то племянник в самый раз и подвернулся. Он мало сказать невинный, он же верноподданный, как юный пионер; он за любимого вождя и в пекло, и в жопу залезет. Но именно его-то и посадили и засудили. И это уж, конечно, с ведома главного хозяина. Скорее всего, именно по его приказу. Намек знаменитому дяде. Настоящая сталинская шуточка.

## *Глава одиннадцатая*
# КОНЕЦ ЭПОХИ

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит…

*Анна Ахматова*

Евгения Васильевна рассказывала:

— Наш новый министр Игнатьев раньше командовал личной охраной товарища Сталина. Часто обедал-ужинал за одним столом с товарищем Сталиным. Понимает его с полуслова… Сейчас главное звено — разведка-контрразведка. Югославы обнаглели; уже окончательно снюхались с американцами. Засылают свою агентуру и в Польшу, и в Венгрию, и в Румынию. Надо принимать решительные меры. Министерство берет новый боевой курс. А наш институт передают непосредственно ЦК. Там создано особое Управление секретной связи. Будем подчиняться лично товарищу Берия или товарищу Маленкову. Будет новый начальник. Антон Михайлович — очень ученый инженер, но все-таки беспартийный. А наш институт — главный объект нового управления; объект особой важности! Теперь всем придется подтянуться. Новая метла… А то ведь кое-кто порядком размагнитился. Все по-семейному, по-свойски. И офицеров, и спецконтингент будут подтягивать. Так что и вы держите ухо востро…

Начальником шарашки стал подполковник Наумов — не инженер и не научный работник, просто подполковник. Говорили, что он «выдвинулся на оперативной работе».

Антон Михайлович остался его помощником по научной части и начальником акустической лаборатории. Но его назначили еще и научным руководителем всего управления, и поэтому он бывал у нас не чаще, чем раньше. Акустической по-прежнему заправлял тишайший, вежливый капитан Василий Николаевич.

Наумов редко заходил в лаборатории и мастерские, а заходя, словно бы и не замечал арестантов. Коренастый, круглоголовый, короткошеий, с правильными чертами располневшего лица, с тусклым холодным взглядом из-под темно-русого, тщательно расчесанного «полубокса», он никогда не улыбался, разговаривал негромко, неторопливо, бесстрастно.

В первые же дни он издал несколько приказов «по укреплению дисциплины и наведению строгого порядка».

Василий Николаевич, не поднимая глаз от бумажки, сухо, коротко изложил новые правила работы. Впредь никто из спецконтингента не должен иметь доступа к шкафам с секретной документацией и приборам. Даже свои рабочие книги мы сами уже не могли туда класть. Только через офицеров. Каждый из нас прикреплялся к одному из вольнонаемных, и отныне тот считался ответственным за все, что делал «прикрепленный». Раньше все тексты научных консультаций, докладных записок, технических проектов и др., которые составлялись заключенными, подписывали авторы: инженер или кандидат наук такой-то, затем уже следовали подписи начальников рабочей группы, лаборатории, института. Так были подписаны наши отчеты об исследованиях слогового состава русской речи, доклады Солженицына об артикуляционных испытаниях, мои отчеты о фоноскопических экспериментах и т. п. Некоторые зеки получали изобретательские свидетельства из БРИЗа и могли рассчитывать на премии в будущем.

По приказу Наумова впредь заключенные не должны были ничего подписывать, не могли числиться ни авторами, ни соавторами. В документах института никакие упоминания о работе спецконтингента больше не допускались.

Мы перестали существовать.

Другой приказ предписывал немедленно убрать из всех лабораторий и жилых помещений самодельные телевизоры. Только в вакуумной лаборатории, где изготовлялись телевизионные трубки, оставлялись по необходимости два прибора для испытания и проверки трубок, но строжайше запрещалось «использовать их для иных целей, чем техническая проверка».

Приказы вызвали растерянность, страх, озлобление, отчаяние. Наши телевизоры были сработаны в неурочные часы из отходов или выбракованных деталей. Теперь их должны были забрать себе начальники… Кое-кто уже готовился покорно отдавать. Но у других гнев был сильнее страха.

— Хрена они, гады, попользуются нашим добром.

Приказ гласил «демонтировать». И телевизоры начали так стремительно разбирать, что в спешке многое ломалось и терялось.

Мы с Сергеем Куприяновым пытались отстоять право на «культурный отдых».

Антон Михайлович нетерпеливо слушал наши убедительные речи.

— Понимаю-понимаю… Но это не мое распоряжение, и я отменить его не могу. Так что уж не расходуйте понапрасну красноречие… И помочь вам ничем не могу… Не могу! И объяснять ничего не буду. Приказ подписан начальником института. Вы хотите обратиться к нему? Не советую. Зато настойчиво советую успокоиться. Да-с, успокоиться. Нервная энергия нужна и для работы, и для жизни. Вчера вы работали в одних условиях, сегодня приходится в других. Завтра они опять могут измениться. В немалой степени это зависит от вас самих, будут ли изменения к лучшему или к худшему. Но работать необходимо при всех обстоятельствах. На этой бодрой ноте я кончаю бесплодную дискуссию… Сергей Григорьевич, покажите, что вы там придумали для нового анализатора. А вы, Лев Зиновьевич, извольте проартикулировать сегодня в трех режимах то, что настряпали наши соседи. И потом исследуйте спектрограммы — в каких полосах наихудшие шумы…

Кто шепотом, кто вслух честил дурацкие приказы:

— От них же только вред. Хуже будет для работы. Охреновели гады, плюют нам в морды и хотят, чтобы мы после этого старались… Болван Наумов — Недоумов…

Мы с Сергеем решили вдвоем пойти к новому начальнику.

Бывший кабинет Антона Михайловича словно бы потемнел, посерел и стал пустынно просторен: убрали книжный шкаф, сменили портьеры.

Подполковник едва приподнял голову над раскрытой папкой:

— В чем дело?

Вытянувшись по стойке «смирно» (ведь он все же офицер, должен оценить выправку и повадку), я стал рапортовать:

— Мы просим разрешения оставить хоть часть самодельных телевизоров в юртах. Поскольку они позволяют культурно заполнять часы отдыха. И это содействует повышению творческой энергии инженеров, научных работников.

— А кто разрешил устанавливать эти телевизоры?

— Не помню, кто персонально, однако это было известно руководству института и тюрьмы.

Сергей включился, дополняя мой «воинский» официальный рапорт доверительным рассказом простодушного работяги:

— Да ведь они все состряпали из отходов, из мусора, как говорится, на соплях. Но при этом люди тренировались, экспериментировали, проверяли и серьезные технические замыслы… Это, так сказать, черновики… Пристрелочные опыты…

— Это ценные приборы. Израсходованы материалы, принадлежащие государственному объекту. Это можно расценивать как хищение. И делали в рабочее время. Значит, грубо нарушали дисциплину. Я проявил снисходительность, не вел следствия, не привлекал виновных. Только приказал изъять незаконные, неположенные телевизоры. И приказ должен быть выполнен.

— Гражданин начальник, мы просим в виде исключения. Раньше у нас бывали киносеансы. А теперь это единственный вид отдыха и вместе с тем культурно-идеологического воспитания.

Сергей подхватил:

— Ведь вы же знаете, как мы тут работаем. По 14–16 часов, не за страх, за совесть, изобретаем, придумываем, есть крупные достижения. Большинство получили награды и премии.

— Кто вам разрешил ко мне обращаться? — Он спрашивал, не повышая голоса, глядя мимо нас.

— А мы всегда обращались прямо к начальнику.

— Потому что забыли, где находитесь, кем являетесь. Впредь этого не будет. Обращаться можете только к непосредственным начальникам. И только по работе. Вопросы быта, содержания решает администрация охраны. Сейчас допущено грубое нарушение. Для первого раза объявляю устный выговор. Впредь буду строго наказывать. Идите.

На лестнице мы закурили. У Сергея дрожали пальцы.

— Ну, и гад, мать его в червивую душонку… Ты видел глаза? Не человечьи — жабьи. Такому бы в подвале с наганом расстреливать, а он руководит научной работой.

— Мешок холодного говна!

Оставалось только сочинять злые стишки и в них давать волю бессильному гневу.

Настала сокрушительная власть
Тупого и угрюмого
Подонка Недоумова.
Над нами покуражился он всласть.

* * *

Через несколько дней во всех лабораториях начали изымать «неинвентаризованные приборы и неправильно оформленные секретные документы». Предстояло обследование какой-то особо важной правительственной комиссией. Приборы и документы, ранее не

включенные в ту инвентаризационную опись, которая была приложена к официальному акту передачи шарашки от МГБ управлению ЦК, подлежали уничтожению…

Всеволод Р., инженер-вакуумщик, иронический одессит, неутомимый рассказчик похабных анекдотов и почитатель румынской монархии (в годы оккупации он работал в Бухаресте), говорил растерянно, испуганно:

— Слушайте, они же ж с ума посходили! У нас был цейсовский микроскоп, двухокулярный. Уникальный экземпляр! Сделанный по особому заказу фирмы «Филипс». Перед войной стоил семьдесят тысяч марок — настоящих, золотых. Так его приказали уничтожить и в яму. Видели, там, за котельной, у свалки выкопали яму? Это для приборов, для деталей. А все документы, чертежи, схемы, патенты, подробные описания технологии, — сотни, тысячи папок, — все в топку! Американцы или англичане дали бы за них чистые миллионы. Мы думали хоть микроскоп на будущее сберечь; упаковали в вату, в ящик и понесли в яму… А там стоит майор Шикин и два жлоба — работяги из механического с ломами и кувалдами… Он увидел ящик: «Это еще что такое? Кто придумал? Саботаж приказа командования?» И велел кувалдами бить вдребезги! Я хотел объяснить, так он еще грозил посадить в карцер… Вы бы видели, что в те ямы накидали! Ценнейшую измерительную аппаратуру. Филипсовские приборы! А сколько наших незаконченных разработок — целые панели… И все сначала кувалдами, ломами. Чтобы никто не вздумал выкопать. Верите ли, я чуть не заплакал, как баба. Это ж какое-то буйное сумасшествие… Кто говорит — вредительство? Ну, нет, если бы вредители, так они бы с хитростью старались. А тут какой-то псих командует…

В те дни я узнал, что в топки брошены все материалы моих фоноскопических работ — тысячи звуковидов, сотни листов — описания, вычисления, схемы… Они были «неправильно засекречены» и подлежали замене актами об уничтожении.

Оставались только записи в рабочих книгах.

Жалким утешением было то, что мне самому не пришлось участвовать в разгроме. В моем рабочем архиве «наводила порядок» — то есть отбирала материал для уничтожения и подписывала акты — младший техник-лейтенант Валентина Ивановна П. Она стала числиться автором всего, что я раньше делал, и всех будущих моих работ.

Пригожая, темно-русая толстушка, сероглазая с мохнатыми ресницами, абрикосовым пушком на щеках, с родинкой у пухлой нижней губы, она глядела печально-сочувственно и, когда никого не было вблизи, шептала:

— Ах, как я вас понимаю. Так жаль, так жаль… Ведь это ваши работы! Вы, наверно, надеялись — они помогут вам досрочно выйти?.. Это так обидно… Но что поделаешь. Приказ. Подполковник Наумов очень строгий начальник. Он еженедельно докладывает лично Лаврентию Павловичу… Вы же знаете, ведь вы, кажется, были военным, — приказ!.. А сегодня вы позанимаетесь со мной английским? Через месяц я должна сдавать минимум по языку. Так трудно! И еще Василий Николаевич сказал, что вы мне поможете написать заявку насчет диссертации… А то я еще тему не выбрала…

Антон Михайлович в эти дни был хмур. Улучив минутку, я все же попытался заговорить с ним о материалах по фоноскопии. Используя старые рабочие книги, я мог бы попытаться повторить исследования, восстановить хотя бы часть сделанного, — ведь это же работы, необходимые для основной темы института; без них нельзя добиться воспроизведения индивидуальных особенностей голоса после сверхнадежной «импульсной» шифрации.

Он сердито морщился:

— Все это я уже слышал. Неоднократно. Больше слышать не хочу. Приказов я не обсуждаю. Понятно? У вас есть точно очерченный круг задач. Вы обязаны прежде всего исследовать разборчивость, а затем условия восстановления голоса в каждом конкретном случае… Вам, кажется, не нужно объяснять, что наш объект принадлежит не Академии наук. Условия работы сейчас изменились; это вы

обязаны понимать. Поэтому я советую и приказываю, — заметьте, я мог бы приказать, но я сначала советую, — прекратить разговоры.. Они бесполезны. Подчеркиваю: все эти разговоры, ахи, охи, жалобы и стенания — абсолютно бесполезны и даже вредны, прежде всего для вас. Работайте. До свиданья.

И все же мы с Сергеем написали в ЦК партии. Сергей — о варварском уничтожении приборов, а я — о нелепом и, в конечном счете, вредном обезличивании творческой роли заключенных, об истреблении материалов по фоноскопии.

Зная о традиционных противоречиях между начальством тюрьмы и шарашки, мы решили послать письма через тюрьму.

* * *

Оперуполномоченным тюрьмы после добряка Шевченко стал полковник Мишин — сытый, наглый франт. Он щеголял в ладно скроенных мундирах, наряжаясь то летчиком, то танкистом, то артиллеристом, — офицеры органов носили знаки самых разных родов оружия, то ли для пущей секретности, то ли чтобы не пугать жителей столицы нарастающим обилием чекистских кадров. Два-три раза в месяц он выдавал нам письма, переводы, бандероли. Списки вызываемых за почтой оглашались на поверке или вывешивались у юрты медпункта.

При этом он вербовал стукачей. В первый раз он уговаривал меня едва ли не ласково. Он знает, что я — советский патриот, а ему так нужна точная, добросовестная информация. Но и в этот, и в следующий раз я говорил ему то же, что раньше Шикину и другим его коллегам в подобных случаях: если я узнаю о чем-либо опасном для объекта, для государства, то, разумеется, немедленно подам сигнал тревоги, но не хочу, не могу и не буду подслушивать, подглядывать, подделываться к тем, кто высказывает чуждые мне взгляды. А доносить о спорах, о разговорах я считаю и недостойным, и просто ненужным. Ведь какие бы слова ни говорились в тюрьме, от них

не может быть опасности государству, любой говорун уже наказан, уже в заключении…

— Вот этот ваш разговор уже есть антисоветский… Можно расценить как агитацию против бдительности.

— Простите, гражданин подполковник, но кто может поверить, что заключенный вел антисоветскую агитацию наедине с офицером госбезопасности, оперативным работником такого ранга?

Он помолчал, ухмыляясь и таращась, — тренируя железный дзержинский взгляд. Но я знал противоядие — спокойно глядеть в переносицу, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, далеком.

— Идите!..

На утренней поверке дежурный объявил, что впредь разрешается писать только ближайшим прямым родственникам — родителям, жене, детям или братьям, сестрам. И мы сегодня же должны были представить оперуполномоченному списки адресатов, точно указав возраст и место рождения.

Список я принес, но не помнил точно название того поселка в Донбассе, где родилась Надя, — Александров, Александровск, Александровка или Александрия — и не знал, как он называется теперь.

Мишин проглядел список и посмотрел на меня почти весело.

— Этого не приму, это филькина грамота. Как же это вы женились и не знали на ком, где родилась.

— Чтобы узнать человека, не нужно изучать его паспорт.

— Так что же, вы себе жену в бардаке нашли?

— Гражданин подполковник, вы не имеете права оскорблять моих близких. Я настаиваю, чтобы вы взяли свои слова обратно!

— Еще чего!

Он встал из-за стола и ухмылялся уже по-иному, злорадно: ага, поймал за живое!

— Вы что это себе позволяете? Я вас спрашиваю, и вы обязаны отвечать. Я спрашиваю, в каком бардаке вы женились, что не знаете происхождения…

— Видимо, это вы привыкли иметь дело с теми, кто женится в бардаках… Пока вы не извинитесь, я не приду к вам ни на какие вызовы, ни за письмами… Можете притащить силой… Но все равно — разговаривать не буду…

— Эт-та что значит?

Но я уже не видел его, не слышал. Ощущая, как деревенеет затылок от холодного бешенства, боясь взорваться, я круто повернулся и выбежал из кабинета.

В коридоре стояла обычная очередь получателей писем. Некоторые потом рассказывали то, чего я не помнил:

— …проскочил бледный, глаза дикие, бормочет: «Не позволю… не позволю…» Мы уже думали — запсиховал, получил дурное известие и тронулся…

В тот же день я подал заявление начальнику тюрьмы. Тогда в этой должности был флегматичный подполковник, судя по ленточкам и нашивкам за ранения — фронтовик. У Мишина была одна куцая полоска из двух ленточек — явно тыловые награды.

Начальник вызвал меня:

— Что вы там придумали? Что еще за обиды?

И, терпеливо выслушав мои объяснения, заговорил спокойно, мне показалось, даже сочувственно:

— Ну, подполковник сказал, быть может, не так. Зачем же сразу на принцип давить, обижаться? Вы ж не одной компании… Это на дружков-приятелей обижаются. А вы пишете, чтоб подполковник извинился… Так не бывало. Не хотите разговаривать? Даже свои письма получать?.. Это ж как-то, знаете, несерьезно, по-детски… Может, вы теперь и на меня обидитесь?

— Советские законы и в уголовном кодексе, и в уголовно-процессуальном точно предписывают — нельзя унижать человеческое достоинство. Даже злейших преступников нельзя мучить или оскорблять… Подполковник нарушил закон. Пока он передо мной не извинится, я не буду с ним разговаривать, ни сам к нему обращаться, ни отвечать на его вопросы.

— Это значит — вы хотите не исполнять, нарушать приказания, сопротивляться начальству. Вы что ж, не понимаете, что это значит?

— Понимаю, что ничего не нарушал и нарушать не собираюсь. Порядок я соблюдаю, работаю добросовестно. Но просто не буду разговаривать с тем начальником, который меня грубо оскорбил. Пока он не извинится.

— Значит, не пойдете за почтой, не будете посылать писем? Мы ж для вас исключение делать не будем. Ну, что ж, значит, сами себя наказываете. И своих родственников. Они ж беспокоиться будут.

…Больше двух месяцев я не ходил за почтой и сам не писал. Гумер позвонил моим родным, сказал, что я здоров, благополучен, но пока не буду переписываться. Однако передачи носить можно. (Передачи нам привозил завхоз.)

Потом Мишин ушел в отпуск, и почту стал выдавать и принимать сам начальник. Я сразу получил большую пачку писем от Нади, от родителей, от Инны Левидовой и несколько пакетов книг. Среди них был учебник китайского языка, брошюры — речи Сталина, переведенные на китайский, и словари — турецкий, монгольский и др.

Начальник спрашивал, сколько есть иероглифов, трудно ли их выучить, какие языки я знаю, спрашивал и поглядывал с любопытством, явно доброжелательным. В следующий раз он спросил, много ли еще иероглифов я выучил, и я нарисовал ему некоторые, наиболее легко толкуемые.

Он поглядывал едва ли не с уважением.

А на третий раз, войдя в его кабинет, я увидел рядом с ним Мишина, загорелого, в новеньком френче с погонами летчика.

— А, вот он, обидчивый. Чуть на дуэль меня не вызвал. Такой фон-барон… Ну, что, все еще на меня дуетесь?

— Гражданин начальник, — я говорил, глядя между ними, — я не могу добавить ничего к тому, что уже сказал. Гражданин подполковник оскорбил моих близких, и пока он не извинится…

— Ну, ладно, ладно… Ну, я признаю, что не так выразился, что погорячился. Нервы ж у меня тоже не железные… Ну, вот при начальнике признаю. Так что будем считать, что с этим вопросом покончено. Согласны?

— В таком случае — да.

С тех пор и уже до конца Мишин был со мной вежлив, даже приветлив. Больше не пытался вербовать, но, выдавая письмо, иногда заговаривал:

— Как там у вас теперь, дисциплину здорово подтягивают?.. Телевизоры, значит, накрылись… Ну, мы постараемся, чтоб опять кино показывать раза два в месяц… Вот вы скажите, почему это евреи так против советской власти? А ведь кто им все права дал? Кто их на все посты поставил? И наоборот, говорят, вы с немцами дружите… А это они убивали евреев, они все ведь фашисты. Я имею данные, они и сейчас за Гитлера… А корейский язык вы знаете? Он похож на китайский? Интересно, как они там на фронтах договариваются, корейцы с китайцами? Переводчики у них, наверное, наши… Вы питанием довольны? А ларьком? Если есть какие замечания, не стесняйтесь. Наша задача — чтоб во всем был порядок.

Его нарочито простецким разговорам и широким улыбкам я противопоставлял все ту же стойку «смирно». А если он предлагал садиться, то и сидел, как некогда передо мной пленные немецкие солдаты: в положении «смирно» — колени вместе, спина прямая, обе руки на коленях. И отвечал вежливо, но коротко, четко и неопределенно: «Да, порядок…», «Так же, как раньше», «Не помню, не знаю…», «Ничего такого не замечал… В каждой нации есть разные люди, каких больше, каких меньше — не знаю и не слыхал, чтобы подсчитывали… Вполне доволен… Замечаний не имею… про других не знаю».

Он хмурился, гася улыбку, кивал: «Можете идти», но больше не хамил.

Сергей и я, перебелив письма, адресованные в ЦК, пошли к Мишину вдвоем. Разговаривать с ним наедине по поводу этих писем было опасно.

Он посмотрел настороженно:

— Почему вместе? Заходите по одному.

— Гражданин подполковник, у нас одно дело.

— Это что ж, коллективка? Не положено! Коллективка строго наказывается.

— Никак нет, гражданин подполковник. У каждого из нас отдельное письмо. Но адресат один и тот же — Центральный Комитет. И дело одно — государственной важности. Просим отправить особо секретной почтой. Вот.

— Почему конверт заклеен? Не положено.

— В высшие правительственные и партийные органы можно посылать и заклеенные… Такой пункт имеется в правилах.

— А где копии?

— Никаких копий, ни черновиков не осталось. Письма совершенно секретные. Особой государственной важности.

— Жалуетесь на новое начальство?

— Личные жалобы мы никогда бы не стали объявлять секретными государственными делами. Вы же знаете нас не первый день.

— Да уж, знаю, знаю. А почему вы не передали через начальство объекта? Через майора Шикина, как положено по дистанции?

— По соображениям опять-таки государственным, а не личным. Проще сказать: больше доверяем вам. Но содержание данных писем не вправе излагать даже вам.

Он поглядел, насупившись, на конверты, повертел их.

— Ладно!

Не прошло и двух недель, как Сергея и меня по очереди вызвал майор Шикин.

В его кабинете сидел некто моложавый, в штатском, но с офицерской выправкой.

— Я инструктор Центрального Комитета. Вы писали это письмо?

Он расспрашивал деловито, заинтересованно, толково. Записывал все ответы. Когда речь зашла о фоноскопических экспертизах, я сказал, что не могу рассказывать о конкретных подроб-

ностях, так как дал крайне строгую подписку. Но в министерстве конечно же сохранились материалы двух фоноскопических экспертиз, из которых одна была безоговорочно успешной, а другая вызвала серьезные сомнения, но я сейчас убежден, что фоноскопия — вполне реальное, государственно важное дело, а здесь уничтожены результаты многомесячных серьезных исследований. Это тяжелая потеря, и ее необходимо восстановить возможно скорее.

Шикин при наших разговорах не присутствовал, но в коридоре остановил Сергея и сказал:

— Жалуетесь? Это он вас научил? Что значит «сам»? Тогда выходит, вы зачинщик? А почему не обратились как следует, ко мне? Ну, теперь мы это выясним, почему только вы двое стараетесь подрывать авторитет руководства.

Меня он вызвал на следующий день и говорил то же самое, а потом сказал, что моя просьба об очередном свидании не может быть удовлетворена:

— Поскольку вы опять допустили нарушение… Это вы так воображаете, а я говорю — нарушение… Распустились тут. Много о себе понимать начали. Забываете, кто вы есть и где находитесь. Но мы еще разберемся. Очень серьезно будем разбираться.

Тошнотворный холодок за ребрами. И какого черта я полез с тем письмом? Теперь пошлют на Воркуту или в Магадан. А ведь еще почти три года. В шахте, в лесу — не выживу. И этот хмырь — писарь из ЦК — не поможет.

Сергей бодрился, но и ему было не по себе.

— Да, брат, кажется, мы сами себе веревку намылили. Жаловался мужик царю на воеводу… Воеводе еще неизвестно, что будет, а мужика уже повесили.

Антон Михайлович пришел сдержанный, но, казалось, не сердился. Долго разговаривал с капитаном, с Гумером, подошел к стойкам. Сергей из будки читал вслух газету, а он сидел с наушниками. Разработчики меняли, переставляли панели.

Потом он подозвал меня:

— Вы, говорят, вступили в какую-то переписку с правительством. Не вняли моим советам. Весьма сожалею. Вы явно переоцениваете свои возможности. И переоцениваете мое доброе отношение. А мне, признаюсь, надоело заступаться, выручать, хлопотать, доказывать, что ваши научно-технические достоинства уравновешивают все ваши пороки и прегрешения. Надоело. И просто устал. Понятно?.. Всего наилучшего.

…Не помню, сколько длилось тревожное ожидание. Дни тянулись медленнее недель… И вдруг — радость. Сперва Гумер, а потом Евгения Васильевна рассказали, что майор Шикин, от которого исходили все угрозы, больше не опасен.

И своенравный барин Антон Михайлович, и бесстрастный деляга Константин Федорович, и все другие инженер-подполковники, инженер-майоры и капитаны достаточно хорошо знали, как мы работаем, они умели обращать наши способности на пользу делу и самим себе. Новый начальник Наумов ущемлял нас тупо и равнодушно, не различая отдельных лиц. Мы все — пресловутый спецконтингент — были для него безликой толпой низших существ, которых следовало использовать.

А Шикин и впрямь верил, что мы все или почти все — враги, что от любого из нас можно ждать пакостей и злодеяний. Себя он, должно быть, воображал этаким укротителем хищников, который, действуя то кнутом, то подачками, заставляет опасных зверей служить государству…

Он был совершенным образцом чекистского оперативника, выращенного в 30–40-е годы, — невежественный[6], подозрительный («революционная бдительность»), жестокий, уверенный, что никому ни в чем нельзя доверять. И лучше десять раз перегнуть, чем

[6] Однажды он позвонил мне в лабораторию: «Какие вы знаете иностранные языки? А австрийский язык тоже знаете?» Едва не фыркнув, я отвечал вполне правдоподобно — понимаю некоторые австрийские наречия, например, венское, штирийское, «Ну так идите ко мне, тут один австриец просит, чтобы именно вы переводили…»

один раз недогнуть. То и дело он разоблачал чьи-то происки, готовившиеся или уже свершенные преступления.

…Несколько зеков и вольняг переносили старый токарный станок с верхнего этажа в подвал. На узкой лестнице тащили с трудом. Раза два оступались. Потом кто-то обнаружил в станине трещину. Шикин завел дело о вредительстве. Следствие тянулось месяца три. Антон Михайлович отстоял двух участников переноски — отличных инженеров. Благодаря ему обошлось без суда. Другие носильщики отделались многосуточным карцером и отправкой в режимные лагеря. Кого-то из вольных отчислили.

…Среди немцев, работавших на шарашке, был пожилой профессор химии. Он родился в Петербурге, учился в русской гимназии, уехал в Германию в начале 20-х годов. Он навлек на себя охотничье внимание Шикина тем, что свободно говорил по-русски. Он реже других оставался в лаборатории по вечерам. Ослабленный голодом и болезнями, перенесенными в тюрьме, он жаловался на резко ухудшившееся зрение, просил сменить очки, ему особенно трудно было работать вечером. Тюремная санчасть все никак не могла раздобыть окулиста. Шикин завел на него дело о саботаже. Допрашивал всех его соотечественников. Некоторые из них рассказывали: Шикин добивался показаний, что профессор «агитировал их на саботаж» и «вел фашистскую пропаганду».

В приказе, оглашенном после окончания следствия, было сказано: такой-то «стал на путь саботажа собственной творческой инициативы», за что наказывался 25 сутками карцера и отправлением в лагерь строгого режима. Великолепную формулу многие запомнили наизусть.

…В химической лаборатории работал бывший заключенный, профессор-химик С., 70-летний, болезненно полный, кроткий добряк, приветливый ко всем, непринужденно разговаривавший и с коллегами-арестантами. Иногда они просили его опустить в почтовый ящик письмо, адресованное родственникам. Один из таких

отправителей не устоял перед Шикиным, признался, и добрый старик был снова арестован.

Вероятно, Шикин знал и простые человеческие привязанности — к родителям, к женщине, к детям. Может быть, на досуге он увлекался рыбной ловлей или домино. Однако всего сильнее владели им страсти обличителя, разоблачителя, карателя.

Именно эти страсти, такие естественные для его призвания и, казалось бы, такие похвальные на том поприще, где он подвизался, вызвали его крушение.

…Дмитрий Ш., радиоинженер, работавший до 1945 года в Берлине в лаборатории «Телефункен», был осужден на 10 лет по статье 58-3 (сотрудничество с международной буржуазией). Щуплый, смуглый, косолапый, застенчивый, он говорил и по-русски, и по-немецки с трудом и с очень странным, смешанным акцентом, в котором слышались главным образом польские, но и какие-то романские интонации. Родился он в Бразилии, отец был сыном поляка и русской, мать — дочерью немца и бразильянки, среди прадедов и прабабок имелись украинец, испанец, аргентинец, англичанка и еврейка. Последнее он, разумеется, скрыл, когда в 1938 году приехал к немецкому дедушке поступать в Берлинский радиотехнический институт. Закончил учение во время войны. Однако уехать обратно в Бразилию не собрался, так как женился на немке и должен был стать наследником тестя — владельца небольшого доходного предприятия.

— Не розумем… не могу зрозуметь, для чего так сужденный… Где был арештованный в Берлине, так был здэнервованный абсолютно — ганц капут мит нервен. Ничего не розумел. Первый следователь, капитан, такой файный млодый, говорил по-немецки и попольски, смеялся с меня, говорил: ты имеешь коктейль с разных кровей, разных наций. Ты имеешь русски кровь, полски кровь, но ты работал для немцы гитлеровски, и потому ты есть изменник родины. Он смеялся, я плакал. Второй следователь, майор, такой грубый, кричал: «Ты есть агент гестаповский, шпион американский», грозил: «Не будешь признавать, надо расстрелять, повешать, посы-

лать в Сибирь на шахту на двадцать лет». Но я все признавал, говорил только правду. Все говорил, как жил, как работал, что делал, давал свента — свята присяга: пан Бог есть свидетель, не был никакой изменник, никакой агент. Потом поехал в Москву, на Лубянку. Там следователь, старший лейтенант, такой корректны, пунктуальны, интеллигентны, не смеялся, не кричал, все писал, как я говорил. Обещал: будет суд, правдивы, законны, объективны. Потом я поехал на Бутырку, думал — на суд. Нет. Пришел подпулковник, показал бумага — особый совет постановил десять лет. Для чего? За что?.. Не розумем… Не понимаю…

Он работал в радиолаборатории с утра и до полуночи. Гулял редко. Обычно сразу же после обеда, после ужина шел к своим панелям… Друзей-приятелей у него не было. Ни в шахматы, ни в козла не играл. Разговаривать ему было трудно. Быстрой русской речи почти не понимал. Наши немцы тоже не водили с ним компании. Курт говорил:

— Он прожил в Германии почти 10 лет. Выучился. Женился на богатой девице. Работал и немало зарабатывал. Но ему у нас, видите ли, не нравилось. Скучал по своему Рио-де-Жанейро. А вообще он идиот или шизофреник. Неужели вы не понимаете, почему его посадили? Очень просто: он — живое опровержение вашей пропаганды. Вы утверждаете, что в Германии убили всех евреев и всех сумасшедших. А тут сумасшедший, полуеврей, оказывается, благополучно процветал, работал в знаменитой фирме… Посмотрите на его глаза, нос, — типичный восточный еврей. В Польше все крещеные евреи называли себя поляками. И к тому же он — живая иллюстрация к расовой теории: вот что получается от смешения рас. Не то психопат, не то кретин. Нет, это не случайность. Науку о расах придумали вовсе не немцы. В Америке подавляющее большинство преступников и сумасшедших — метисы, мулаты и квартероны… Вот он и в этом наглядно противоречит вашей пропаганде. Конечно же ваши комиссары не могли оставить его на свободе. Ему повезло еще, что не ликвидировали…

За ужином рассказали, что Митю вызвали из лаборатории и увезли без вещей. На следующий день стал известен приказ: отправлен в карцер на 20 суток за «преступные сношения с вольнонаемной сотрудницей». Сперва никто не хотел верить. Говорили: Шикин совсем одурел, придумывает абсурдные, бредовые дела. Но в тот же день на прогулке уже обсуждались подробности невероятных событий.

…Тетя Катя, уборщица, широкобедрая, круглолицая, бледная, — ей могло быть и 40, и 60 лет, — в бесформенном черном халате, грязно-белой косынке, была почти неотличима от своих товарок в таких же халатах и косынках. Они проходили за час-полтора до начала нашего рабочего дня мыть полы в лаборатории и кабинетах.

Как они с Митей нашли друг друга — никто не знал. Ни он, ни она никого не посвящали в историю своей любви, а может быть, и просто дружбы. Но кто-то замечал их свидания в ранние утренние часы, — Митя спешил в лабораторию, едва позавтракав, еще до урочного времени, — и в обеденный перерыв в подвальных закоулках. И еще кто-то видел, как она вслед за ним вышла из уборной, которая была до того закрыта.

И всеведущие лагерные дворники знали, что Шикин изобличил злополучную пару с помощью селедки.

В нашей столовой было два неотвратимо постоянных блюда: пшенная каша и крупная сельдь. К завтраку и к ужину, а нередко и к обеду давались большие, лоснящиеся, розовато-зеленовато-серые куски жирной и очень соленой селедки. После них донимала жажда. И многие из нас вовсе не ели или не доедали своих порций. Новоприбывшие арестанты дивились: вот где люди зажрались! Любители собирали избыточные порции, вымачивали их и маринова-ли в банках из-под баклажанной икры или джема, которые мы приобретали в ларьке.

Такими банками с селедкой Митя одаривал свою подругу.

Об этом проведал Шикин и самолично обыскал тетю Катю на вахте, когда она уходила после работы. Обнаружил в кошелке пус-

тые банки и в карманах и за пазухой куски селедки, завернутые в газеты и тряпки, — стандартные куски из арестантской столовой.

Одержимый праведным гневом и охотничьим азартом, он задержал смертельно испуганную «преступницу», вызвал от коллеги Мишина двух надзирателей, отправился к ней на квартиру и там учинил обыск. Было изъято множество банок с маринованной селедкой и какие-то полуграмотные записки, якобы любовные послания Мити.

Шикин составил протокол и отправил рыдающую тетю Катю с надзирателем в районное отделение милиции. Но там возникли затруднения. В милиции не сочли нужным производить арест на основе записки неизвестного майора и устного заявления надзирателя. С тети Кати взяли подписку и отпустили. Начальник отделения усомнился и в правомочности обыска, произведенного на квартире без надлежащего ордера.

И через несколько дней — то ли постарался Мишин, сводивший с Шикиным давние счеты, то ли «сигнализировали» милиционеры или кто-то из офицеров шарашки, — приказом по управлению Шикина отстранили от должности за «нарушение закона». Евгения Васильевна говорила, что его вообще отчислили из органов.

Митю после карцера отправили в лагерь. Тетю Катю уволили, но дела не заводили.

Гумер рассказал, что Шикин собирался расправиться с нами за то, что «капали» в ЦК, уже вызывал нескольких зеков и вольных — начал собирать компромат. А Наумов такими делами заниматься не будет. Он хочет вообще убрать с объекта всех заключенных. И на последнем собрании объявили, что все офицеры, прежде всего «прикрепленные», обязаны срочно учиться, узнавать от нас все, что возможно, чтобы через год полностью заменить спецконтингент.

— Вот новенький курносый лейтенантик Ваня будет сменять Серегу, а глазастая, сисястая Валя должна выкачать из тебя всю твою акустику-лингвистику и все иностранные языки…

Зимой 1951–1952 года я стал изучать китайский язык. Вначале меня интересовали иероглифы как пособие для основной работы.

На спектрограммах (звуковидах) речи очертания отдельных звуков менялись в зависимости от голоса, интонации, от скорости произношения. Меняются и буквы в рукописи в зависимости от почерка и стараний пишущего. Но рисунок буквы относительно прост и более устойчив, чем рисунок звукового спектра. Иероглифов несравнимо больше, чем букв. Мало-мальски грамотный китаец должен запомнить не менее двух тысяч. Различия между ними должны узнаваться независимо от почерков, стилей, скорописи, а меж тем по рисунку они даже сложнее звуковидов. Поэтому я хотел, заучивая иероглифы, тренироваться, чтобы лучше запоминать и читать звуковиды.

А для моих изысканий в «ручной» этимологии были чрезвычайно интересны такие иероглифы, в которых сохранились рудименты изображения, символические знаки руки.

И тюремная судьба неожиданно подарила мне учителя.

Привезли нескольких русских инженеров и техников из Китая. Владимир Петрович В., молодой инженер из Харбина, в гимназии учил китайский язык, помнил еще не менее тысячи иероглифов и сносно владел литературным (северным, или «мандаринским») наречием. Первое время мы занимались вместе с Жень-Женем, но тот вскоре остыл, его отвлекали другие заботы.

А я чем дальше, тем больше входил во вкус. И уже надеялся в подлиннике читать древних китайских философов, которых знал только по русским и английским переводам. И мечтал о будущих поездках в Китай.

В 1948–1949 гг. в ящике моего стола лежала вырезанная из газеты карта, по которой я отмечал продвижение народных армий.

Я не верил тому, что писали о связях Тито, болгарских и венгерских коммунистов с гестапо и с англо-американскими разведками. Так же, как раньше не верил в реставраторские намерения и шпионскую деятельность Бухарина и Троцкого. Но тогда у нас любая оппозиция могла ослабить гарнизон осажденной крепости, повредить экипажу штормующего боевого корабля. И поэтому особо вредных оппозиционеров приходилось шельмовать смертельно…

А теперь социализм победил уже в нескольких странах, и Сталин говорил, что народные демократии должны идти своими путями. Почему же теперь нельзя допускать свободные дискуссии и товарищеские разногласия? Зачем опять так расправляться с оппозициями?

Но может быть, это все же нужно, потому что в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, в ГДР, в Болгарии коммунисты сосуществуют с буржуазными партиями и, значит, по-прежнему требуется жестокая дисциплина? И ведь извне нам опять грозят — атомные бомбы, западнонемецкие реваншисты, все, кого пугают наши победы… И значит, опять надо закручивать гайки?..

Я не находил настоящего уверенного ответа на такие вопросы, но радовался, думая, что огромный Китай нельзя будет подчинить так, как подчинили восток Европы, и китайскую партию нельзя будет шельмовать так, как югославскую.

Стратегию Сталина я считал «в конечном счете» правильной. И уж во всяком случае был убежден, что изменить ее нельзя, а критиковать чрезвычайно вредно. Однако и тогда я понимал, что наше общество еще вовсе не социалистическое и называть его таким — значит выдавать желаемое за действительное. Потому что мы вступили только в самый ранний «рабовладельческий период первоначального социалистического накопления». (Эту теорему я придумал еще в первых спорах с Солженицыным.) Значит, неизбежны «варварские средства преодоления варварства». В этом меня убеждало все, что я видел, испытал на фронтах, в тюрьме, в лагере.

Некоторое время я надеялся, что победы и завоевания ослабят тот страх перед любым несогласием, из которого рождается государственный террор. Надеялся, что наши товарищи на Западе, — на ближнем — в народных демократиях, и на дальнем, где коммунисты уже становились членами правительств, — будут благотворно влиять на нас, помогут нам преодолеть варварские традиции и навыки. И тогда, наконец, станут реальными все гражданские свободы, которые пришлось отменять в 1918 году, — Ленин говорил,

что это временная отмена, вызванная интервенцией и гражданской войной. Ведь и «Сталинская конституция» 1936 года вновь подтвердила и даже расширила эти гражданские свободы. Но они остались замороженными, потому что наступал фашизм, готовилась вторая мировая война.

Первые слухи о спорах с Тито показались добрыми предвестиями нового демократического развития в Коминформе. Но вскоре начались яростные проклятия «фашистской клики», процессы в Софии и в Будапеште, и некоторые офицеры на шарашке говорили вслух: «Скоро придется малость пострелять на Балканах… Дать жизни титовской банде… Очистить воздух».

А в Китае стремительно продвигались красные армии. Они вели редкие, но всегда успешные бои, а чаще одерживали бескровные победы, перед ними капитулировали гарнизоны больших городов, дивизии, корпуса противника.

Мы с Жень-Женем часами обсуждали возможности обратной связи Москва–Пекин–Москва; о Китае мы знали по книгам Третьякова, Перл Бак, Мальро, Агнесы Смэдли, Анны Луизы Стронг, а я еще и по репортажам немецких антифашистов и по американским журналам, попадавшим на шарашку. Рассказы наших «русских китайцев» подтверждали многое из того, что мы читали о чрезвычайно устойчивой и здоровой народной нравственности, — о добросовестности, скрупулезной честности, необычайном трудолюбии, естественной дисциплине, умеренности, вежливости и других свойствах, издревле присущих китайцам разных классов. Даже буржуазные авторы признавали, что китайские коммунисты, в отличие от «западников» гоминдановцев, культивируют именно такие национальные добродетели в своих армиях и в тех областях, которыми уже раньше владели. И хотелось надеяться, что теперь мы сумеем «призанять» у китайцев уже не «премудрого незнанья иноземцев» (Грибоедов), а таких вот добрых качеств, необходимых всем народам и делу социализма.

Владимир Петрович — единственный сын инженера, служившего на КВЖД, закончил в Харбине гимназию и радиофакультет

Маньчжурского политехнического института; работал инженером в частной японо-маньчжурской фирме радиоаппаратуры. Женился на однокурснице. Осенью 1945 года она должна была родить.

…В августе в Харбин вошли советские войска. Многочисленное русское население встречало их поначалу робко, но приветливо. Победители гитлеровской империи легко взяли реванш за Порт-Артур и Цусиму; колонны военнопленных японцев понуро брели через город. Эшелон за эшелоном увозили их на Запад, в Сибирь…

Новые русские газеты и радио многословно рассказывали о победах, успехах, достижениях всех республик Советского Союза, прежде всего великого русского народа — старшего брата всех других народов, о гениальности и доброте Сталина, о прекрасной, счастливой жизни советских людей.

Понятно было, что многое из этого — пропаганда, преувеличение, приукрашивание. Но военные победы были несомненны. Русские солдаты и офицеры выглядели бодро, вооружены много лучше японцев и вели себя в общем пристойно. Случались кое-где ограбления, изнасилования, но во время войны в любых войсках такое не в диковинку… Владимир Петрович, его родные и знакомые все более доверчиво и приязненно относились к победителям, к советским властям.

Днем на улице его задержал патруль. Вежливо пригласили в комендатуру — проверить документы. Там заполнили анкету и отвели в камеру, где сидели человек двадцать — большинство русские харбинцы, несколько японцев и китайцев. Им обещали: скоро проверим и отпустим, сообщать семьям ничего не нужно; в городе всем известно, что разных лиц задерживают для проверки…

Прошло несколько дней. Он опять просил разрешения известить семью, ведь о нем беспокоятся родители, беременная жена.

Его отвезли в тюрьму, там следователь, корректный старший лейтенант, сказал:

— Как только все выясним — сами вернетесь домой.

— Что же еще нужно выяснять?

— А это уж вы должны нам помочь. Если вы действительно лояльный русский человек… Объясните, почему вы приняли гражданство Маньчжоу-Го — марионетки японского империализма, злейшего врага России?

— Но я родился здесь, в Харбине. А государство Маньчжоу-Го образовалось, когда я был еще приготовишкой. У меня не было никакого выбора — принимать или не принимать… И мои родители живут здесь с начала века. Еще деды переселились сюда, когда строилась дорога…

— Вы учились в политехническом институте, а он принадлежал японскому командованию и, значит, японской разведке. Какие разведзадания вы выполняли?.. Чистосердечное признание и добросовестная помощь следствию обеспечат вам скорейшее освобождение. В противном случае пеняйте на себя.

…Его не били, не пытали. Допрашивали всего три или четыре раза. А потом его и еще несколько сот таких же подследственных отправили в Западную Сибирь в лагерь. Там вызвал другой следователь — капитан, усталый, рассеянный, не очень грамотный. Он говорил невразумительно о решениях каких-то особых дальневосточных военных трибуналов, согласованных с решениями каких-то международных судов. Из этого почему-то следовало, что харбинский институт и фирма, в которой работал Владимир Петрович, были военно-преступными организациями. Капитан не кричал, не ругался, не угрожал, а деловито и почти равнодушно сказал, что надо «чистосердечно признаться», в каких именно преступлениях Владимир участвовал сам, а также назвать соучастников и всех других преступников, каких помнит. Только этим он может облегчить свою участь. И даже заслужить свободу… Если же он будет продолжать «темнить», «тянуть резину», «строить из себя целку» и «охмурять следствие» (Владимир тогда впервые услышал эти новые для него русские слова), то может напроситься даже на «вышку».

— Не знаете, что такое «вышка»?.. Хорошо ж тебя учили японцы. Вышка — это девять грамм в загривок и без гроба в земотдел. Понятно? Правда, теперь еще могут и повесить: веревку на шею, а на грудь плакатик: «Шпион». Чтоб людям было на что посмотреть… Так что выбирайте сами.

К тому времени Владимир был уже предельно истощен, изнурен болезнями и голодом. Его арестовали в летней рубашке и легких брюках. Осенью, в сибирские морозы, выдали старое, рваное белье, заношенный ватник. В промерзших бараках они теснились по два, по три на тощих соломенных тюфяках. Какой-то неуемный остряк повторял: «Шкилет к шкилету, от трения костей теплее». Поверх жидких одеял укрывались мешковиной, тряпьем… Сознание мутилось непроглядной тоской, отчаянием…

Угрозы даже не испугали его. Смерть означала конец нестерпимому ужасу… Следователь протянул стопку бумаги.

— Напишите все, что знаете, помните: фамилии, адреса, клички, шифры, конкретные задания… Все!

На двух страницах он написал историю своей недолгой жизни, адрес семьи и добавил: «Прошу известить родных о моей кончине».

Следователь протер глаза, прочел, посмотрел на него все так же рассеянно, без раздражения:

— Ну, как хотишь. Но только с заграницей переписки вам не положено.

Прошло еще несколько месяцев. Он долго болел цингой, пеллагрой, воспалением легких, смутно представлял себе движение времени. Его снова позвали, теперь уже к другому офицеру. Тот протянул листок тонкой бумаги. Слеповатый текст на пишущей машинке. Чернилами вписаны фамилия, год рождения, адрес и в конце цифры. Особое совещание при НКВД СССР осудило его на 25 лет лишения свободы без конфискации имущества. Срок отсчитывался со дня ареста, истекал в августе 1970 года. Тогда ему будет больше 50 лет. И жене тоже. А сыну — или дочери — уже 25… И вряд ли доживут родители.

Он работал в лагерной мастерской техником. Лечился, выздоровел, стал крепче. За починку радиоприемников для начальства и вольнонаемных платили натурой — хлебом, консервами, крупой. Шарашка показалась ему раем. Настоящая инженерская работа требовала и знаний, и фантазии. Вокруг доброжелательные товарищи, и начальники вежливые, все понимающие. И спокойный, упорядоченный быт…

Высокий, худой, лобастый, в больших очках, всегда сдержанный, серьезный, он казался хмурым, замкнутым, редко улыбался, мало говорил. Иные шумные «свои парни», привыкшие с ходу «тыкать» и молодым, и старым (какое еще «вы» в парашном братстве?), считали его высокомерным педантом, воображалой. Но он был просто неизлечимо хорошо воспитан. Суховатая вежливость скрывала непоказную доброту и цельное, без трещинки, нравственное сознание. Он не умел притворяться, лгать, хитрить. Пасмурным стал от неизбывной тоски, которую не хотел, да, вероятно, и не мог бы высказать. Он и в книгах, и в фильмах не терпел ни сентиментальностей, ни патетики.

Мы с ним занимались первое время ежедневно после ужина или перед самым отбоем. Он каллиграфически выписывал иероглифы. Терпеливо обучал этому и Жень-Женя, и меня.

— Нужно точно соблюдать последовательность и направление каждого штриха, каждой черточки. Вот смотрите — всегда начинайте так… А дальше пишите так — справа, налево, вниз… Лучше всего, конечно, было бы кисточкой и тушью. Кисточку нужно держать строго вертикально.

Он говорил, что в том, как нарисованы иероглифы, проявляется характер человека. Старые китайцы уверены, что плохой человек не может быть хорошим каллиграфом.

Позднее родные прислали мне учебник, словарь и книги. Наши уроки стали реже. Он давал нам «домашние задания». Первая и оставшаяся единственной китайская книжка, которую я прочел с помощью Владимира Петровича и словаря, был перевод речи Сталина на слете комбайнеров.

* * *

Осенью зачастили тревожные слухи… Вольные рассказывали, что большинство начальников в новом управлении «не привыкли» иметь дела с заключенными и требуют, чтобы нас убрали из института, который непосредственно подчинен Центральному Комитету партии. Антон Михайлович и старые шарашечные офицеры их уговаривают, доказывают, что нельзя обойтись без таких спецов. Да и в управлении есть несколько бывалых чекистов, которые знают нам цену. Однако Наумов тоже настаивает на «очищении» института.

В юртах, в столовой, везде разговаривали и спорили уже только о новых «парашах».

— Еще до конца года увезут в особый лагерь где-то на северо-востоке…

— Нет, отправят нас на другую шарашку — в Подмосковье, в Казань или за Урал… Всех завезут в самые дальние лагеря без права переписки. Мы ведь знаем секреты. Значит, воли уже никогда не увидим. Теперь нам пожизненно, бессрочно доходить…

— Хорошо, если сразу не прикончат…

— Отправят большинство, но полсотни самых незаменимых оставят здесь…

— Нет, только двадцать, не больше…

— Не будет и двадцати. Нескольких разработчиков, без которых никак не обойтись, поместят на Лубянку или в Лефортово, оттуда два раза в день будут привозить в воронке…

— А кто будет решать, кого считать незаменимыми? Антону, например, нужен ты со своими артикуляциями и прочими хренациями. А Недоумову на все начхать. Он же ни уха, ни рыла не петрит. И потому считает все это мурой собачьей, а может, и вредительством…

— Хорошо еще, если просто зашлют куда подальше уголек рубать, лес валить, строить социализм в одной, отдельной зоне, а то

ведь могут и так пристроить, что Лефортово будем вспоминать как санаторий.

Мне хотелось верить в лучшее или хотя бы не в самое худшее.

Сергей, Валентин, Семен принадлежали, несомненно, к первой десятке «незаменимых разработчиков». Но они, так же как я, то утешались очередным обнадеживающим слухом, то мрачнели от «параш», суливших неотвратимые беды.

Одним из немногих, кто оставался спокоен, был Виктор Андреевич Кемниц, московский инженер, осужденный по «делу писателя Андреева».

Даниил Леонидович Андреев, сын известного писателя, был арестован в 1949 году; он написал роман, который в МГБ сочли антисоветским и даже террористическим. Вслед за ним арестовали несколько десятков его друзей и знакомых. Виктор Андреевич только один или два раза присутствовал в доме автора при чтении отрывков из романа, так как много работал и уезжал в командировки. Его жена, Анна Владимировна, бывала там чаще и слушала чтение той главы, в которой один из персонажей то ли высказывал желание, чтобы умер великий вождь, то ли размышлял вслух о том, что может произойти после его кончины.

Поэтому Виктор Андреевич был осужден на десять лет по ст. 58 п. 10, 11, а его жена, как и сам автор, еще и по ст. 58 п. 8 (террор). Высокий, плечистый, с большой головой, крутым, просторным лбом, несколько похожий на Эйзенштейна, он плавно и легко двигался. Выпуклые светлые глаза смотрели доверчиво. Сын обрусевших немцев, он говорил по-немецки медленно, осторожно, деревянным языком наших школьных учебников, но помнил молитвы, затверженные в детстве. Специалисты называли его опытным и одаренным конструктором. А главными страстями его жизни были музыка и цветы. Он всегда точно знал, какие предстоят музыкальные радиопередачи. По вечерам, когда дежурили покладистые офицеры, он приходил в акустическую послушать магнитофонные записи симфоний и концертов, повспоминать довоен-

ную консерваторию. Он рассказывал, как впервые услышал музыку Скрябина.

— Это было потрясением… Нет, я не могу это ни объяснить, ни описать… Внезапно растворился новый мир, неведомый — еще за минуту раньше неведомый и даже невообразимый. Но это был мой — лично мой мир. Впервые я услышал музыку совсем свою, о себе… Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шопен прекрасны, великолепны. Они всегда восхищают. Волнуют. Радуют. Услаждают. Они всегда о чем-то прекрасном — земном или надземном… Но это все где-то там… А Скрябин здесь, обо мне и во мне. Он выразил все, что я сам не мог бы никогда выразить, — мои надежды, радости, боли, страхи…

И едва ли не так же увлеченно говорил он о цветах, о том, как их выращивать даже на самой, трудной городской почве, на камнях и мусоре. Вдвоем с другим страстным садоводом, бывшим полковником-танкистом, он руководил добровольческой бригадой садовников. Приняли они и меня. Сразу после подъема, еще до завтрака, а вечером и до, и после ужина, урывая час-полтора от сверхурочной работы, мы копали, сажали, пололи, поливали. В саду перед зданием шарашки и в лагере между рядами юрт мы разбили клумбы, на них и вдоль дорожек выращивали анютины глазки, настурции, маргаритки, бархотки, табак, гвоздики, нарциссы, астры, гладиолусы.

Когда заходила речь о книгах, стихах, Виктор Андреевич печально вздыхал:

— Вам бы поговорить с моей Анной Владимировной: она куда больше читала, чем я, лучше разбирается в литературе, в поэзии… Она перед войной тяжело болела — грипп, осложнение на сердце. Пришлось оставить сцену. А как она прекрасно танцевала! Трудно ей было уйти. Она стала хореографом, режиссером. В эвакуации работала в клубах, выступала и с художественным чтением. Она чудесно декламировала Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Ахматову, Пастернака: она помнит десятки, сотни стихов…

Виктор Андреевич не терпел парашных разговоров.

— Это просто бессмысленно. Мы ничего не можем проверить. И не можем никак повлиять на наше будущее. От нас это не зависит. Зачем же впустую расходовать слова и нервы. Лучше еще раз послушаем третий концерт Бетховена.

Лабораторией по-прежнему руководил капитан Василий Николаевич, все такой же бесстрастно-деловитый, сухо-вежливый. А его непосредственной помощницей стала старший техник-лейтенант Анна Васильевна.

Маленькая Анечка, худосочная, серовато-русая, длиннолицая, бледная, с тоненьким угреватым носиком, была застенчивой дурнушкой, но, улыбаясь, иногда становилась пригожа. На шарашку она пришла в 1949 году сразу после окончания института связи. Первые недели робела, сжималась. Но постепенно привыкла к нам и в часы вечерних дежурств участливо разговаривала. Она доставала из центральных библиотек по внешнему абонементу именно те книги, о которых просили Солженицын и я, вместе с нами придумывала объяснения на случай, если начальство спросит, зачем понадобились труды Пражского лингвистического кружка, сочинения Вундта, Николая Морозова, Марра и старые книги по философии, истории, литературе, которые мы выписывали как материалы, необходимые для решения проблем секретной телефонии.

Некоторое время она была помощницей Солженицына — бригадиром артикулянтов и дикторшей. И, разумеется, влюбилась в него. Когда его увезли, она еще долго была печальной. В часы вечерних дежурств подсаживалась ко мне, расспрашивала о нем и жаловалась, едва не плача:

— Ах, он такой упрямый, такой упрямый. Сколько раз я его предостерегала, что Антон Михайлович будет недоволен, очень недоволен.

Год спустя она заболела, перенесла какую-то операцию, после чего еще долго лечилась. Вернулась лишь через несколько месяцев. Загорелая, располневшая и посуровевшая. Едва кивала в ответ на

наши радостные приветствия; на вопросы о здоровье отвечала коротко, односложно, едва ли не грубо:

— Это не имеет отношения к работе.

Вскоре мы стали замечать, что каждый раз, когда она дежурила, оставался и Василий Николаевич; они сидели в его углу, шептались, иногда надолго уходили. Оба малорослые, тихие, серенькие — они сперва казались мне даже трогательной парой.

Но Анечка становилась все более начальственно суха, строга и даже сварливо-раздражительна.

Вольные объяснили нам, что Василий Николаевич женат, у него дети. Жена неизлечимо больна. Как член партии и «офицер органов», он не может разрушать семью. И в комсомольской организации Аню уже прорабатывали «за аморалку», поэтому она психует и на всех людей кидается.

Ее было жалко. Но постоянные злые придирки, нелепые и грубые замечания вызывали все большее раздражение. Я сказал, что отказываюсь с ней работать. Она обозлилась, но растерялась, притихла. Василий Николаевич отозвал меня:

— У вас был неприятный разговор с Анной Васильевной… Нет, нет, я вообще не хочу никаких расследований. Допускаю, что она была излишне резка. Вы ведь знаете, она тяжело болела. Осложнения. Нервы. Впрочем, и вам следовало бы сдерживаться. Ведь уже имеете печальный опыт. Но сейчас вообще самое важное — работа. Перед нами очень серьезные новые задачи.

Он говорил и мягче, и многословнее, чем обычно.

— Давайте впредь вообще избегать подобных конфликтов. Анна Васильевна больше не будет заниматься артикуляцией. Есть ведь и другие дикторы-девушки. И вообще в дальнейшем вы будете по линии артикуляции и фонетики работать только с Валентиной Ивановной, а по линии анализа спектров — с Иваном Яковлевичем. При любых недоразумениях и вообще — обращаться непосредственно ко мне.

Валентина Ивановна первое время ежедневно напоминала, что по плану института и по указанию полковника Наумова она не позже будущего года должна стать кандидатом наук…

— Каких наук?.. А вот это вы мне поможете. Антон Михайлович считает, что «технических наук» у меня не выйдет. Нужно больше производственной практики. И к тому же вы по технике не специалист. Ведь вы сами кандидат филологических наук, правда?.. Мне лично это тоже больше по душе. Я обожаю стихи Симонова, Суркова, Гусева, Щипачева… Но больше всего люблю музыку. Я играю на рояле, на баяне, на гитаре и на всех струнно-щипковых. И даже сама сочиняю. Я уже сочинила один вальс и две польки. Но здесь все это не требуется. Если б я была замужем и муж был бы хорошим, настоящим человеком, тогда бы я занималась только музыкой… Ходила бы в оперу, в оперетту, в концерты. И читала бы много хорошей художественной литературы… Говорят, вы изучали иностранную литературу. Составьте мне, пожалуйста, такой список, ну все, что нужно прочесть по мировой литературе… Русскую я, конечно, проходила еще в школе. И знаете, Лермонтова я люблю больше, чем Пушкина. Тот все же какой-то легкомысленный, даже распутный. И очень распутный. И очень люблю Тургенева и Толстого. Ведь он же самый великий во всем мире, не правда ли?.. Нет, Достоевского не люблю. Конечно, читала. Но у него такое упадничество и сплошная истерика. И Чехова не люблю. Он пессимист, у него все такое серое… Ну, Горького, конечно, очень! Я вам скажу, — но это большой секрет, — я хочу написать музыку для «Песни о Буревестнике» и «Песни о Соколе». Да, да, главное в жизни для меня — музыка. Я считаю, что вообще для культуры музыка — это самое важное. Она морально воспитывает. У нас это еще недооценивают. И на радио недооценивают, и в клубах. И знаете почему? Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но это потому, что у нас музыкой заправляют евреи… Да, да, это все знают. Куда ни плюнь, какой-нибудь Ойстрах или Гилельс… А кого больше всех исполняют? Обязательно Блантер, Покрасс или Шостакович… Ну, нет, нет. Вы ошибаетесь. Шостакович, конечно, еврей. Шостакович — Рабинович… Ну, может быть,

он из крещеных. Но музыка у него совершенно не русская. Космополитическая. Это все знают. Это товарищ Жданов говорил, и партийные решения были… Конечно, он еще не совсем вытеснил современных русских композиторов — Соловьев-Седой и Хренников еще могут за себя постоять. Но даже им трудно. В консерватории, на радио, в Большом театре — везде хозяйничают евреи. Считается, что они все — прирожденные музыканты, а Ваньки и Маньки пусть забавляются гармошками и балалайками. Да, да, это уж я точно знаю… Я понимаю, вам это неприятно слышать, но ведь вы сами не музыкант, вот вы и не знаете… Хорошо, вернемся к делу. Пожалуйста, придумайте мне тему для диссертации. Антон Михайлович говорил, что вы, если очень захотите, так поможете мне написать диссертацию по вашей линии, — ну, там, про телефонную разборчивость и эти … видимые звуки. Но так, чтобы получилось на кандидата физических наук… И еще насчет иностранных языков. В школе и в институте я учила немецкий, а теперь говорят, что нужно больше английский. Так вы мне, пожалуйста, помогите. Василий Николаевич сказал, что можно заниматься и сразу после работы, а иногда и в рабочее время, если нет никаких срочных заданий.

Тему я для Валентины Ивановны придумал: «Физические параметры разборчивости русской речи». Для такой работы нужно было дополнить и систематизировать уже имевшиеся у нас данные артикуляционных испытаний разных телефонных каналов, разных по частотным характеристикам, условиям помех и т. п., и связанные с ними исследования анализа спектра речи по звуковидам. Все это я хотел подкрепить извлечениями из книг и журналов, сведениями по истории языков, физиологии речи, фонетике и, разумеется, сравнить наши данные с теми, которые публиковали зарубежные телефонисты, электроакустики, лингвисты…

Тема и план диссертации младшего техник-лейтенанта были утверждены… И я решил, что моя работа в акустической снова обрела живой смысл.

Обычные артикуляционные испытания и звуковидные исследования телефонных каналов давно уже стали будничной поденщи-

ной. Время от времени какая-нибудь замысловатая дерзкая техническая идея могла увлечь и меня. И я начинал придумывать новые рациональные способы исследования именно этой системы. Но во всех таких случаях я оставался только подсобником, контролером, но никак не автором, не самостоятельным научным работником.

А в диссертации, которую представит Валентина, можно было закрепить и настоящие открытия. В этой работе я хотел изложить мои представления о речевых знаках, о трехмерной физической структуре звукового потока речи, о действительной роли его образующих (формант), об их «сверхфизической» многозначной содержательности, когда, слегка изменяя распределение энергии по частоте, говорящий спрашивает или приказывает, излагает мысли, передает оттенки настроений, выражает нежность или гнев.

В план диссертации я включил и главу о физических основах индивидуальных особенностей голоса.

Валентина Ивановна была довольна. Она в общем соображала, о чем шла речь. И я старался возможно более вразумительно растолковать сущность каждого из предполагаемых разделов.

— Да, да, я это понимаю. Но только не уверена, что сумею объяснить так, чтобы это поняли другие. У меня нет опыта… научной работы. В институте, знаете, ведь как учили — зубришь, чтобы сдать. А сдашь — и все забыла. А я еще и училась с перерывами. Начинала до войны. Потом в эвакуации. Потом мобилизовали в органы телефонисткой. Заканчивала в Москве уже вечерницей — так трудно было, так трудно. И материально очень трудно. Ведь девушке и одеться надо. Говорят, красота лучше всех нарядов. Но это ж просто слова. Меня в институте и на работе все мужчины считали красивой. Приятно, конечно, слушать комплименты. Но я же не дурочка, я понимаю, что приди я в ватнике, в платьишке затрапезном, в шапке, какая попадется, в чулках нитяных, в стоптанных туфлях, не причешись как следует, так ведь никто и не посмотрит, а кто увидит — подумает: экая распустеха, чучело, кикимора… Я могла учиться только на вечернем или заочном — нужно было зарабатывать. Мама, правда, иногда помогала. Она врач, в войну

была на фронте. Но там вышла замуж за еврея, тоже врача. А он все только о своих детях заботится. У него две взрослые дочери и сын, все по медицине пошли. Евреи захватили музыку и медицину, ведь это самые денежные профессии. У маминого мужа везде блат, везде связи. Когда мама на него нажала, он и мне помог в институте… Но вообще мамин брак несчастный. Он такой эгоист, все только для себя и для своих. И капризный до нахальства. То его не так вкусно кормят, то не так убрано в квартире, то почему я пианино купила, и почему я так много трачу на платья. И почему я поехала в Сочи, когда у них дача в Малаховке. Очень мне нужно сидеть на их даче. Один мой знакомый, высококультурный человек, на большом посту в органах, говорит, что в Малаховке больше евреев, чем в Иерусалиме, там у них две синагоги… Никакой это не антисемитизм… Ничего подобного… Антисемиты хотят убивать всех евреев, как немцы убивали. Антисемитизм — это у фашистов, а я член партии. И этот мой знакомый закончил университет марксизма. Это у вас сказывается еврейская кровь, хотя вообще вы совсем не похожи на еврея… Нет, нет и еще раз нет! Ведь я же никого не хочу убивать, и я не против всех евреев. Я же знаю — Карл Маркс был еврей. И Лазарь Моисеевич Каганович, уважаемый товарищ. Есть хорошие музыканты и врачи. Но у каждой национальности есть свои недостатки. У нас, русских, — пьянство, разболтанность, шаляй-валяй, некультурность. Не умеем устраиваться, не умеем ничего беречь, всем доверяем. А у евреев — хитрость, злость, скупость. Зато у них есть и достоинства — они умеют устраиваться, они друг другу преданы куда лучше русских… Вы говорите «антисемитка», а я три года назад чуть замуж за еврея не вышла. Он наш институт связи кончал, дневное отделение. Но его послали на Дальний Восток, а чего я там не видела? Мамин муж обещал помочь, чтоб его оставили в Москве или хоть поближе, да не смог, а скорее не захотел. Тот мой жених сперва писал мне так нежно, так страстно, так трогательно, а потом перестал. И мне рассказывали: он там женился, уже и ребенка заимел. Но я не жалею — вольному воля. Еврейские мужья хороши при еврейских женах. А вот моя мама так намучилась, что теперь

только мечтает развестись… Ну, поболтали и хватит, будем работать. Вы мне четко объясните, что я должна делать, и лучше всего напишите, а то я забываю. Девичья память.

Она многое понимала, когда мы говорили о физической природе речи, о том, как в живых резонаторах — в гортани, в носоглотке, во рту — формируются, замешиваются и лепятся потоки осмысленных звуков — речевых знаков… Рассматривая звуковиды, осциллограммы, рисовальные схемы, она быстро усваивала, что к чему… Но так же быстро забывала то, что, казалось, уже прочно знает. И легко отвлекалась от любого занятия — от проверки артикуляционных таблиц и от заучивания английских глаголов, от расшифровывания звуковидов и от нового раздела своей диссертации, который должна была не просто прочесть, но и осмыслить его в связи с предшествующими разделами и планом последующих.

— Интересно? Конечно, очень интересно. Я потом еще почитаю и подумаю. Значит, вы совершенно уверены, что эти стрежни — самое главное для разборчивости? Это вы сами придумали?.. Ага, значит, американцы все-таки раньше. А может быть, какие-нибудь русские ученые еще раньше? Хорошо бы это доказать. Но это вы придумали название «стрежень»? Да, да, я знаю, конечно, «из-за острова на стрежень, на простор речной волны…». Но большинство людей поет: «Из-за острова навстречу…» А я больше всего люблю оперу. И сама мечтаю написать оперу. Вот помогли бы вы мне, сочинили бы хорошее либретто. Чтоб это была современная героическая и лирическая опера. Чтобы и подвиги, и любовь. Мне один знакомый советовал взять за основу «Молодую гвардию», но я не хочу. Там ведь все кончается печально, трагически. В жизни я бываю пессимисткой; мне так не везет, столько неприятностей… Но в музыке, в искусстве я за оптимизм, за жизнерадостность… Да, да, конечно, я проверила все таблицы, получилось в среднем 54 или 56% разборчивости; сейчас напишу заключение… Ну, зачем вы еще перепроверяете? Но почему это ошибка, вы же сами говорили, что Ж и *Ш, Д и Т, Г* и *К* могут заменяться. Почему только в конце? Значит, если ПАС вместо ПАЗ и наоборот — это не ошибка. А если ЗАП вместо САП, то ошибка? Не помню, чтоб вы

мне это говорили… Ну, значит, забыла, девичья память. И сколько же у вас получается? Неужели меньше 50%?.. А ведь я уже сказала — 56. Капитан из той лаборатории так обрадовался. А теперь мы его разочаруем. Может быть, не стоит? По-моему, лучше, чтобы людям было приятно. Что там изменится из-за каких-то 5–6 процентов? Хорошо-хорошо, а сама знаю: честность — точность — добросовестность. Это я еще в школе проходила. Пусть будет по-вашему…

* * *

Декабрь. Понедельник. Темное утро. Первые, кто выбежал, чтобы зарядиться на морозе, возвращаются встревоженные — у вахты видны три больших воронка. И в зоне полно вертухаев…

На поверке дежурный офицер объявляет:

— После завтрака всем оставаться в юртах. Никуда не выходить до особого распоряжения… Что значит «надо работать»? Сказано: не выходить до особого распоряжения. Ничего не могу объяснить, когда нужно будет, тогда вам все разъяснят.

В столовой, за завтраком, узнаём, что уже многие собирают вещи. И дежурный ходит с большими списками…

Значит, отправляют всех! Во всяком случае — большинство.

Знобит от тревожного ожидания.

У выхода из наших юрт стоят и похаживают вертухаи. Следят, чтобы никто не шел дальше уборной. Даже в санчасть не выпускают.

— Если очень больные, доложим дежурному — пошлет лекпома.

У нас окно прямо против ворот в зону шарашки — видно, как туда водят по одному, по два. Понятно, идут оформлять бегунки, сдавать приборы, инструменты.

Кое-кто хитрый по пути забегает к нам.

— Я тут брал (или оставил) книжку, полотенце. — Прощается, успевает сказать: — Там воронков — целая колонна. У дежурняка толстая папка списков… Бывайте, мужики! Авось еще увидимся в Бутырках или на этапе.

Высматриваем, кого ведут. Пытаемся сообразить, есть ли система. Сперва показалось, что увозят только работяг из мастерских и техников из лабораторий. Но вот провели инженера. Еще одного… И двух немцев — химиков.

Обед. В столовой пустые места первой смены заполняют за счет других (нас кормили в три смены) . Расспрашиваем новых соседей.

Узнаем, что немцев не отправили. Это Евгения Васильевна настояла, чтоб их привели в лабораторию на час закончить обработку керамических деталей.

Перехватив у дверей дежурного, я стал говорить, что у меня в лаборатории незаконченное очень важное исследование. И если я хоть на полчаса не зайду туда, возможна серьезная авария. Но он неумолим.

— Если надо, ваше начальство само скажет. А так я ничего не могу. Нет, и докладывать не буду. Видите сами, что делается.

После обеда вызвали нескольких человек уже из наших юрт, «первокатегорных».

В лаборатории в ящиках моего стола лежали тетради, записные книжки, папки рукописей конспекты книг и статей, незаконченные работы о «ручных» корнесловиях, связывающих разные языки, статья — попытка осмыслить природу и происхождение национальной вражды, национализма и шовинизма, стихи, заметки, планы… И часть записных книжек Солженицына, которые Гумер еще не успел вынести (он выносил мои «посылки» малыми порциями, чтобы не вздувались карманы). Диссертация Валентины еще и вполовину не готова, накоплены материалы, в которых она сама никогда не разберется. Все это — мои трехлетние поиски, сомнения, открытия, горести и радости… да, были и радости! А что ждет там, куда увезут, — в камере, в лагерном бараке?.. Какие радости? Лишняя миска баланды, лишний час кантовки…

Надсадно стараюсь убеждать себя, как уже не раз старался раньше (и ведь умел в самые проклятые часы): «Не смей раскисать! Не жалей ни о чем. Не хнычь».

Лучший способ ободрить себя — ободрять других. Хочешь избавиться от страха, от подлого страха в ожидании беды — шути, остри, хоть по-дурацки, хоть грубо, похабно — смейся и смеши.

Вижу, что и Сергей поступает так же. В глазах тревожные искры, нет-нет да и дернется щека. Но он с веселой злостью матерно комментирует происходящее, подначивает Семена и других, кто попал на шарашку прямо с Лубянки, из Лефортова. Наставляет, что делать при встрече с урками… Задирает и меня:

— Ну, так как же понимать все это с точки зрения исторической необходимости и диалектического материализма?

Принимаю подачу — начинаю вспоминать грозные события прошлого: Варфоломеевская ночь, Сицилийская вечерня, петровские расправы со стрельцами… И наспех кропаю нечто рифмованное, озаглавленное «Утро стрелецкой казни»:

Пою я день великого смятенья,
Когда свершился беспощадный рок
И разрешились многие сомненья.
Был понедельник. Прозвучал звонок.
И первый закряхтел у вахты воронок.
…Ну, что такое ночь Варфоломея?
Что Сицилийская вечерня?.. Пустяки!
Нет слов, чтоб выразить всю силу злой тоски,
Объявшей вдруг трепещущего зека,
Когда во двор, гудя, въезжали воронки,
А мы толпились, бледнея, холодея,
И, словно кролики пред хищной пастью змея,
Таращились на нос дежурняка,
Уткнувшийся в шуршащие листки.
Мы знали — там судеб неотвратимый ход,
И только ждали — чей черед…

За ужином еще больше пустых мест.

Наконец — отбой! В ту ночь многих донимала бессонница. Некоторые кричали со сна.

На следующий день опять выпускали из юрты только в столовую и в уборную. От нас вызвали еще несколько человек. На их места привели из других юрт.

На третье утро во время поверки дежурный сказал:

— После завтрака — выход на работу. Нормальный.

Из четырехсот зеков, работавших на шарашке в начале декабря (весной было более пятисот), осталось примерно 70. И трое дворников в лагере. Но акустическая не потеряла ни одного заключенного.

Мы понимали — нас отстоял Антон.

Валентина светилась улыбками, глаза были влажными.

— Я так переживала, так переживала, беспокоилась — неужели больше никогда не увижу…

Я был растроган, хотя догадывался, что ее волнение и радость в наибольшей мере относились к Сергею. Уже с первых дней она издали влюбленно глядела на него, краснела, когда он приближался, восхищалась его шутками. Он замечал это, красовался, поглядывал задумчиво, многозначительно и говорил то с томными гортанными переливами, то величаво рокоча… Но слишком приближаться не хотел. Незадолго до этого прекратилась его короткая бурная связь с Евгенией Васильевной.

— Страху-то бывало больше, чем удовольствия. Это тебе пофартило — целыми часами вдвоем со своей, да еще и в секретной заначке: по закону изнутри заперты… А мне как? Урывай минутки в темном углу. Каждого шороха пугайся. Так можно импотентом стать.

Своего прикрепленного Сергей называл «Ванька-Ключник». Тот чаще других отпирал сейф, доставая наши записи, чертежи, рабочие книги. Молоденький техник-лейтенант Иван Яковлевич, студент последнего курса вечернего отделения института связи, невысокий, щуплый, но жилистый и подвижный, глядел на все большими мальчишескими глазами, с жадным любопытством. Сергей

быстро приручил его. Позднее он даже пересылал через него письма семье. Ваня был комсомольцем, непоколебимо убежденным в правильности линии партии, в гениальности великого Сталина. Не слишком умный, малообразованный, он по душевному складу был добряком, не приспособленным к ненависти и подозрительности. И хотя старался проявлять бдительность, но к Сергею и ко мне привязался с ребячьей доверчивостью. По вечерам он подсаживался к нам поговорить о международной политике, об истории, о войне. Мои взгляды были ему ближе и понятнее, чем ирония и прямые насмешки Сергея, но в нас обоих его соблазнительно привлекало совершенно необычное для него критическое отношение к газетам, к официальной пропаганде, независимость в суждениях, вольность речи, не похожей на казенный жаргон, к которому он привык. Иногда он все же решался «давать отпор». Когда в разговоре о Демьяне Бедном я заметил, что тот еще перед войной жестоко запивал, Ваня вспылил:

— Этого не может быть! Старейший член партии! Личный товарищ Ленина и Сталина! Это настоящая вражеская выдумка! Никогда не поверю!

После этого он некоторое время дулся. Но потом опять, как ни в чем не бывало, поговорив по делу, — он стал бригадиром артикулянтов, — начинал спрашивать:

— А вы раньше слыхали насчет того, что у немцев чуть-чуть не было атомной бомбы?.. А как вы думаете, американцы серьезно готовят бактериологическую войну? Вот ведь, сначала колорадских жуков понапускали, а теперь есть данные — готовят крыс, зараженных чумой… Ну, вот, как, по-вашему, надо отвечать на такое?.. А что вы думаете, если вдруг война начнется, гедээровские немцы нам в спину не ударят?

После двухдневной разлуки он встретил нас ликующе, едва не обнимал и Сергея, и меня. Его радость была неподдельна и бескорыстна. Он еще не помышлял о диссертациях. Сергей-то хоть учил его, но я-то ему был зачем?

Антон Михайлович поздоровался приветливей, чем бывало все последнее время:

— Ну, что ж, ряды поредели, однако наступление продолжается! Меньше числом, но лучше качеством… Из нашей лаборатории никто не убыл. Теперь вы можете работать спокойно и продуктивно… Ну, о сроках можно лишь гадать. Вы кофе не употребляете? В подобных случаях самое подходящее -кофейная гуща. Из нее можно получить данные более достоверные, чем из любых слухов. Но сегодня можете работать спокойно. А что наступит в необозримом будущем, узнаем своевременно, в надлежащие сроки… План диссертации Валентины Ивановны утвержден. Ну, что ж, план весьма занимательный. Насколько я могу судить, Валентина Ивановна намерена с вашей помощью сотворить нечто вроде акустической фонетической энциклопедии для всех времен и народов. Основные методы построения: «мала куча» и «что в печи, на стол мечи»… В любом ином случае я стал бы возражать, настаивать на ограничении, на более четкой конкретизации. Но поскольку эта работа все-таки первая в своем роде, я счел возможным дать «добро». Один повар говорил: «Из десяти фунтов мяса можно легко приготовить две порции жаркого по фунту-полтора; но из двух фунтов мяса весьма трудно сделать десять порций хотя бы лишь по полфунта каждая»… Ну, что ж, давайте ваши десять фунтов, но только доброкачественного диссертационного мяса. Окончательную порцию жаркого можно будет и урезать. Надеюсь, что уважаемая Валентина Ивановна представит отличную диссертацию. Прошу только помнить, что ее требуется не только написать, но еще и защитить. Да-с, нотабене, защитить от неких ученых оппонентов перед лицом ученого судилища. Я не хочу вас пугать, Валентина Ивановна, разумеется, это будет не смертельный поединок, а, так сказать, фехтование на рапирах с мягкими наконечниками. Но все же должен быть соблюден известный дуэльный ритуал, то бишь порядок научного обсуждения. Оппоненты могут высказать и сомнения и возражения… Когда вы полагаете финишировать?.. Нет, я не тороплю. Поспешность пригодна лишь при ловле блох. Но зато медлительность бывает наказуема. А ваши сроки, Лев

Зиновьевич, истекают, кажется, уже скоро?.. Еще два с полтиной. М-да, не слишком много… Вы здесь приобрели такие знания и такой опыт, которые и в других местах могут служить отечеству на пользу и вам в утешение. Разумеется, при достаточно пристойном поведении, что я вам уже неоднократно внушал. Здравый смысл и благопристойность полезны всем и везде. Но уж вам они просто жизненно необходимы. Не правда ли, Валентина Ивановна?..

* * *

И в лаборатории снова все пошло по-старому. Но испуг тех двух дней побудил меня навести порядок в архивах. Я хранил их в лабораторном столе, потому что там все же меньше опасался шмона. И к тому же необычность разноязычных текстов могла быть объяснена необычностью моей работы. А среди множества научных и наукообразных записей легче было укрывать стихи и заметки по истории, философии и литературе. В юртах наши вещи обыскивали, как правило, без нас, накануне всех праздников и просто когда заблагорассудится начальству. Если у кого-нибудь обнаруживали «неположенное» — инструменты, рисунки или записи, в которых вертухаи могли предположить материал, вынесенный из рабочих помещений, то «виновных» вызывали к тюремному и к шарашечному куму, допрашивали, заставляли писать объяснения. Поэтому в тумбочке и в фанерном чемодане под моей кроватью я держал только книги, получаемые из дому, некоторые словари и конспекты лингвистических работ.

Все блокноты, тетради и папки, остававшиеся в рабочем столе, я пронумеровал, снабдил оглавлениями. Составил подробную опись своего «личного научного архива» и напечатал ее в нескольких экземплярах. Блокноты и записные книжки со стихами обозначались как «Переводы с английского, немецкого, китайского и других языков» и «Материалы для занятий иностранными языками». Письма и снимки родных, некоторые вырезки из газет, рисунки,

дружеские шаржи, блокноты со стихами русских и иностранных поэтов, с прозаическими цитатами, с точно помеченными ссылками я сложил в отдельной папке, откровенно надписанной «Личный семейный архив», и также снабдил описью-оглавлением.

Единственное, на что я мог рассчитывать, была надежда на «Санкт-Бюрократиуса». И в дальнейшем эти расчеты оправдались. Все свои записи я вынес на волю.

Новый, 1953 год мы встречали невесело. Из четырнадцати жилых юрт, еще недавно плотно заполненных, лишь в четырех оставались жильцы. В новогоднюю ночь дежурил бестолковый придирчивый капитан, которого мы называли то Пифагором, то Лобачевским или Эйнштейном, — он постоянно сбивался во время поверок, растерянно считал и пересчитывал…

В новогодний вечер он несколько раз заходил и беззлобно, но нудно требовал, чтобы все «лягали по своим спальным постельным местам».

— Не положено сидеть ночью. Ну, я знаю, знаю, что Новый год. Но порядок должен быть во все годы, старые и новые. Кто хочет проздравить, должен проздравлять, чтоб не нарушать… А другие, например, спать хочут. Вот люди уже лежат, как положено, отдыхают. А вы нарушаете… Я ж уже час назад сказал — отбой, а вы обратно сидите… Говорю последний раз, потом буду записывать, доложу начальнику. Вас накажут. Кому это нужно? Давайте выключайте свет. А кто в тамбуре, кончайте курить.

* * *

В полночь в темной юрте мы поздравляли друг друга:

— С Новым годом! Хорошо бы он прошел на старом месте… Хоть бы новых бед не было.

Кто-то вполголоса затянул старую блатную песню тридцатых годов:

Новый год — порядки новые,
Колючей проволкой наш лагерь обнесен.
Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть грозит со всех сторон.

В первый рабочий день нового года заключенные и вольные — офицеры и гражданские здоровались друг с другом так же, как все люди там, за оградой: «С Новым годом! С новым счастьем! В новом году всего наилучшего!»

На моем столе лежало несколько шоколадных конфет. Валентина кокетливо улыбалась: «Это вам и Сергею Григорьевичу принес Дед Мороз».

…Тринадцатое января 1953 года — сообщение об аресте кремлевских врачей — «убийц в белых халатах».

По радио и в газетах — проклятья гнусным наемникам международного империализма, агентам «Джойнта», коварным сионистам, врагам народа.

Валентина, Иван, Гумер, Евгения Васильевна рассказывали:

— …Закрыто несколько аптек для срочной проверки… Были слухи, что еврейские аптекари продавали отравленную вату… В поликлиниках больные отказываются идти на прием к докторам с еврейскими фамилиями… В каких-то школах побили еврейских мальчиков… Из электрички вытолкнули старика, который стал возражать, когда ругали проклятую нацию… Врач «скорой помощи» сказал, что почти каждый день случаи самоубийства евреев… Отравилась старая докторша, член партии, участник войны. Повесился врач, у которого внезапно умер больной.

В эти дни Валентина умерила свое экзальтированное жидоедство. Один раз даже сочувственно говорила о ненавистном отчиме, которого увольняли с работы:

— Конечно, у него ужасный характер. Эгоист, воображает, что он пуп земли. Но он знающий, опытный врач. Всю войну был на фронте, ранен, награжден. Надо ж понимать, что евреи бывают разные… Теперь из органов увольняют всех, даже тех, у кого только

мать еврейка. Понятно, в органах это нужно для бдительности. Но ведь врачей можно использовать.

Тревожное напряжение казалось почти осязаемым. Оно ощущалось даже не столько в произносимых словах — в коротких, все более сдержанных разговорах о газетных новостях, в зловещих слухах, — сколько в паузах, в случайных взглядах, настороженных, подозрительных или сострадательных.

Николай Владимирович А., старожил шарашки, немолодой инженер откуда-то с юга, иногда неприязненно спорил со мной. Он не скрывал, что считает Октябрьскую революцию величайшим бедствием в истории России, а марксизм-ленинизм — претенциозным лжеучением. В один из этих дней он хмуро сказал:

— Знаете ли, я всегда относился к еврейству с известной антипатией, вернее, с недоверием. Многие представители этой нации играли, скажем, весьма сомнительную роль в нашей новейшей истории. Но сейчас я убежден, что ни один порядочный русский человек не может позволить себе плохо относиться к евреям. Сейчас, когда такой открытый, хамский антисемитизм стал господствующим духом властей, постыдно с ними хоть как-то солидаризоваться. В эти дни я толковал с нашими немцами. Некоторые злорадно хихикают. Но двое — интеллигентные, порядочные люди — говорят: то же самое было у них при Гитлере, и они это считали национальным позором, хотя они — националисты… А как же тут, у вас, где правят коммунисты-интернационалисты? Я мог им только ответить, что я — русский националист и тоже считаю все происходящее сейчас нашим национальным позором и думаю, что советский интернационализм не слишком отличается от немецкого национал-социализма.

Сергей и Семен приставали: неужели я и это могу оправдывать высшими соображениями — исторической необходимостью, интересами социалистических государств?

Сергей, как всегда, напористый, пылкий, то сердито ругался, насмешничал, то истово уговаривал. Семен подчеркнуто спокойно, скептически-рассудительно донимал меня хитрыми вопросами, уличал в действительных и мнимых противоречиях.

Возражая, я пытался объяснить им и себе:

— У сионистов, конечно, есть и террористические организации. Пять лет тому назад они действовали в Палестине против англичан, против арабов, взрывали, убивали. Они убили представителя ООН, шведа Бернадота, убили иорданского короля и еще кого-то… Советский Союз сейчас начал помогать арабским странам; должно быть, поэтому сионистские террористы пытаются действовать и здесь. Вероятно, завербовали кого-то среди кремлевских врачей… Но не может быть, чтобы все, кого называли в сообщении, были заговорщиками. Не верю, что Михоэлс был шпионом. И вовсе дико, нелепо подозревать, обвинять целую национальность. Как заводятся подобные дела, кто-кто, а мы, старые арестанты, знаем. Один сукин сын — шпион или заговорщик-антисоветчик — раскалывается и, спасая свою шкуру, закладывает уже не только соучастников, но и всех знакомых, а еще больше незнакомых; даже нарочно, чтобы скрыть, обезопасить настоящих преступников, оговаривает возможно больше невинных… А в органах любят громкие дела, чтоб числом побольше, масштабом поразмашистее.

В январе и феврале 53-го года отвращение и ужас были еще мучительнее, безнадежнее, чем в 49-м году, когда травили космополитов и фельетоны рябили «скобками»: Яковлев (Хольцман), Холодов (Меерович)… И злее, назойливее, чем тогда, одолевала подлая мысль — хорошо, что я в тюрьме, что у меня нет выбора, не должен публично выступать и никто не потребует, чтобы я во имя партийного долга обличал Веселовского и Шамиля, Юзовского и Шостаковича, чтобы врал о приоритетах, об извечной самобытности и культурной независимости России…

Тогда я сознавал, что в МГБ и в прокуратуре, в судах и в значительной части партийного и государственного аппарата преобладают безыдейные, цинично-бессовестные карьеристы либо добросовестные, невежественные, тупые исполнители. И те, и другие развращены всяческими привилегиями, подачками, мишурой наград, званий, мундиров. Им необходима вражда к Югославии, преследования и казни болгарских и венгерских оппозиционеров, вой-

на в Корее, а внутри страны — дело кремлевских врачей, погромная травля…

Может быть, это очередной хитрый маневр целеустремленной сталинской тактики и стратегии? Очистка тылов перед неизбежной войной с англо-американцами? И к тому же он хочет заручиться поддержкой арабов. На Востоке наши союзники — Китай, Корея, вьетнамские повстанцы. А кто на Западе? Только безоружные коммунисты, которых все больше теснят и во Франции, и в Италии…

Но Сталин уже не Генеральный Секретарь. Вместо Политбюро многоголовый Президиум. И всем заправляет Маленков, — он был докладчиком на XIX съезде осенью, — он самый молодой, о нем говорят: «Ненавидит всех евреев».

И мы уже знали, что арестованы жена Молотова, братья Кагановича; о внезапно умершем Мехлисе кто-то сказал: «Во-время застрелился».

Евгения Васильевна рассказывала: «Теперь уже достоверно известно — Абакумов был арестован и осужден за то, что прошляпил заговор врачей, и даже сам Лаврентий Павлович тогда получил взыскание…»

А может быть, идет наступление каких-то новых темных сил, оттесняющих уже и Сталина?.. Не против них ли были направлены его последние статьи об экономике социализма? Он тогда писал, не называя имен, о людях, «не понимающих, что и у нас действуют объективные законы стоимости». Это утверждение противоречило всему, что раньше утверждалось нашей пропагандой.

Я старался понять причины и смысл новых событий.

Можно было отчетливо представить себе, что делается на Лубянке, в Лефортове, в Сухановке, — как усталые, ожесточенные следователи вымогают, выдавливают, выколачивают признания и показания. А подследственные — недавно еще благополучные, сановные врачи — дуреют от бессонниц, коченеют в карцерах, ослаблены голодом, оглушены бранью, угрозами, измочалены побоями… Все это я представлял себе явственно до жути, до боли.

Но что же происходит там, в Москве, в других городах?.. Что испытывают мои родные, друзья, бывшие товарищи, знакомые?.. Ужас неведения, непонимания теснил еще мучительнее, душил отчаянием

А работа продолжалась как обычно. Мы проверяли разборчивость новых каналов. Шли артикуляционные испытания. Я подсчитывал ошибки в таблицах. Разглядывал, промерял звуковиды, что-то соображал, рассчитывал… Слушал болтовню Валентины. Отвечал на вопросы начальников, Ивана, товарищей… После работы учил офицеров немецкому и английскому. Писал и переписывал страницы будущей чужой диссертации… И каждое утро перед поверкой, подавляя страх, включал репродуктор в тамбуре между юртами, слушал известия, статьи, резолюции митингов, письма рабочих и школьников, артистов, прославляющих героического доктора Лидию Тимашук[7], требующих «беспощадной расправы». А потом в лаборатории слушал, как Гумер шепотом, а Иван и Валентина вполголоса рассказывали: «Побили в школе… Вытолкали из автобуса… Побили в очереди до полусмерти… Говорят, в больнице делали уколы, заражающие сифилисом… Повесился… Отравилась… Выбросился с пятого этажа… Выгнали с работы… Выгнали из института…»

Вокруг кто искренне возмущался: «Это же почти как у Гитлера было», кто злорадствовал: «За что боролись, на то и напоролись…» И снова, и снова одни сочувственно, другие неприязненно спрашивали: почему же все-таки везде и всегда — евреи? И в древности, и в Средние века, и в Новое время? То во Франции Дрейфус, то в России Бейлис, то в Германии полное истребление… А теперь опять у нас «безродные космополиты»… «убийцы в белых халатах»… Почему именно эта нация вызывает столько ненависти, такие гонения?

---

[7] Лидия Тимашук — врач Кремлевской больницы. По официальным сообщениям (январь 1953 года), якобы именно она была первым разоблачителем врачей-заговорщиков. О ней писали восторженные статьи и стихи. В апреле 53-го года Президиум Верховного Совета отменил свой указ о награждении Л. Тимашук орденом.

Как я мог отвечать на эти вопросы, если и сам уже сознавал, что все известные мне объяснения — Лессинга, Маркса, Владимира Соловьева, Ленина, Горького, Фрейда — оказываются недостаточными?

В истории проступает закономерность. Взрывы массовой вражды к евреям происходили во время или после массовых бедствий, социальных кризисов. В средневековой Италии после землетрясения евреев закапывали живьем, во время чумы сжигали. В Испании после разгрома мавританских государств началось жестокое обнищание, которого не облегчали все заморские победы и завоевания. Именно тогда инквизиция стала беспощадно преследовать еретиков, евреев и марранов (крещеных евреев). После жестоких поражений испанской империи у берегов Англии, в Нидерландах и в Германии их окончательно добивали или изгоняли. Это не избавило христианнейшее королевство от бедности и кровавых усобиц в последующие три столетия. Первые погромы в Европе учиняли крестоносцы на пути в Святую землю. На Украине евреев громили восставшие гайдамаки. В Польше массовый антисемитизм распространился после разделов страны. В Германии — после наполеоновских войн. Во Франции дело Дрейфуса было одним из последствий поражения 1870 года… Гитлеровцы повели за собой множество сторонников после кризиса 29 — 32-го годов…

— Ну, и что же? Все это лишь доказывает, что в еврействе заключены какие-то сокровенные зловещие силы — некие ферменты, дрожжи, вызывающие брожение в обществе, микробы, возбуждающие массовые психозы.

— Мистическая чернуха! А когда в Турции резали армян, когда в Америке линчуют негров, когда в Китае в 1900 году убивали всех белых, — какие там ферменты или микробы?.. Нет, просто и там, и здесь дикость, варварство. Такие же, как при Чингисхане, при Тамерлане, при всех древних и полудревних завоевателях, истреблявших целые народы.

— Ну, древность тут ни при чем. Человек всегда был, есть и будет зверем. Только в зоопарках и в цирках иногда приручают хищ-

ников, чтоб, как в Писании, «лев с ягненком рядом»… Однажды я видел такое: в небольшом загоне жили кролики — трусливые вегетарианцы-кролики. К ним поместили зайца. На всякий случай все же в отдельной клетке. Ночью они прогрызли деревянные стенки и зайцу все брюхо клочьями вырвали. Так вот и погромщики — это чаще всего — разъяренные кролики. В обычных условиях они — мирные обыватели. А чуть что необычное — голод, война, чума, революция, — рвут в клочья всех, кого принято считать чужаками. В Турции армян, в Германии и в России — евреев, в Америке — негров, в Африке — белых, католики — гугенотов, мусульмане — христиан… — Так что же, это все — природа? И значит, вообще неизлечимо?

— Не знаю, не знаю. Может быть, когда-нибудь. Но только не при нашей жизни.

Такие рассуждения возмущали мой марксистский рассудок и жестоко язвили мировосприятие, воспитанное заветами человеколюбцев от евангелистов до Короленко. Не мог и не хотел я верить во врожденное зверство людей.

— Гитлер писал в «Майн Кампф», что расизм — закон природы. «Волк не сочетается с медведем, собака с кошкой, щегол с орлом, так как это различия рас, предписанные провидением»… Но различия между человеческими расами и народами нелепо отождествлять с различными видами у животных.

— А почему бы и нет? Ведь Маркс-Энгельс называли человека «животное, изготовляющее орудия труда»… Это я сам учил — сдавал диамат.

— Хреново учил. Чистая двойка! Это еще до них придумал какой-то англичанин — «тулмэйкинг анимал». Маркс и Энгельс только цитировали, хоть и сочувственно, но вовсе не как точное определение. Однако даже если сравнивать людей с животными, то различия между человеческими расами — это не различие между волком и медведем, собакой и кошкой, а между различными породами волков, собак и кошек. Волкодав от пуделя отличается больше, чем швед от бушмена или негр от китайца. Но и среди живот-

ных различные породы одного вида сосуществуют и скрещиваются. Зато дерутся между собой и самцы одной стаи из-за самок, из-за пищи, и дерутся не менее зло, чем с чужаками. А человек, как ни мудри, — по Фрейду, или Павлову, или даже по любым расистским теориям — все-таки не животное. «Голос крови» — старая сказка. Но если и допустить некую реальность «голоса крови», то неужели у человека он сильнее, чем голос разума? И к тому же вообще не существует «чистопородных» наций. Только за два последних тысячелетия в Европе смешивались и перемешивались кельты, римляне, эллины, скифы, германцы, славяне, финны, монголы. И у европейских евреев — те же коктейли генов. Нет никаких таинственных дрожжей и микробов. Есть лишь разные виды лжи, и многовековой, и новейшей, и действуют все те же безрассудные, но неопровержимые предрассудки: украдет Иван — говорят: украл Иван; украдет Абрам — говорят: украл еврей.

Для меня была очевидна историческая необходимость и плодотворность ассимиляции. Это доказывали немецкая поэзия Гейне, первый немецкий крестьянский писатель Бертольд Ауэрбах, польский поэт Юлиан Тувим, русская музыка Рубинштейна и советских композиторов с еврейскими именами, русское искусство Антокольского и Левитана, русские поэты и писатели — Пастернак, Сельвинский, Багрицкий, Светлов, Ильф, Василий Гроссман.

— Русские-то они только по языку. Так и любой немец или француз в переводе становится русским. В музыке и в живописи я не разбираюсь, но ты сравни Пастернака с Есениным, Багрицкого с Твардовским, Гроссмана с Шолоховым… Сразу видно, кто русский, а кто вроде.

— А ты сравни Есенина с Маяковским, а Твардовского с Асеевым или с Хлебниковым; по крови они все русские, но различья никак не меньше.

— Нет, брат, тут ты ничего не докажешь. Это чувствовать надо. Душой чувствовать, всеми потрохами, всей кровью…

— Ну, а как ты чувствуешь своими потрохами разницу между Иоффе и Поповым или между Капицей и Ландау? Между физиками и математиками с разной кровью?

— Да ты не обижайся, ты хороший мужик. Я тебя уважаю и люблю. Но все-таки твои потроха — не русские. И я это вовсе не считаю недостатком, даже наоборот. Я тебя ценю как друга-товарища больше всех своих друзей-русаков. И вообще я убежденный интернационалист, поверь — не меньше тебя… Но я вижу и чувствую: нация — это факт. Вот и сейчас ты и Семен — хоть у него и русская мамаша, — но вы оба переживаете больше или не больше, но по-другому, чем я, Сергей, Николай, Вадим… Хоть ты все это стараешься объяснять, а мне просто вот как противна брехня про врачей и весь этот вонючий сталинский антисемитизм… Да, да, именно сталинский. Ты себя напрасно убеждаешь, утешаешь. Это все он, отец и друг всех народов, придумал. Как раньше с кулаками и подкулачниками, потом с вредителями и врагами народа, так теперь с кликой Тито и еврейскими заговорами. «Узнаю дролю по походочке»… Он ведь хитрая бестия! Может быть, и вправду гений, только ох какой злой гений. Он всегда знает, на кого свалить вину за свои грехи, за свои пакости. И всегда находит помощников, и холуев, и крикунов. Против кулаков и подкулачников он всю деревенскую шваль поднял, всех бездельников, пьяниц, воров, завидующих на чужое добро… Против вредителей и врагов народа черте-те какие массы раскачал, всех, кому остоебенили пятилетки, очереди, голодуха, неполадки, нехватки сего, недостача того… Вот вам виноватые! Ату их! Бей, не жалей! Ведь тогда по всей стране партийные головы полетели, а заодно уж и наш брат — инженеры и прочие интеллигенты хитроумные, чтобы не рассуждали, чтобы ненароком не уличили его, не проболтали правду…

Вот так и теперь должен кто-то отвечать за все прорехи. Он уже сразу после победы взял прицел. Помнишь его тост за великий русский народ, за его смирение, терпение, доверие. Он не намекал, а напрямик сказал: другой народ таких правителей давно бы по жопе наладил, а наш терпит… Тост вроде во здравие, а ведь по сути всему на-

роду в морду плюнул. Но тут, конечно, все так и зашлись в «бурных, долго не смолкавших…». Отец родной похвалил. А теперь вот надо этому долготерпеливому народишку, чтоб он не взбрыкнул, новый корм подсунуть. Новых кулаков не завели; с врагами народа тогда и вовсе хреново получилось — перебили маршалов, генералов, лучших оружейников, а потом драпали до Волги, до родной Грузии, Ленинград выморили… Так теперь он придумал по-другому: «Бей жидов!» Старый, проверенный трюк, его уже царь Николай и депутат Пуришкевич применяли. В 1905 году вроде помогло: кто жидов громил, тот на власть не посягал. Но в 1917 году уже не сработало… Не знаю, на что он сейчас рассчитывает. Ну, сотню-другую врачей и неврачей перестреляет, повесит; ну сколько-то тысяч или сотен тысяч посадят, загонят на Воркуту, на Колыму… А с остальными что делать? Вчера тут наши господа офицеры говорили, что всех евреев отправят в Биробиджан, что там уже спешно бараки строят, пшено для баланды завозят… Так неужели мудрейший из мудрейших надеется, что после этого американцы из Кореи драпать начнут или Аденауэр с Ульбрихтом побратается и к нам в подданство попросится? А я думаю, что это опять такой же гениальный трюк, как тогда, когда он с Риббентропом обнимался, Гитлеру на вечную дружбу присягал. Признайся, ведь тогда вы, хитроумные энтузиасты, тоже голосили: «Ух, гений, ох, стратег! Ах, как мы теперь всех империалистов угребем!» И гребли. Конечно. Как же: вся Прибалтика, хороший кусок Польши, Бессарабия… На финнах, правда, обожглись, но все же кусочек выгребли. А что потом было? Во что нам те гениальные трюки обошлись? Официально объявлено — семь миллионов погибших. Значит, считай, втрое больше. А сколько искалеченных? Сколько сирот, вдов? Сколько разрушено, уничтожено?.. Но теперь куда он гнет? От немецких пушек, танков, самолетов удалось отбиться, потому что народ долготерпеливый воевал, ничего не жалея. И англоамериканские империалисты подсобляли. И пушками, и тушенкой, и «студебеккерами». Да и сами они как-никак тоже воевали: пол-Германии в щебень, в дым разбомбили… Но сейчас, против атомных бомб, что поможет? Еврейские погромы?..

Нет, я не хотел с этим соглашаться. Не хотел верить, что все исходит от Сталина.

У себя на шарашке мы наблюдали чудовищно бессмысленное, хаотическое разбазаривание оборудования, приборов, бесценных научно-технических документов. Новые, прибывавшие с воли зеки, да и некоторые офицеры рассказывали, что и в других местах происходит нечто подобное. И о том, как варварски, мародерски и хищнически беспорядочно демонтировались немецкие заводы и лаборатории… Ведь все это же не по воле Сталина, а вопреки ему…

Вечером в лаборатории, включив репродуктор, я услышал о болезни Сталина.

В тот вечер и в последующие дни на шарашке и вольные, и заключенные говорили об этом мало, осторожно… Некоторые, заслышав, просто отходили в сторону. Но в юртах, в своем кругу, мы, кажется, уже ни о чем другом не могли разговаривать.

— Ну, раз объявили, значит, кранты!

— А может, все-таки вылечат?

— Если б надеялись, что вылечат, не объявляли б…

— Немцы наши дрейфят, — когда он копыта откинет, начнется заваруха, и первым делом всех нас — в расход…

— С нами еще, может, и погодят, но уж погромы будут страшные. Скажут, его жиды извели…

— А может, наоборот? Какое-никакое облегчение выйдет? Новым хозяевам надо быть поаккуратнее, стараться; чтоб им доверяли и здесь, и за границей…

— А кто новые хозяева? Разве они умеют по-другому хозяйничать? Для них для всех авторитет возможен только на страхе. Значит: дави, сажай, стреляй! Бей своих, чтоб чужие боялись…

— Так-то оно так, но с международным положением считаться надо. От китайцев помощи ноль и хрен десятых. Они в Корее сто против одного и то в дерьме по уши завязли. А как поляки, немцы, венгры нас любят — это вожди-то уж знают не по газетам… Значит, должны понимать, что получится, если американцы всерьез возьмутся. Я видел, как они Германию разделывали. Ни в сказке ска-

зать, ни пером описать… Летели сотни-тысячи в два, три слоя. Одного, другого собьют — сотни-тысячи летят дальше… И кроют по площади. Называется «ковровые бомбежки». Никакого спасения!.. А теперь у них еще и атомные бомбы… Одна ахнет, и Москвы как не бывало…

— Это он мог бы еще рисковать, мудрить, хитрить. Он старик образца «до 1917 года». Он еще надеялся на массы, на классовую борьбу, на китайское пушечное мясо. И еще привык, как урка, брать на горло, на оттяжку. А если не выходит, может и в задницу полезть, как тогда Риббентропу. Но кто помоложе, тот понимает, что с атомной бомбой, с кибернетикой-электроникой теперь все по-другому. Нам, чтобы американцев догнать, еще сто лет говном плыть. Значит, нужно присесть, подумать, почесать за ухом, позвать на толковище: «Давай, дядя Сэм, по-хорошему! Не будем хренами меряться, сделаемся как честняги. Ты мне, я тебе». Вот тут-то и нам воля посветит. «И я вернусь, когда растает снег…»

— Маниловщина! Хоть ты и по фене ботаешь, а рассуждаешь, как помещик господин Манилов. Воевать-то они скорее всего не будут, но вот чего нам ждать от них, от Лаврентия Павловича и Георгия Максимилиановича?.. Ты представляешь, сколько нас в тюрьмах, в лагерях, в шарашках?.. Но сколько миллионов? Вот ты его спроси, мы еще в прошлом году вместе с математиками научно точно подсчитали: взяли данные выборов за один год, за другой, взяли данные переписей и сравнили с таблицами населения по энциклопедии. Из первого издания, во втором уже нет — гостайна! И по всем законам статистики и теории вероятности получилось в среднем пятнадцать миллионов! Возможное отклонение — плюс-минус два-три миллиона. А сколько при всех лагерях и тюрьмах кормится начальства, вертухаев и разных вольняг? А сколько топтунов, оперативников, следователей, прокуроров, судей, конвоя?.. Это же побольше любой среднеевропейской нации! Так как же Берия или Маленков могут нам слабину пускать? Ведь светопреставление получилось бы: миллионы бывших зеков и сотни тысяч безработных

вертухаев им пострашнее атомной бомбы… Нет, ничего хорошего нам ждать нечего…

— Да и сейчас уже все так хреново, что хуже быть не может. В общем, как хохлы говорят: «Хай гирше, абы инше»…

— Ну, что ж, так и будет — именно гирше.

Будет хуже. Так чаще всего думал и я. Занозами саднили неотступные мысли. Он заболел, конечно, неизлечимо. (В лагерях я достаточно познакомился с медициной, чтобы понимать смысл бюллетеней.) Если даже чудом ему продлят жизнь, то это будет прозябание немого паралитика. Но всего вероятнее смерть, и очень скорая. Не ради этого ли затевали дело врачей? И тогда чего именно хотели? Объявить их виновниками неизбежной смерти, чтобы потом перебить тысячи и сотни тысяч на варварских тризнах?.. Или нарочно хотели убрать именно честных, преданных ему врачей и для этого придумали заговор, зная, как он подозрителен, мнителен?.. А он поверил и тем самым открыл путь настоящим убийцам… Но одно не исключает другого. Врачей убрали и для того, чтобы умертвить и чтобы иметь «конкретных виновников» — начать великие погромы и окончательно отбросить рудиментарные пережитки большевизма-ленинизма.

Об этом я сказал и при Валентине, когда она стала рассуждать: мол, те самые врачи и довели товарища Сталина.

Она испуганно замахала ресничками и наманикюренными короткими пальчиками:

— Ой, что вы говорите?! Что вы говорите? Ведь если услышат, тогда и вам, и мне…

Сергей перебил ее негромко, но властно:

— Что это с вами, Валентина Ивановна? Ничего такого особенного он не сказал. Я ведь рядом стою, все слышу. Он душой болеет за здоровье товарища Сталина и все время говорит, что надеется, что о нем заботятся самые лучшие врачи Союза и что они вылечат его на радость нам и на страх врагам. Именно так я точно слышал, и не раз. И не могу понять, что вам померещилось… Это все от нервов. Такие нервные уж нынче дни.

Потом он материл меня:

— Если тебе своей жизни не жалко, ты бы, гуманист, хоть о других подумал. Ты же знаешь, что в таких случаях одного не тянут. Да еще сейчас. А мы его пережить должны. Пережить, а не в петлю лезть.

* * *

Шестое марта. Вчера он умер! Ждали уже несколько дней. И все же как взрыв… И я словно после взрыва — оглушен, контужен. Смотрю, слушаю, будто сквозь густой дождь: светло, но все расплывчато, гулко, но невнятно.

Из репродукторов — траурная музыка: Моцарт, Бетховен, Шопен, Чайковский, Брамс…

У Валентины Ивановны красные глаза.

— Всю ночь плакала. У мамы просто истерика. Сегодня утром здесь был митинг. Докладывал Константин Федорович. Даже он, такой сухарь, едва сдерживал слезы. Одна чертежница в обморок упала. И я все время боюсь потерять сознание… И знаете, что я вам скажу? Я видела, как простые люди переживают. Солдат в проходной как ребенок плакал, и все уборщицы. А некоторые товарищи офицеры, члены партии, после траурного митинга, — я сама слышала, — о футболе разговаривали. Один — я не хочу говорить кто, я не доносчица — даже с улыбочками что-то доказывал… Вот я вижу, что вы переживаете. Я в людях разбираюсь, я сразу вижу — где искренность, а где притворство… Вот и Сергей Григорьевич, — хотя он всегда против всего, но я вижу — он тоже переживает… А другие — совсем наоборот. И как обидно, что некоторые члены партии и комсомольцы ходят как ни в чем не бывало.

Антон Михайлович в эти дни не приходил. Василий Николаевич говорил кому-то по телефону, что у него сердечный приступ, нервное потрясение.

В юртах напряжение как будто спало. Хотя никто не радовался в открытую. А надзор, напротив, заметно усилился. Смены вертухаев стали вдвое-втрое многочисленнее. Они все время патрулировали по нашей главной дороге, пересекавшей двор, и заглядывали в юрты.

У товарищей я иногда замечал взгляды, поблескивавшие весело, у иных — пытливо-злорадные — каково тебе сейчас? Но большинство держалось так, словно ничего особенного не произошло. В те два декабрьских дня, когда стольких увезли от нас, все были куда тревожнее и печальнее.

А я стискивал, натужно стискивал себя, как пустой кулак. Не хотел, чтобы кто-нибудь заглянул в меня, догадался, что и как думаю. Не хотел, чтобы начальники и вертухаи вообразили, будто нарочно напускаю на себя печаль, не хотел и чтобы свои представили, поняли, как мне тяжело, какие одолевают воспоминания.

> ...В то июльское утро сорок первого года Надя разбудила меня бледная. Из черной бумажной тарелки репродуктора знакомый голос с акцентом: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои!» И потом горькие слова, горькие, но, казалось, предельно искренние и мужественные. И легкий звон стекла, бульканье воды. От этого домашнего звука внезапное ощущение близости. У Нади блестят слезы, вот-вот брызнут. И у меня перехватывает гортань.
>
> ...Ноябрьский вечер того же года в окопе. Темный, морозный. Снег падает медленно, густо. Вдалеке редко погрохатывают пушки. На той стороне частые ракеты. Одна за другой. Зыбкий, бледно-разноцветный свет. Из землянки выскочил радист. Орет: «Говорит Сталин! Уже передают! Сталин говорит из Москвы!»
>
> И опять его голос, его акцент, его неторопливая речь. Казалось, говорит спокойно, уверенно... Мягкая, словно бы нарочито неловкая шутка: сравнил Гитлера с Наполеоном — котенка со львом.

...Наутро в Валдае, в старом домишке. Воздушный налет. Грохоты разрывов. Домишко дрожит, будто прыгает, отрываясь от фундамента. А мы на полу пригнулись к остывшей печке у радиоприемника... На Красной площади парад. И опять говорит он. С Мавзолея. Тот же голос, те же интонации и новые, необычайные, неожиданные слова. Обещает победу «через полгода, через годик... Пусть осенит вас великое знамя»...

...Москва. Январь 1944 г. Отец навестил меня в госпитале после встречи с товарищем Сани. (Мой младший брат, Александр Копелев, был сержантом артиллерии.) Тот рассказал, что видел Саню в сентябре 41-го года в лесу где-то под Борисполем. Они выходили из окружения. Ночью на привале Саня читал свои стихи о будущей победе. Тогда он уже был ранен в плечо. Наутро прорывались через дорогу. Саня бежал с пистолетом, кричал: «За Родину, за Сталина!» Больше его уже никто не видел.

...Февраль 1945 года. Уличные бои в Грауденце. Последние бои, в которых я участвовал. Веселое, хмельное возбуждение — наступаем. Наша звуковка помогала артиллеристам. Я передавал команды «прямо по воздуху» на огневые. Мы все знали: победа близка. Город окружен. Близка и главная, всеобщая победа. Задыхаясь от радости, орал: «За наших детей, за наших любимых, за Родину, за Сталина — огонь!»

В одной из опустевших юрт устроили склад: туда свалили тумбочки, табуретки, матрасы, всякую рухлядь. Дверь не запирали — кто позарится… Туда я уходил, когда становилось невтерпеж. Вспоминал и плакал… Холод, полумрак, пыль, кисло-прелые запахи успокаивали.

Все это время в газетах — ни слова больше о врачах-убийцах. Вспомнились и уже не отставали куплеты Пуришкевича, которые тот сочинил в 1919 году, когда в Ростове был убит один из руководителей казаков-сепаратистов Рябовол и его друзья подозревали, что убийцы — правые деникинцы:

Будет странно, станет глупо,
Если в наши времена
Не посеем мы у трупа
Пропаганды семена.

Почему теперь никакой пропаганды? Может быть, только отложили? Закончатся погребальные торжества, в которых участвуют иностранные гости, и начнутся кровавые поминки уже для внутреннего употребления.

…Девятое марта. День похорон. На поверке дежурный сказал:

— Сегодня выхода на объект не будет. После завтрака всем вернуться в юрты. И чтоб по территории никакого движения.

Опять, как в «утро стрелецкой казни», у наших дверей сменялись наряды из нескольких надзирателей. Они были сурово насуплены. «Повышенная бдительность».

А в юртах все было даже тише, чем обычно в часы кантовки. Кто спал, кто читал. «Забойщики» негромко постукивали костяшками, переругивались вполголоса. Только в тамбуре грудилась толпа побольше, чем всегда, курили, слушали радио. Бетховен, Шопен, Чайковский. Трагические напряженные голоса дикторов: репортаж из Колонного зала; телеграммы соболезнующих, скорбящих, потрясенных… Слушал я неотрывно. Пытался что-то услышать за словами, в несказанном — привычка читать между строк… Говорил Маленков. Уверенный голос, интонации и произношение образованного человека… Примечаю бесстрастность. Все обороты правильные — торжественно заупокойные, величальные. Но так же можно было бы говорить и на похоронах любого министра, маршала. Ни на миг, ни в одном слове нет ощущения беспримерного, бездонного горя — величайшей, невозместимой утраты… Нет и просто человеческого тепла. В меру скорбно.

Берия говорил с тем, сталинским акцентом, но куда быстрее. Почти скороговоркой звучали казенно-безразличные фразы об ушедшем «великом вожде». Зато он внятно подчеркивал бодрые интонации, уверенность в будущем. И слова о мире и еще раз о мире.

О Маленкове с почтительным придыханием: «ученик Ленина и соратник Сталина».

Ага, значит, уже просто «соратник». Король умер, да здравствует король!.. Сзади кто-то шепнул: «Слышишь? Кому ученик, а кому соратник».

Молотов натужно мямлил, заикаясь, и вдруг голос сорвался — всхлипнул… Единственный отзвук неподдельной печали…

В репродукторе уже рокотали траурные залпы, гудели сирены. Открыв дверь, я выглянул наружу.

Испуганно-сердито закричали вертухаи:

— Закрывай! Нельзя выходить!

Во дворе сирены и гудки едва слышимы.

— Не выхожу. Только слушаю. И вы бы лучше помолчали.

Осеклись. Ворчали невнятно, а сзади Сергей не утерпел:

— Чего ж это ты к ним нос высунул, а к нам задницу выпятил? Стал бы как положено — «смирно» и под козырек.

В следующие дни на шарашке рассказывали о гибельной давке на Трубной, на Дмитровке… Сотни убитых, задушенных… Да нет, тысячи! Ваня подробно описывал, как пробирался к Дому Союзов, ныряя под грузовиками, как пригодилось его удостоверение, «ведь на корочке крупные буквы — ЦК КПСС». Он говорил увлеченно, хвастливо, вскользь поминая о задавленных, о «целых колоннах карет «скорой помощи». Он забывал, что надо печалиться. В мальчишеской болтовне была жуткая достоверность. И назойливо думалось: Николай начал Ходынкой, а Сталин кончил.

Однако напряжение вскоре спало. Прошел еще день-другой; казалось, уже все все забыли… Работали по-обычному и разговаривали на обычные темы. В газетах еще дотлевали официальные сообщения, телеграммы соболезнующих иноземцев и соотечественников, цитаты из каких-то статей и писем.

И все еще ничего не было о врачах-убийцах.

Умер Сергей Прокофьев. В один день со Сталиным.

Пять лет тому назад его ругал Жданов, и конечно же с ведома Сталина; ведь тот еще раньше сказал о Шостаковиче: «сумбур вместо музыки».

Виктор Андреевич говорил, что Прокофьев — великий композитор. С ним соглашался и Семен, который смыслил в музыке больше меня. О смерти Прокофьева сообщали короткие траурные объявления, короткие, сдержанные заметки. Они были едва различимы в газетах, обрамленных черными полосами.

Но его музыка будет жить и жить. А когда умер Жданов?.. О нем забыли очень скоро.

И уже в первые дни после речей, залпов, сирен явственно иссякла память о самом-рассамом великом.

## *Глава двенадцатая*
## АСФАЛЬТНОЕ РАСТЕНИЕ

В кучке новопривезенных арестантов выделялся самый молодой — бледный, худой, большеглазый, в старой красноармейской шинели внакидку на потертом, изжеванном, но опрятном и явно заграничном пиджаке. Он умоляюще глядел на дымивших папиросами старожилов шарашки, которые проходили мимо:

— Пошальста, курит. Пошальста, немношко курит.

Жадно затянулся и, казалось, стал еще бледнее. Услышав немецкую речь, взблеснул глазами и весь задвигался, точно приплясывая:

— О Боже! Вы говорите по-немецки?!.. Меня зовут Курт А. Прошу вас, объясните, что это здесь такое? Где мы находимся?

Первый обед — после бутырской баланды — он назвал роскошным пиршеством. Получив в каптерке постельное белье, застелил койку:

— Боже мой, я четыре года не спал на простыне и подушке с наволочкой.

Блаженно попыхивая папиросой, он рассказывал, выразительно подчеркивая книжные обороты речи:

— Ну, что ж, здесь я, пожалуй, могу прожить мои двадцать пять лет. Хоть и получил их ни за что ни про что… Нет, никакой я не национал-социалист и никогда не был. Я потомственный пролетарий. Берлинское асфальтное растение. Отец был мастером у Симменса, а я работал в разных фирмах — сперва у станка, потом электротехником и лекальщиком. Стал бригадиром, а там и мастером.

Ни в казарме, ни на фронте ни одного дня. Легкие слабые. Плоскостопие. Но главное — броня. Таких мастеров у нас от солдатчины берегли. Посылали меня и на другие заводы — в дочерние фирмы налаживать работу, учить мастеров. Больше года работал в Вене. Чудесный город. Люди приветливые. В первые дни коллеги на меня косились: пруссак — «пифке». Но потом мы отлично поладили. Многие говорили, что я по характеру настоящий венец — живу и другим жить не мешаю. После войны советские начальники меня ценили. Толковые русские инженеры в погонах понимали, что значит высший класс прецизионной механики… Но вдруг меня вызвал офицер контрразведки: «Почему вы, берлинец, работали в Вене? С какого года в нацистской партии? Какие получали задания на саботаж?»

Я доказывал — в партию никогда не вступал; отец был социал-демократом, дядя по матери даже коммунистом и двоюродный брат — юнг-коммунистом. Еще и после 33-го года листовки приносил… А я, как все рабочие, состоял только в Арбейтсфронт. Ну и в обществе «Сила через радость», — ходил в концерты, ездил на морские прогулки. Однако ни в партии, ни в штурмовых отрядах ни одного дня… Рассказывал о себе подробно, чистую правду, только правду. Нет, пытать не пытали. Ударили несколько раз. Я все доказывал — мои слова легко проверить, в Берлине можно справиться в канцеляриях фирмы, там же есть документы. Но они: «Твоего Берлина уже вообще нет; капут! Кого там искать? И какие бумажки?»

…Отправили в Бутырки. Здесь за год было только три допроса. Вежливо. Корректно. Писали то, что я говорил. Потом дали мне посмотреть все дело. Переводчик сел рядом, объяснял. Там оказались весьма наглые доносы. Два австрийца и один поляк, якобы работавший в моей бригаде, понаписали, что я нацист, фанатик, ругал советскую армию, агитировал за саботаж… Я стал объяснять, что все это ложь. Я этих людей не знаю. Они работали где-то по соседству. Ведь и они меня знать не могли. Спросите у тех, кто со мной работал.

Но следователь отмахнулся: «Пора закрывать дело. И так уже долго тянется. А вы все расскажете на суде. Вы обвиняетесь по ст. 1 Международного закона, принятого в Нюрнберге». Да-да, по тому же закону, по которому судили Геринга, Гесса, Риббентропа, Штрайхера. Но они-то ведь главные бонзы, вожди партии и райха. А я беспартийный пролетарий. Он смеялся: «Вот и хорошо, объясните это судьям».

Но суда никакого не было. Просто вызвал меня дежурный по тюрьме и объявил решение Особого совещания — 25 лет.

Курт был общителен, словоохотлив, любил щегольнуть образованностью. Он помнил отрывки из монологов Фауста и по разным поводам декламировал, старательно блюдя литературное, «сценическое» произношение. Часто напевал зонги из «Трехгрошовой оперы»: «Ja der Haifisch der hat Zähne» — и помнил наизусть много сюрреалистических стихов Моргенштерна.

Он уверял, что он убежденный антифашист, демократ, но всегда был вне политики, любит спорт, шахматы, женщин, хорошее вино; однако всегда любил читать, поэтому смыслит кое-что и в других вещах.

— Нацисты не все были одинаковы. Гиммлер — страшная фигура — беспощадный «райхсхайни», Лей — пьяница, болтун… Но Гитлеру нужно отдать справедливость — он был замечательный оратор, гипнотизировал аудиторию… Даже злейшие враги признают, что он- великий государственный деятель. Что он сделал из нищей Германии, раздавленной Версалем и кризисом! В 32-м году у нас было восемь миллионов безработных. Хозяйство замирало. Всюду шло разложение. Начиналась гражданская война. А он за пять лет создал мощную державу; потом за один год покорил всю Европу. И еще за два года завладел пространством от Пиренеев до Кавказа, от Сахары до Северного полюса… Конечно, он жестоко просчитался. Перетянул пружины. Переоценил союзников и недооценил противников. Немцы воевали по-европейски, по старым традициям: армия сражается, народ работает. А русские вели тотальную войну, ничего не жалея. И когда мы спохватились, оказалось уже поздно…

В Бутырках я целый год сидел в одной камере с генералами и офицерами нашего генштаба. Сам Черчилль называл генеральный штаб вермахта лучшим в мировой истории. Так что я уже знаю все, что происходило. Сталинград был просчетом фюрера. Итальянцы и румыны открыли наши фланги и тылы. Венгры тоже воевали куда хуже, чем предполагалось. Образовался безнадежный котел. И только после этого мы объявили тотальную войну… Мы еще могли победить, если бы пустили в ход ФАУ-3. Ведь уже ФАУ-1 и ФАУ-2 деморализовали англичан. ФАУ-3 поставило бы их и янки на колени. Но Рузвельт и Черчилль передали фюреру, что тогда они начнут тотальную газовую войну против немецких городов. А к тому времени даже солдаты позабыли о противогазах. Погибли бы десятки миллионов людей. И фюрер приказал не вводить в действие новое оружие… Да-да, конечно, он ошибался. Он слишком доверял своим подчиненным. Геринг уверил его, что Люфтваффе всегда будет превосходить всех противников. И фюрер задерживал разработку ФАУ, отказался от атомной бомбы. А янки выпускали с конвейеров летающие крепости, сажали в них пьяных негров и начали террористические ковровые бомбардировки всех городов. На фронте они драпали. В декабре 44-го года в Арденнах наше рождественское наступление едва не сбросило их обратно в море. Но зато они превратили в развалины Берлин, Гамбург, Кельн, Франкфурт, а Дрезден — открытый город, город лазаретов и искусства — уничтожили за два дня. Для Германии война стала самоубийственной. Конечно, Гитлер во многом виноват. Но посмотрим, какой еще приговор вынесет история.

…Ланге — ординарец Гитлера, был в Бутырках моим соседом… Он рассказывал, что фюрер по-человечески симпатичен, вежлив, скромен, воздержан в пище. Совсем не пил. Вот это уже было мне не по вкусу. Боюсь трезвенников. Чаще всего они — холодные, жестокие прагматики. Аскетические повадки Гитлера меня больше всего отталкивали. И, конечно, образования ему не хватало. Человек из народа. Гениальный самоучка. Прекрасно разбирался в живописи, архитектуре, скульптуре. И сам рисовал, писал акварели. Мой ку-

зен, доктор философии, знаток искусств и уж никакой не наци, — его брат был женат на еврейке, — говорил, что фюрер мог бы стать великим художником, если б отказался от политики…

Ланге подробно рассказывал в камере, как в сороковом году, когда наши войска заняли Голландию, некоторые офицеры и солдаты ходили навещать бывшего кайзера Вильгельма на его ферме. Тот их принимал церемонно и только стоя на террасе в саду. Они щелкали каблуками: «Majestät… Majestät».

А он покровительственно кивал: «Поздравляю с победой, мои храбрецы!» И тогда же послал телеграмму Гитлеру: «Мой фюрер, поздравляю и надеюсь, что под вашим великолепным руководством будет полностью восстановлена германская монархия». Понимаете: «восстановлена монархия». Фюрер и смеялся, и сердился, повторял несколько раз: «Поверьте, Ланге, мы должны коленопреклоненно благодарить социал-демократов за то, что они прогнали этого надутого болвана… Он, видите ли, надеется, что немецкий народ восстановит его трон, а я буду при нем вместо Бисмарка, которого он же уволил на горе Германии… Такой идиот!»

…Да-да, война на Востоке была роковой ошибкой — цепью роковых ошибок. Это Геббельс признал уже сразу после Сталинграда… Вы тоже помните ту февральскую речь в Спортзале? Вот кто был оратор, пожалуй, не хуже Гитлера — eine Rednercacone! Сокрушительно красноречив. До 33-го года и соци и коци[8] боялись его речей больше, чем всех револьверов, дубинок и кастетов… После Сталинграда он первым сказал: «Мы просчитались». И объяснил, как и почему. Все, кто видел вашу Красную Армию, когда вы помогли нам стереть с карты Полякенленд, поражались: солдаты убого обмундированы, винтовки старого образца, вовсе нет автоматов, артиллерия конная, как при царях-королях… Танки быстрые, но поляки их поджигали винтовочными залпами. Правда, старые генералы, — те, что по традиции любят Россию, — предостерегали: «Внешность обманчива. Иван грязен и нечесан, однако зорко видит

[8] Т. е. социалисты и коммунисты.

и чутко слышит. Штаны у него дерюжные, зато кулаки стальные». Но когда Сталин попытался завоевать Финляндию, оказалось, что и сталь у вас непрочная. Финны били ваши стократно превосходящие войска… Немцы, которые уехали из Прибалтики, говорили о советских солдатах весьма пренебрежительно…

Пусть наши сводки в первые месяцы войны врали — преувеличивали даже втрое. Ведь и так пленных были миллионы. И наши солдаты, которые дошли до Волги, до Кавказа, по пути видели, как у вас люди живут, какая бедность везде, грязь, беспорядок. Ни деревни, ни города нельзя даже сравнить с нашими и вообще с европейскими… Ведь только немногие наши военнослужащие могли читать ваши книги, судить о театрах, о музыке! Большинство солдат — это рабочие, крестьяне, маленькие люди. Они признают осязаемые, реальные ценности. Они видели ваши дороги, ваши жилища, ваши товары… Да-да, конечно, ваши танки, пушки и самолеты были тоже вполне реальны. У нас кое-кто понял это уже в первые месяцы. Но таких было немного. Главный просчет Гитлера был на Востоке. Противник оказался куда страшнее, чем предполагали самые осторожные. Куда хитрее. Ваши генералы в Финляндии и в Польше гнали на убой своих солдат, чтобы убедить нас в своей мнимой слабости. И потом так же воевали в первый год с нами — бессмысленные массовые атаки, прямо на пулеметы — «Уррэ!». А наши генералы слишком поздно сообразили, что это были обманные маневры, что все эти кровавые потери и поражения — хитрые уловки. Вот так ваши стратеги и переиграли вермахт. Восточное коварство одолело немецкое прямодушие…

…Нет, нет, никакие это не фантазии. Я свободен от национализма. И я высоко чту и люблю вашу нацию, вашу культуру. Толстой, Достоевский — гениальные писатели. Я читал «Войну и мир», «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Я очень ценю русскую музыку, Чайковского, сюиту «Щелкунчик» готов слушать ежедневно… Но я люблю свою страну и знаю ее историю. На немцев всегда клеветали противники. Нам завидуют, потому что мы живем лучше, богаче, чище… В ту войну французы и англича-

не лживо приписывали нашим солдатам зверства и насилия. Сами разрушали бельгийские церкви и обвиняли немцев. Англичане первыми применили удушливые газы. Нет, нет, это я точно знаю. Вот и вас так учили. Вы, конечно, лучше других знаете наш язык и нашу культуру, но вас обучали тенденциозно… Я точно знаю, удушливые газы и бомбардировки с воздуха сперва применяли наши противники… Ну, в России, конечно, могло показаться по-другому, на Восточном фронте инициатива ведь была немецкой…

…Что значит — Герника, Ковентри, Роттердам? Все это сказки вашей пропаганды. В Испании наши летчики просто участвовали в боях, в транспортировке войск. Я хорошо знаю двух летчиков, которые были в легионе «Кондор»: честнейшие парни. Они рассказывали подробно обо всем — они никогда не бомбили мирное население… А в эту войну англичане первыми начали бомбить наши города. Наша авиация должна была отвечать им. В Голландии, Бельгии, Дании, Норвегии англичане и французы готовили внезапные удары. Наши их опередили. Но самолеты Люфтваффе бомбили только вражеские войска, укрепления, транспорты. И в Польше наши начали войну по-рыцарски. А поляки сперва, как сумасшедшие самоубийцы, бросались на танки с саблями и пиками — а после поражений действовали по-бандитски, из-за угла. В таких случаях международное право допускает суровые репрессии.

…Да знаю я про концлагеря. Ваша пропаганда все уши прожужжала. Но там действовали СС, и притом именно черные СС — охранные отряды, а не войска СС, как ваши всегда путают. Войска СС — это просто отборные части. Среди охранников, конечно, были грубые негодяи, из тех, кто у нас концлагеря охраняли. Такие способны на любую жестокость, любое свинство. Но выродки бывают в каждом народе… А что было, когда ваши армии ворвались в Германию? Насиловали и девочек, и старух. А сколько поубивали невинных людей ни за что. Просто так: «Немец, фриц, капут!» Но я же понимаю, что это были выродки, озверевшие от водки. А вы хотите, чтобы все немцы отвечали за выродков-эсэсовцев, за лагеря смерти? И к тому же вы все преувеличиваете. Ваша пропаганда утверждает,

будто в Катыни польских офицеров расстреливали немцы. В 43-м году там была международная комиссия, и было точно доказано: там работали ваши револьверы, ваши винтовки.

Рассказывая о себе, Курт чаще всего вспоминал любовные похождения с разнообразными «невестами» — девицами и дамами из хороших семей, с красотками-проститутками. Некоторые из рассказов напоминали фабулы детективных романов. Красавица увлекала его в таинственный притон, он замечал, что ему подливают что-то в вино или заменяют бокал, и ловко выливал отраву в карман. Красавица, после бурных ласк, полагая его спящим, исчезала, а он удирал через окно или через дверь, пробираясь по темным коридорам, замирая в нишах за портьерами, чтобы разминуться с таинственными субъектами, которые явно собирались его ограбить или убить.

Он скоро начал говорить по-русски. Завел приятелей среди вольнонаемных рабочих и техников. Вечерами он мастерил из нержавеющей стали перстни, маникюрные приборы, портсигары и продавал вольнягам. Заказчики платили натурой: колбасой, консервами, конфетами, случалось — и водкой.

Два раза в месяц бывали киносеансы для заключенных. В большой камере устанавливали экран. Показывали фильмы о Ленине, «Мы из Кронштадта», «Великий гражданин», «Цирк», «Волга-Волга», «Кубанские казаки» и даже несколько иностранных фильмов. Немцы садились кучкой вокруг меня, и я переводил. Курт иногда горячо оспаривал тех соотечественников, кто пренебрежительно фыркал — «пропаганда».

— Нет, нет, не согласен. Это настоящее искусство.

Ему нравились «Цирк» и «Мы из Кронштадта».

Но «Секретная миссия», «Смелые люди» и «Падение Берлина» разозлили.

— Тенденциозная халтура — китч! Не лучше, чем было у нацистов. Уже пять лет, как война кончилась, а для вас немцы все еще либо идиоты, либо звери. Хотя всегда кричите о своем интернационализме.

Итальянские фильмы «Похитители велосипедов» и «Под небом Сицилии» он изругал:

— Все ложь! Бездарные лживые фильмы. Их снимали потому, что в итальянском правительстве сидели коммунисты. И какие дурацкие выдумки! Мафия существовала сто лет назад. Только у вас могут поверить, что это возможно в современной Италии… Бедность, конечно, там есть. Все-таки окраина Европы. Может быть, кто-нибудь и ворует велосипеды. Но делать из этого фильм, разводить слезливые сентименты, ах, несчастный мальчик. Вот что значит вырождение искусства, декаданс. Итальянские коммунисты изготовляют такие фильмы по вашему заказу. И здесь их показывают, чтобы убеждать, как плохо живется при капитализме.

…Я всегда любил стихи Гейне, музыку Мендельсона. В школе у меня были два приятеля-еврея. Один — сын врача, а другой — сын владельца гостиницы. Его отец воевал под Верденом, был награжден «Железным крестом» обеих степеней, состоял в «Стальном шлеме»… Среди немецких евреев были порядочные люди, искренние патриоты. Но во время первой мировой войны в Германию нахлынули десятки тысяч восточных евреев из Польши, из России. В годы инфляции именно они захватили торговлю, промышленность, издательства, театры, кино… В Берлине все лучшие дома принадлежали евреям, они господствовали в розничной торговле, в большинстве банков и, конечно, в политике… Нет-нет, нацисты не только врали. Они, конечно, многое преувеличивали. Но еврейские политики и еврейские литераторы задавали тон и у коммунистов, и у социал-демократов. Даже в национальной партии, у монархистов, в «Стальном шлеме» сказывались еврейские влияния… Восточные евреи с пейсами приезжали в своих кафтанах; но быстро научились приспосабливаться. У них особый талант к мимикрии и поразительная расовая солидарность. В Берлине первыми коммунистами-спартаковцами командовали польские евреи — Роза Люксембург и Карл Радек — и немецкие евреи — Либкнехт и Пик… Кто вам сказал, что они — чистые немцы? Вы в этом уверены? Ну, что ж, значит, они были женаты на еврейках «юдиш ферзипт». И во-

обще связаны с еврейской средой… В Баварии в 1919 году устроили советскую революцию русские евреи — Левинэ и Левин — и немецкие — Толлер и Мюзам. Да и во всех социал-демократических правительствах всех краев Германии были евреи-министры — Эйснер, Ратенау… А уж в рекламе они мастера высшего класса. Лучший пример — Эйнштейн; был рядовой, посредственный математик, выдумывал какие-то фантастические сомнительные теории, но после воины, когда усилилось еврейское влияние, его объявили всемирным гением…

Нет уж, нет, этого вы знать не можете. Вы ведь не математик и не физик. Мировоззрение у вас марксистское, и Эйнштейн как марксист вам близок… Да ведь он сам называет себя марксистом. Ну, пусть не марксист, но близок. Не будем спорить о частностях. Важна общая картина. В немецкой компартии тоже преобладали евреи. Сначала Пауль Леви, Рут Фишер, потом Гайнц Нойман… Конечно, на витрины, на трибуны выставляли таких, как Тедди Тельман — гамбургский грубиян, пропойца. Или Торглер — обиженный судьбой интеллигентик. Но ведущей силой был Нойман и его комиссары… Это вовсе не нацистская пропаганда — это факты!

Ну, а здесь, у вас? Мне уже не раз говорили заключенные и некоторые вольные, что русские и украинцы тоже не любят евреев, потому что те захватывают лучшие места, лучшие квартиры. Да, да, я и сам на это возражаю, что среди заключенных тоже много евреев. А мне говорят, это только в последнее время их прижимать стали. Уже после войны. Потому что, когда русские солдаты погибали на фронтах, евреи устраивались в тылах, богатели и ордена покупали. Разумеется, я этому не слишком верю. Но ведь это все говорится здесь, в рабоче-крестьянском социалистическом раю. Значит, не только нацисты против евреев!

Да-да, знаю, многовековые предрассудки! Да-да, знаю, что и немцы вызывают неприязнь у многих иностранцев. И сейчас, и раньше. Немцам завидуют… Но немцы, уезжая из Германии, растворяются в других нациях и самоотверженно служат другим странам. Когда создавались Соединенные Штаты, там жили сотни тысяч

немцев. И первый Конгресс обсуждал вопрос, какой язык считать государственным — немецкий или английский. Решение об английском приняли большинством в один голос. И этот голос принадлежал немцу… Ну, разумеется, вы должны считать это сказкой. Потому что книги, по которым вы учились, писали американские националисты или марксисты…

Его невозможно было переубедить в том, что он когда-то счел истиной. Любые возражения он отстранял как «искаженные пропагандой».

В 1950–1953 гг. на шарашке работали 14–15 немцев и австрийцев, и он как-то само собой стал их вожаком, лидером землячества, хотя многие превосходили его и по возрасту, и по образованию.

Он старался внушить нам уважение к своим подопечным:

— Хорст Р. — очень серьезный практик и дипломированный инженер. Но доктор Фриц Б. уже «доктор-инг» (доктор-инженер). И это значит, что он — ученый инженер высшего класса. Я не придаю особого значения академическим званиям. Есть у нас в Германии традиция мещанского почитания: «Ах, доктор, ах, профессор». Но я-то знаю немало таких, кто просто высиживал диссертации — читал, зубрил, переписывал, и пожалуйста — «доктор философии». Но «доктор-инг» — это совсем иное дело. Для этого звания нужно доказать ученость на практике.

Наши иностранцы долго не имели денег. Все другие арестанты после двух-трех месяцев работы на шарашке начинали получать от 50 до 150 рублей в квартал, в зависимости от установленной категории. Эти деньги и переводы от родственников мы получали в виде квитанций, которые можно было прикладывать к заявкам на ларек. Ежемесячно тюремный завхоз привозил ларек по заранее полученным заявкам. Можно было заказывать масло, колбасу, мыло, консервы, сгущенное молоко, зубной порошок, табак, носки, бритвенные лезвия и т. п.

Каждый раз, когда составлялись такие заявки, Курт приходил к тем из нас, кого считал друзьями-приятелями:

— Хорошо бы хоть полкило масла для Тони К. Он ведь самый молодой у нас и такой истощенный берлинский мальчишка… Нельзя ли сигары для доктора Б.? У него скоро день рождения… Хоть каких-нибудь конфет или мармеладу для инженера Ф. Он так истосковался по сладкому… А для инженеров Л. и М. я очень прошу зубные щетки и пасту. Это так омерзительно — чистить зубы намыленным пальцем, и к тому же мыло, которое нам здесь выдают, воняет падалью.

Не помню, чтобы когда-либо он просил для себя.

Разумеется, мы заказывали и для него мыло, сласти и масло. Он изысканно благодарил и спешил «реваншировать». Мне он принес маникюрный прибор, отлично сработанный из нержавеющей стали, и такой же перстень с печаткой. И несколько раз добывал через своих вольных коллег четвертинку водки или флакон спирта.

Мои добрые отношения с Куртом выдержали немало разногласий, но были подорваны военными событиями в Корее. Он так радовался наступлению американцев, так обозлился на вмешательство китайцев и на их успехи, что мы спорили все более сердито. Некоторое время почти не разговаривали.

Вскоре после смерти Сталина новый начальник тюрьмы сменил завхоза и завстоловой. Оказалось, что нас долго обворовывали. Большинству уже давно полагались харчи и курево высших категорий.

Курт раньше всех узнал приятные новости. У него были заказчики среди вертухаев. Он прибежал обрадовать меня сообщением, что мы теперь будем получать вдвое больше мяса, масла и сахара, чем раньше, что, оказывается, нам полагалось два яйца, а не одно, как давали до сих пор. И свинины куда больше, и красную икру через день, а ведь раньше давали только иногда в выходные, и крохотные порции.

— Я слышал, как все тут рассуждали, когда еврейских врачей освободили. И сомневался. Вы-то всегда надеялись на лучшее, вы — марксист-оптимист. Но теперь и я вижу на горизонте серебряную полосу. Может быть, это и вправду рассвет?..

В мае 1953 года некоторые офицеры-инженеры и даже кое-кто из тюремных служащих говорили нам, что скоро всех немцев отправят в Германию.

Курт восстановил дружбу со мной. Мы опять подолгу беседовали и спорили опять миролюбиво… В Корее шли переговоры… Передовая статья «Правды» многозначительно и туманно осуждала «чуждый марксизму культ личности»… После амнистии уголовникам и многосрочникам вольные приносили все новые слухи, что скоро предстоит еще и политическая амнистия, рассказывали о действительно начавшемся сокращении штатов МГБ, разжалованного из министерства в комитет…

Всех немцев вызвали на отправку одновременно среди рабочего дня. Курт и его ближайшие друзья — инженер Хорст Л., инженер Хорст Р. и техник Ганс — пришли к нам в акустическую прощаться.

Курт еще раньше записал на папиросной коробке адрес моей семьи и заучил его наизусть. Прощаясь, он снова несколько раз повторил его:

— Напишу вам… Скорее всего откуда-нибудь из Сибири… Но может, теперь и нам разрешат переписываться.

Судорожно подвижный, как в первый день на шарашке, он улыбался, шутил, но в лихорадочно блестевших глазах просвечивала тревога.

Два года спустя в Москве я, уже вольный, но еще не реабилитированный, получил открытку из Италии: лаково-яркий цветной снимок городка-республики Сан-Марино — «Привет из отпуску. Курт А., Хорст Л., Ганс Н.». Именно так они подписались, и так я их называл здесь.

## *Глава тринадцатая*
# ПРОЩАЙ, ШАРАШКА!

Воспоминанье прихотливо,
Как сновидение — оно
Как будто вещей правдой живо,
Но так же дико и темно
И так же, вероятно, лживо…

*Владислав Ходасевич*

…Достижение понимания каждого человека как другого, равного в каком-то смысле Я, и создает нравственные основы человеческого общежития.

*Вяч. Вс. Иванов, «Чет и нечет»*

Четвертое апреля. Ранним утром, выйдя из юрты на зарядку, я в тамбуре включил репродуктор. Тихо — большинство еще спали. И услышал: «…недозволенные методы следствия…» А потом имена врачей, освобожденных, признанных невиновными. И в заключение: «Мы передавали передовую статью из газеты «Правда».

Радость ошеломляющая, оглушающая; я бросился почему-то не в свою, а в смежную юрту. Вероятно, просто потому, что стоял ближе к той двери.

— Врачей освободили! Признаны невиновными! В передовой «Правды» говорится о недозволенных методах следствия… Всех врачей освободили!

С подушек поднимались головы. Кто-то садился на койке.

— Что за дурацкие шутки… Да ты охреновел, совсем психом стал!.. Ты что, забыл, что первое апреля прошло?.. Дайте ему воды и ведите на воздух, чтоб в себя пришел… За такие шуточки — морду бить.

— Но это же правда, правда!.. Только что передавали. Скоро будут повторять.

Даже самые злые окрики не могли меня рассердить. Радость затопляла, распирала, туманила.

Весь этот день и потом еще долго только об этом и говорили. Меньше спорили. Больше обсуждали мирно, дружелюбно, пересказывали, кто что слышал от своих вольняг. Сравнивали. Предполагали. Сомневались. Но чаще надеялись.

В новом Совете Министров Маленков стал председателем, Берия, Молотов, Булганин, Каганович — заместителями; сократилось число министерств — их сливали, уминали, сокращали штаты.

— Ага, значит, жмут на бюрократов.

И нечто уже прямо для нас: МГБ не стало. Вместо него скромный Комитет государственной безопасности при Совете Министров… В газетах и по радио настойчивые фразы о законности, о гуманности, о политике мирного сосуществования.

Узнаем, что освобожден Абакумов и назначен в новый комитет. О нем мы помнили только дурное: жестокий хам, верзила с мордой отупевшего мясника. Но он просидел почти два года, может быть, и поумнел…

Ворошилов — председателем Верховного Совета… Опальный маршал Жуков — заместителем министра обороны Булганина.

Каждое назначение мы обсуждали подробно. Булганина я помнил по Северо-Западному фронту бестолковым самодуром. О Жукове все знали: крут, суров, беспощаден, жесток, но талантливый стратег; отважен на поле боя, не робеет перед вождями. За это его не любил Сталин, говорили — даже побаивался его, ревновал.

Обрадовало сообщение, что в Президиуме ЦК главным стал Хрущев. О нем я раньше слышал; Надина родственница, которая

обучала английскому языку его жену и дочерей и подолгу жила в их доме, рассказывала: грубоват, малообразован, однако умен, хитер, добродушен и «партиец старого образца», то есть не терпит барства, роскоши, стяжательства, подхалимства и не чванится. Жена штопает носки ему и внукам, хозяйничает экономно, домработница и шофер обедают вместе со всей семьей.

На шарашке добрые слухи обгоняли газетные сообщения или дополняли их, все более обнадеживая. В органах сокращали штаты больше чем наполовину. Всех чекистов лишили офицерских званий, приобретенных в последние годы в кадрах МГБ. Действительны только звания, полученные на армейской, строевой службе. Многие полковники за день стали капитанами. Кому не нравилось — мог отчисляться. Кое-кто из наших уже видел тюремных офицеров, вчерашних капитанов и старших лейтенантов, в сержантских погонах.

Евгений С., несмотря на молодость, был опытным радиотехником и старым зеком. «Чалился» еще до войны; в лагере получил новый срок. Лучший монтажник в акустической, виртуозный ругатель, матерившийся и «ботавший по фене» в изысканном, светском тоне, гроссмейстер «козла», он много запойно читал. Мы с ним подружились сперва как соседи по лаборатории, — его стол был ближайшим к моему. Потом я стал давать ему уроки немецкого. Его срок истекал летом 53-го года. Он был или старался быть отъявленным пессимистом:

— Только фреи рогатые могут еще на волю надеяться… Хрен нам в морду сунут, а не волю. Нам даже бесконвойными уже не бывать. Выйдем за зону только в деревянном бушлате с биркой на ноге. И после того, как на вахте брюхо шилом проткнут.

По ночам он страшно кричал, иногда — яростно материл то каких-то блатных, то сук или гадов-придурков. А днем работал самозабвенно, до исступления. Рационализировал чужие модели, придумывал свои.

Взыскательный Сергей говорил о нем, что за такого битого техника отдаст полдесятка небитых инженеров. К его дню рождения я сочинил длинные куплеты.

Шарашка, где темнил Евгений,
Была прелестный уголок…
Когда рассерженный начальник
Шипит, как брошенный паяльник,
И ошалелые вольняги
На цирлах мечутся, бедняги…
Евгений наш не унывает,
Соплей развесив пестроту,
Он осциллограф запускает
На сверхнайвысшую туфту:
«Что ж, посижу да погляжу
Я на фигуры Лисажу»…

Посреди рабочего дня он внезапно появился в моем углу, веселый и таинственный; нетерпеливо, кивками подозвал Сергея:

— Ну, граждане-товарищи, мужики, фраера и ученые инженера, теперь я, кажется, начну верить самым утешным парашам. Только что в уборной услышал такое… В рот меня долбать, не думал, что доживу… Я там в кабинке засиделся, задумался. Это же единственное место, где можно по-настоящему чувствовать себя в уединении. Слышу, входят двое. Разговаривают. Один голос знакомый, похоже, майор из канцелярии, такой мордатый, он там вроде кадровик-хреновик. Другого не узнаю. Они стали отливать и продолжают разговор: у кого-то из ихних погоны сдрючили, кого-то вовсе на хрен отчислили. И слышу, майор говорит, да с такой злостью: «Они думают, что без нас обойтись могут. Поразгоняют всех, потом плакать будут…» Понимаете, ОНИ?! Это значит, вожди, правительство для наших граждан начальничков уже ОНИ. Дожили, братцы!

Евгения Васильевна опять стала чаще приглашать меня в свой кабинет. Опыты с проволокой кончились, но мы с ней продолжали заниматься английским языком, и я помогал ей переводить статьи из английских и американских журналов.

— Рюмина расстреляли! Вот уж на кого никогда не подумала бы! Он у нас когда-то руководил партпросом. Сам читал лекции.

Такой образованный, культурный, выдержанный. И все знали, что Лаврентий Павлович его очень ценит… Когда Абакумова посадили, то говорили, что это Рюмин его разоблачил. И вдруг такое! Даже странно… А может быть, знаете, как бывает: если кампания, один отвечает за многих. Конечно, в органах бывали перегибы. При Ежове такое творилось. И вот теперь с врачами. Я в эти дни вспоминала, что вы тогда сказали, — может быть, все дело устроили те, кто хотел смерти товарища Сталина. Даже страшно подумать. Сейчас в органах началась чистка — всех перебирают по одному… Похоже, еще что-нибудь вскроется.

Сменилась тюремная администрация. Начальником стал опять подполковник Григорьев — тот «справедливый фронтовик», который был в самом начале шарашки, и Солженицын еще наставлял меня, как следует к нему подходить. Он обошел юрты, сухо, но приветливо здороваясь, узнавая старых знакомых… И сразу же после его вступления в должность разительно изменилось наше питание. Все прежние годы нас просто обкрадывали. Иностранцы, которых дольше всех держали на третьей категории, были потрясены новшествами. Молодой инженер, австриец, сказал мне вполне серьезно, что, когда вернется домой, пожалуй, вступит в компартию.

— Раньше я сочувствовал социалистам. Но потом убедился, что они слабы, неудачники. У нас в Австрии их осилил «Черный фронт», а в Германии их коллег еще раньше раздавил Гитлер… Про коммунистов я думал, что они безрассудные мечтатели и, если попытаются на практике осуществить свои утопии, это может привести лишь к голоду и террору. И я был уверен, что коммунисты способны увлечь за собой только примитивные, азиатские народы — тех, кто привык к лишениям, к покорности, к массовому, стадному существованию. Но сегодня могу сказать, что мое мировоззрение изменяется. Пять лет в советской тюрьме, в нашей «зо генанте шарашка», и эти замечательные реформы, — такой быстрый прогресс, — меня переубедили. И не только меня. Большинство наших австрийцев и немцев еще недавно были абсолютные пессимисты, ни на что уже не надеялись. Но теперь уже даже старый наци и капиталист Байер

говорит, что надеется на улучшение судьбы. А кое-кто уже готов кричать «Хайль геноссе Маленков!» или «Хайль геноссе Берия!».

Валентин Сергеевич, — всегда неунывающий Валентуля, — примчался утром с зарядки вприпрыжку, позвал Сергея и меня:

— Слушайте, слушайте, слушайте!.. Я только что встретил начальника. Он сам заговорил: «Хорошо, что делаете зарядку… Мы достанем волейбольную сетку… Установим снаряды…» Тут я ему сразу же про телевизоры. Как их отняли в прошлом году. Он и не задумался: «Ну, что ж, если можете опять что-нибудь сконструировать, предоставлю вам одну юрту — будет клубное помещение для культурного отдыха». И спросил: «Кто может этим заниматься?» Я сразу вспомнил, что это вы оба ходили к Наумову. Насчет вакуумщиков на всякий случай умолчал. Назвал только вас. Он сказал, пусть приходят хоть сейчас, если успеют до работы.

Предварительное совещание с главными мастерами длилось несколько минут. Мы знали, что какие-то части демонтированных телевизоров запрятаны в зоне.

Начальнику я отрапортовал так же, как и в первый раз, «по-воински», что все может быть сделано за сутки, если он только разрешит. Он разговаривал с нами вежливо, этакий подтянутый деловитый службист, не ведающий страстей и пристрастий. Сергей стал доверительно объяснять, что детали разобранных телевизоров, хоть и отбросы и огрызки, валяются где попало, но могут быть быстро превращены в примитивный, самодельный и все же пригодный аппарат.

В юрте, которую нам отвели для клуба, дворники начали работать уже с утра. В обеденный перерыв авральная бригада соорудила дощатую трибуну, сколачивала из табуреток и струганых досок скамейки для публики, а из старых тумбочек пьедестал для телевизора. Через час после конца рабочего дня он уже был установлен.

Начальник вошел, когда мы любовались пейзажными кадрами какого-то фильма. Все вскочили. Он махнул рукой — сидите!

— Досрочно, значит? Перевыполнили! Вижу, и вправду мастера-специалисты.

* * *

Всех иностранцев увезли.

Весенний указ об амнистии относился только к малосрочным уголовникам и бытовикам. Был явно не про нас. Лишь один из дворников «подпадал».

Однако в те же дни появились сначала в передовой «Правды», а потом зарябили в пространных подвальных статьях словосочетания «культ личности, чуждый марксизму-ленинизму», «восстановление ленинских принципов и ленинского стиля внутрипартийной демократии»…

Газетные статьи, радио- и телевизионные передачи подогревали надежды. Спектакли «Кандидат партии» Крона и «Камни в печени» Макаёнка уже не только мне, но и Сергею, и Семену, и многим другим скептикам показались небывало смелыми. Так же воспринимали мы утесовские хохмы — «Саксофону приходилось трудно, поскольку у него есть родственники за границей»… Райкин изображал наглого бюрократа — «Нет, с неответственной должностью я не справлюсь»… Явные приметы новой эпохи!

Мы повторяли как пароль, как заклинание слова Остапа Бендера: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».

Гумер, Иван Емельянович и некоторые вольняги ободряли нас слухами о секретных указах, по которым будут «без особого шума» выпускать политических заключенных, и кое-кто говорил, что уже начали «освобождать пятьдесят восьмую».

Но вскоре после амнистии стали набегать другие, недобрые слухи об участившихся наглых кражах, о грабежах, изнасилованиях, убийствах и в Москве, и во всех городах. Понятие «амнистированный» становилось бранным, пугающим, равнозначным «бандиту». Гумер рассказывал, что в Казани, где жили его родные, рабочие в некоторых районах создавали отряды самообороны, так как милиция оказалась бессильной. Эти отряды, вооруженные стальными палками, кастетами, ножами, устраивали засады; поймав грабителей или воров, тут же их убивали. В нескольких случаях застави-

ли сперва показать «малину» и там убивали всех, кто попадался… Таким образом они за неделю навели полный порядок, и никого из пролетарских линчевателей даже не вызывали в милицию.

Пессимисты уже говорили, что амнистия и была придумана ради этого — чтоб напугать народ, возбудить недоверие к зекам и вообще укрепить сознание, что ради безопасности всех граждан необходимы твердая власть органов и массовые лагеря. После первого бурного прилива радостных надежд снова наплывали темные, злые сомнения.

В газетах официальные сообщения о премьере оперы «Декабристы», на которой присутствовали члены Президиума ЦК и министры. Такое читаю впервые. Все названы строго в алфавитном порядке. В сталинские времена порядок перечисления членов Политбюро был не менее значим, чем некогда местничество у бояр: Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Жданов. Потом Ворошилов отступал на пятое, а Жданов выдвигался на третье и даже на второе место, но перед смертью откатился назад.

Я спросил у Ивана и Валентины:

— А почему нет в списке Берии? Неужели он сейчас пошел в отпуск? Не случилось ли чего-нибудь?

Иван рассердился:

— Вот этим вы только показываете свою идеологию. Все время чего-то подозреваете.

После официального сообщения об аресте Берии, о его связях с английской разведкой Иван уже окончательно проникся ко мне чрезвычайным, уважительным доверием. Летом 1957 года он приходил ко мне домой, рассказывал, что ему достоверно известно: «Вячеслав Михайлович недоволен Хрущевым. Тот перегибает палку, все валит на Сталина, а сам держит курс на новый культ, на свой». Он узнал это от каких-то родственников, работавших в МИДе. Но, видимо, его смутило, что мое недоверие и неприязнь к Молотову были сильнее всех сомнений, которые тогда, после вторжения в Венгрию, вызывал Хрущев, и что о Сталине я думал уже по-иному, чем весной и летом 1953 года, когда мне казалось несправедливым наро-

читое, демонстративное забвение, подчеркнутое туманными намеками на вредный культ личности.

Сперва от Валентины, потом от Вани и Евгении Васильевны мы услышали чрезвычайно важные новости: Маленков, оказывается, племянник Ленина… Сын сестры… Нет, двоюродного брата… Кажется, не кровный родственник, но с детства его воспитывали лично Ленин и Крупская. Раньше это скрывали, чтобы его не убили. Он ведь больше всех ездил, бывал на заводах и в колхозах.

Указ о понижении цен. Всего значительнее снижены цены на хлеб, картошку, на продукты питания.

Колхозникам простили всю задолженность по налогам.

Семнадцатого июня в Берлине и некоторых городах ГДР бастовали рабочие. На улицах были драки с народной полицией. Но все обошлось. В газетах статьи о «фактах справедливого недовольства» трудящихся, сообщения о «новом стиле руководства в ГДР».

Всюду сокращали штаты, и везде запретили сверхурочные работы. У нас тоже.

Из-за этого — непривычно долгие досуги. Уже после пяти я мог выбирать или чередовать: прогулки с приятелями, обсуждающими политические или шарашечные новости, занятия китайским, телевизионные передачи, работу на цветниках…

В клубной юрте возник струнный оркестр; начальник достал мандолины, балалайки и домры. Образовался хор, и я числился среди басов. Мы пели «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…», «Шумел, гремел пожар московский…», «Вечерний звон…».

Тем более напряженно приходилось работать днем. Нужно было ускорить изготовление диссертации. Я не хотел ничего сокращать. Тогда я уже не мог, — если бы даже захотел, — халтурить: слишком увлекла, слишком затянула работа, которая представлялась нужной, важной. Валентина временами принималась ревностно учить, конспектировать, зубрить, но потом уныло остывала и раздраженно или тоскливо повторяла, что все равно ничего не выйдет, все напрасно и лучше бы она защищала что-нибудь по технике.

— Вот вы говорили про анализатор спектра, который сконструировал Сергей Григорьевич и еще кто-то, кого уже увезли, что это очень замечательная работа, куда лучше, чем у американцев… Почему бы это не сделать темой диссертации? Иван все равно не собирается защищать, даже не думает, а я могла бы это усвоить куда лучше, чем всю вашу философию.

Сдерживая раздражение, я уговаривал, убеждал, бесстыдно лицемерно льстил. Несомненно было, что времени остается все меньше.

А вдруг освободят уже летом или осенью? Но скорее всего нельзя будет оставаться в Москве…

Пытаясь вообразить себя на месте Маленкова или Хрущева, я думал, что после жестокого опыта первой амнистии новых освобожденных будут расселять в дальних областях, устанавливать надзор и не сразу, а лишь постепенно пересматривать отдельные дела и пускать в столицы… А кто будет пересматривать? Ведь аппарат-то прежний. Расстреляли Рюмина, Берию, кого-то вычистили, выгнали, посадили. Но Руденко остался Генеральным прокурором. И большинство прокуроров, судей — те же, кто раньше обвинял, приговаривал, отклонял жалобы.

Надо было спешить, чтоб Валентина не успела отпихнуться от диссертации. Другого «автора» так скоро не найти. А без этого анонимная работа останется в архивах, бесплодной. На шарашке мы по-прежнему были безымянными «подпоручиками Киже». По-прежнему не могли даже подходить к сейфам, ничего не подписывали своими именами, нигде не числились как авторы, изобретатели. Наумов не изменялся ни в чем.

В мае я подал заявление на очередное свидание. В июне кто-то слышал, что начальник тюрьмы разрешает приглашать всех близких родственников, не ограничивая числа. И что свидания будут проходить не в тюрьме, как раньше, а в неких «более благоприятных условиях».

Я попросил Гумера передать моим, чтобы привели дочерей. Утром в воскресенье, когда предстояло свидание, я оступился, подвернул ступню. Дикая боль. Щиколотка посинела, распухла. Но хуже

боли страх, что не пустят. И там Надя, мама, приехавшие напрасно, будут испуганы…

Медсестра — одна из немногих, кто остался от прежних тюремных штатов, — и раньше бывала к нам скорее добра, покладиста, хотя и напускала строгость. Она прибежала в юрту, благо жила неподалеку, ощупала ногу, крепко помяла и туго-туго перебинтовала, прокладывая прогипсованные пластинки.

— Терпите, терпите, если хочется поехать. Переломов нет. Сильное растяжение, небольшой разрыв связок. Терпите.

Мы ей верили, знали, что была на фронте. Она дала мне несколько таблеток: «Глотайте по одной, разжевав, если будет очень болеть». Принесла два костыля.

Товарищи трогательно заботились обо мне: поддерживали, подсаживали.

Радостная неожиданность — повезли нас не в воронке, как во все прошлые разы, а в обыкновенном автобусе.

…Солнечный день. На улицах очень людно. Радость узнавания — площадь перед Сельхозвыставкой. Везде несметное множество *вольных* людей, по-воскресному, по-летнему пестро-нарядных. Казалось, все веселые. И самое главное — дети! Давным-давно не виданные дети, совсем крохотные — в колясках, на руках. Уморительные малыши с игрушками, с мороженым… Школьники — мальчики и девочки — поодиночке, со взрослыми, шумными стайками. Вот они у самого автобуса, совсем близко, можно рукой достать… Не слышу, что говорят рядом. Но чувствую: все, почти все тоже потрясены. Кто-то о чем-то спрашивает. Не слышу. Не могу, не хочу отвечать. Боюсь обернуться: под веками горячо. Как бы не всхлипнуть…

Выехали за город. Поля. Лес. В поселках опять веселые люди, опять дети. Въезжаем. Высокий дощатый забор. Виден большой сад. Несколько зданий. Дежурный офицер объясняет:

— Это Болшево. Раньше тоже был спецобъект, сейчас демонтируется. Входите направо.

Поодаль, слева, видны кучки вольных. Наши родственники.

— А вы (это ко мне) малость погодите. И кто тут вам будет помогать, пусть задержится. Пойдете, когда уже всех родственников проведем. А то ваши увидят, что на костылях, нервничать будут.

Иду, ковыляю и уже, кажется, не чувствую боли, только тяжесть. И умиление от необычайной чуткости вертухая. В саду большая беседка, вернее, навес, застекленный, затянутый плющом, вьюнками. Внутри несколько столов, длинные и квадратные. Меня сажают за отдельный, маленький, в углу. Дежурный заботится, чтобы вошедшие не сразу заметили костыли.

И вот уже мама, Надя, отец. И смуглая, черноглазая девушка. Словно бы знакомая, похожая на те снимки, что у меня. Маленькая, верней, коренастая, но именно девушка — не девочка. Это Майка. А Лену не привели. Надя и мама объясняют: кто-то позвонил — незнакомый женский голос — «приводите дочерей». Они не могли поверить, ведь в извещении были названы только родители и жена. Потом звонила Инна Михайловна, — ее тоже по телефону просили передать, чтоб привели дочерей. (Умница Гумер — догадался, что будут сомневаться…) И все же они решились взять только Майку, она старше.

Надзиратели где-то в стороне. Никто не стоял над нами. Мы сидели за отдельным столом совсем по-семейному. Майка слева от меня, вплотную, ласковая, быстроглазая говорунья. У нее перевязан палец. Вывихнула, играя в волейбол. Рассказывала о школе. Кончает в будущем году; будет поступать обязательно в Бауманский. Раньше мечтала о географии, но это детство. А инженер-механик — это настоящее. Говорила о книгах, о стихах, о подругах, об учителях. Я слушал и едва слышал. Как она похожа на Роню — сестру моего отца. Та была такая же черноглазая, чернокудрявая, чуть скуластая. И так же горячилась, рассказывая, доказывая…

> В 1919 году ее — гимназистку, связную киевского подпольного ревкома — арестовали и в контрразведке жестоко избили. Много лет спустя мама шепотом рассказывала подругам: «Изнасиловали, заразили». Бесчувственную оставили в кабинете следователя. Она пришла в себя уже ночью. Шатаясь, выбралась.

В других комнатах офицеры кутили с проститутками. Когда она выходила из здания, часовые смеялись: «Напилась, шлюха». Она добралась до товарищей. Ее переправили через фронт. Потом она долго болела и почти год была в психиатрической лечебнице.

Это в семье тоже считалось страшной тайной. Сыпной тиф избавил ее от душевной болезни. У нее было сильное, мягкое контральто. С детства я любил слушать, как она пела украинские песни, цыганские романсы. В начале двадцатых она вышла замуж за Марка Клубмана, который тоже тогда был в ревкоме. Он ждал, пока она не вылечилась, и женился, зная, что у них не может быть детей. Оба стали учиться. Он закончил юридический, некоторое время работал прокурором, судьей где-то на Волге, к концу двадцатых стал деканом, а потом и проректором Саратовского юридического института. Роня хотела стать биологом, но из-за болезни, кажется, так и не закончила института. Работала в библиотеках, потом лаборанткой в агролабораториях. Каждое лето они приезжали в Киев и в Харьков к нам, к бабушке и дедушке. В 33-м году Марка назначили начальником политотдела МТС в Харьковской области, через два года он стал инструктором ЦК КПБУ, а в 37-м его арестовали и осудили на 10 лет. Роня писала жалобы, протесты, посылала письма и телеграммы Ежову, Вышинскому, Сталину, добиваясь приемов. Она приезжала из Киева в Москву, жила у нас. В конце 37-го мы с ней вдвоем ходили в Консерваторию. Слушали Шестую симфонию Чайковского. Она тихо плакала.

Тогда я видел ее в последний раз. Вскоре ее арестовали. Но через год с лишним, еще подследственной, она попала в «разбериевание», в 1940 году ее отпустили. И она опять писала, телеграфировала, добивалась освобождения Марка. Жила она в Киеве с родителями. Когда немецкие войска подходили к Киеву, ее младший брат Миша уже лежал в госпитале с тяжелым ранением позвоночника. Он и мой брат Саня, сержант артиллерии, чья батарея стояла в Пуще-Водице, верили, что вот-вот начнется наше великое контрнаступление. И Роня верила в это, и дедушка, и бабушка, и они не могли оставить Мишу. Госпиталь эвакуировали; Миша умер где-то в пути. Они уже не успели...

В апреле 1944 года я был в Киеве проездом с одного фронта на другой. Дворничиха рассказала:

— Их уводили туда — в Бабий Яр — на второй день. Такая была очередь. Тогда уже многие знали, что там убивают. Дедушка очень больные были, обезножели. Бабушка и Роня их на колясочке везли. А бабушка еще сильные были. Восемьдесят годов с гаком и похудела очень, ссохлась вся, но ходила прямая, как палка. А Роня поседела и тоже похудела очень, и зубов уже не было. Но глаза такие же, как уголья. Она мне в тот день сказала: «Я знаю, нас убивать будут, но все равно победа настанет. И когда наши вернутся, скажите, чтоб помстились...»

Марк дожил до освобождения и до реабилитации. Умер в Саратове в 1957 году пенсионером.

Майку я увидел впервые после того мартовского вечера 47-го года, когда меня арестовали вторично. Уводили из дома, а она, больная — воспаление уха, жар до сорока градусов, — обняла меня горячими ручонками: «Ты скоро вернешься?»

В новой встрече шесть лет спустя были и радость и горечь неизбывных воспоминаний. (Киевская бабушка варила редьку в меду — ни с чем не сравнимый вкус горькой сладости.)

И я все смотрел и смотрел на взрослую дочку, взрослую, веселую. И, не понимая почему, чувствовал острую, тревожную жалость. Потом думал, что это из-за воспоминаний о Роне, из-за мыслей, как Майке жить после школы, ведь придется в анкетах писать обо мне.

…Мать и отец, перебивая друг друга, уверяли, что адвокаты и какие-то весьма осведомленные знакомые уже точно знают, что очень скоро будут пересматриваться все дела по 58-й и меня, конечно, оправдают.

Надя выглядела спокойнее, здоровее, чем на предыдущем свидании, улыбалась непринужденнее, шутила, рассказывала о веселых проделках дочек. Но тогда же я узнал о расправах с друзьями. С теми, кто писал Сталину обо мне.

Как-то в 1950-м Абрам Менделевич заговорил о мытищинских лабораториях. Оказалось, что он знает подполковников Левина и Аршанского и слышал, что они уже там не работают, потому что защищали какого-то троцкиста. На очередном свидании я спросил Надю, что произошло с Валей и Мишей, почему они больше не работают в Мытищах. Она переглянулась с мамой:

— Мы не хотели тебе говорить, расстраивать: у них были неприятности по партийной линии. Миша теперь живет в Ленинграде, женился, очень счастлив. Муся и Валя уехали в Новосибирск; у них все благополучно; Иван Рожанский в Академии Наук, Юра Маслов демобилизовался, сейчас в Ленинграде, преподает в университете. Галя Хромушина по-прежнему в ТАССе, Боба Белкин в Москве в университете. Мы ни с кем не встречаемся, не переписываемся, все-таки у них были неприятности из-за тебя, мы не хотим их больше подводить…

А в тот светлый день пятьдесят третьего года, вслед за обнадеживающими, ободряющими новостями, я услышал, что Муся, Валя, Миша, Галина и Михаил Александрович Кручинский были еще в 1948 году исключены из партии. Валю и Мишу вскоре демобилизовали. Ивана перевели в кандидаты партии. Юра Маслов, Борис Изаков, мой адвокат и даже судьи — подполковник, который оправдал в 46-м, полковник, который осудил только на три года в 47-м, и сам председатель Военной коллегии Ульрих и его заместители Орлов и Каравайков, которые в ноябре 47-го года сокращали мне десятилетний срок до шести, — получили строгие выговора… Адвокат говорил: все это потому, что некий сановник из Главного политуправления донес лично Сталину и тот сказал: «Надо наказать».[9] Но теперь восстанавливается полная законность, и тот же адвокат уверен, что ему скоро снимут выговор, и хотя Ульрих с тех пор в отставке, но еще бодр, — и он, и все другие наказанные судьи также заинтересованы в пересмотре моего дела, будут его добиваться.

[9] Тогда я этому не верил, но, прочитав книгу Джиласа «Разговоры со Сталиным», допускаю, что это было так.

На обратном пути я уже едва замечал поля и леса и воскресное многолюдье… Мысли теснило непролазное месиво старых болей, сомнений, надежд и новое мучительное сознание: из-за меня было столько горя, куда больше, чем я представлял. Мама совсем одряхлела. Надя скрывала несчастье друзей, что же она скрыла о своих бедах?.. А я в это время искал «ручные корни», придумывал фоноскопию, учил иероглифы.

Но теперь, теперь-то уж все изменится… А что может измениться? Никакими переменами не вернуть утраченные годы ни маме, ни Наде, ни друзьям, ни мне… И ничем не утолить, не исцелить горе — все горести, которые из-за меня, — и ничем их не искупить.

Валентина уезжала в отпуск в Сочи. Вернулась загорелая, похорошевшая. Жаловалась на легкомыслие курортных кавалеров и что в санаториях полно евреев. Она забыла многое из того, что раньше знала. Но отшучивалась: «…мы с вами этого еще не проходили». И тогда нужно было, дописывая заключительные разделы диссертации, заново растолковывать «автору» обоснование темы, смысл введения и первых разделов.

Она слушала рассеянно, отвлекалась.

— Мы скоро расстанемся, и «быть может, навсегда». Вы думаете, что вас освободят? Я вам этого желаю всей душой. Теперь уже все говорят, что в будущем году никакого спецконтингента не останется. Я слыхала, что вас отправят на другой объект. А вы успеете все написать? Кончить… Это хорошо. Не знаю только, успею ли я усвоить…

Защита не состоялась: она не сдала кандидатского минимума.

Гумер, Иван Емельянович, все вольные приятели говорили, что нас отправят до конца года, но утешали — не в лагеря, а в Кучино. Там сохраняется большая шарашка.

Евгения С. увезли еще в мае. Гумер получил от него веселую открытку из Ухты; там его освободили и выдали паспорт; работает в радиомастерской; живет пока в общежитии.

* * *

Осенью снова было свидание. У вахты опять стоял автобус, но с кремовыми занавесками на окнах. А внутри оказался железный ящик с одиночными сидячими ячейками.

Привезли в Тушино, в фабричное здание бывшей оружейной шарашки. В коридоре стояли и валялись разнокалиберные, разноцветные мишени — силуэты и размалеванные фигуры в шлемах, во весь рост, скрюченные, бегущие, одиночные головы над брустверами…

Родственники размещались по ту сторону узкого стола. Надя и мама привезли обеих дочерей. Лена оказалась крупнее, выше старшей сестры. Матово-смуглая, чуть монголистая, иссиня-черные волосы, темные глаза. Очень красивая. Она застенчиво улыбалась, отвечала односложно. Глядя на дочерей, я и радовался, и ощущал необъяснимый страх — какие они? Будем ли мы понимать друг друга?

Надя сказала, что в Новосибирске умерла Муся. Муся!..

> В Харькове в 1929 году она была нашей наперсницей и «свахой». Они с Валюшей расписались в ЗАГСе на несколько месяцев раньше нас. А их Иришка ровесница нашей Майки.
>
> Летом 1929 года Надя уехала с родителями к Азовскому морю. Муся еще некоторое время оставалась в городе, и я приходил к ней ежедневно рассказывать, как тоскую, как считаю дни… Она читала мне отрывки из писем Вали. Он был старше нас, семнадцатилетних, почти на три года. Тогда это еще очень ощущалось. В его письмах, частых и длинных, перемежались рассказы о веселых происшествиях, о занятных людях, поэтичные описания природы, цитаты в стихах и прозе, размышления о любви, о литературе, о театре. Они казались мне по-взрослому значительными, и я стал невольно подражать ему. И тоже ежедневно писал Наде если не письмо, то открытку. И тоже складывал конверты пополам — такие узкие пакетики Муся и Валя сделали нашим масонским знаком.
>
> Обо всем этом, о своей любви — впервые большой, настоящей — я рассказывал Мусе, она говорила:

— Давай помечтаем!.. Вы с Надюшкой и Лидочка с мужем, — у нее обязательно будет очень хороший муж, — и мы с Валюшкой будем жить в одном городе — в Харькове или в Одессе, а может быть, в Москве или в Ленинграде — но обязательно все в одном городе. И чтоб, как сейчас, — недалеко друг от друга (мы учились в одной школе, жили в одном районе. Муся, Лида и Надя дружили с первого класса: в школе эту троицу прозвали «Ли-Му-Над»), — Надюшка будет инженером-химиком, будет заведовать лабораторией на крупном заводе. А Лидочка тоже химиком, но ученой или преподавательницей. Муж у нее будет профессор по каким-нибудь точным наукам. Валюшка станет, конечно, главным режиссером нового театра — замечательного, не хуже мейерхольдовского... А ты будешь редактором газеты, журнала или тоже профессором, но по истории. А может быть, ты хочешь на партийную работу? Но, конечно, по линии культуры?.. Я еще не знаю, кем буду работать. В лаборатории или в научной библиотеке. Но главное — у меня будет салон... Да ты не смейся, не будь дураком. Ты не понимаешь, а я совершенно серьезно. У нас будет большая квартира, обставленная просто, но со вкусом — рояль, хорошие картины, очень много книг. И по вечерам у нас будут собираться друзья и знакомые. Будут приходить интересные люди — артисты, поэты, художники, музыканты. Будем устраивать домашние концерты, читать стихи, разговаривать, спорить... И я буду в черном закрытом платье и в лакированных лодочках. Ну, может быть, еще нитка жемчуга, ничего больше. Я буду вас всех очень вкусно кормить, буду знакомить хороших людей друг с другом, и все будут хотеть к нам приходить... Конечно, у нас будут дети. Ты хочешь сына? А я хочу дочку. И может быть, ваш сын женится на нашей дочке. И у Лидочки будут дети. Я думаю, нам всем нужно иметь по два ребенка. Может быть, мы все еще породнимся...

Она глядела исподлобья, выпуклыми светло-серыми глазами. Маленький убегающий подбородок почти упирался в ямку между тонкими ключицами. Темно-русые кудрявые волосы нависали на лоб... Искорки смеха в зрачках мгновенно сменялись влаж-

ным поблескиванием, еще улыбаясь, она уже утирала слезы: — Если только я доживу... У меня ведь сердце никудышное... Но медицина теперь шагает вперед. Может быть, меня и вылечат...

Осенью 1932 года, когда мы с Надей жили в доме отдыха в Ялте, она писала нам, огорченная тем, что Валя не получил отпуск, — он в то время был уже в армии кадровым командиром:

«...Очень хочется найти какой-нибудь тесный уголок и заткнуть себя. Этим уголком может быть все, что угодно, — работа, в которой захлебываются (говорят, бывает такая), книги, ребенок, муж. И нет под рукой ничего необходимого. Состояние ужасное. Не могу заниматься, не могу работать. Никого не вижу. И слишком пусто, слишком просторно вокруг... Я не знаю, похоже ли то, что я пишу, на то, что испытывается. Но мне чересчур явственно скверно. Понимаете, такая пропасть ощущений, мыслей, надежд и... не могу я без людей!»

Дальше две страницы печальных сетований на одиночество, на невозможность найти место в жизни, и внезапный переход:

«Пожалуйста, не смейтесь! Мне стало самой смешно, и комната посветлела, как будто увидела Левкину широченную и твою, Надюшка, славную (славная моя!) улыбки. По этому поводу вопрос о скверном настроении откладывается».

После этого несколько абзацев деловых новостей о работе, о том, что из сектора учета она переходит в сектор эксплуатации Севукрэнергия и будет получать уже 325 рублей.

«...Остальное все нужно устно. И когда ты, черт такая, приедешь? Не могу я так жить! Даже поплакать в жилетку некому!

...Ну, и где мой муж, а? Если он и завтра не приедет?!

Родненькие, ну, ей-богу, самые последние, на прицепке висевшие силы (именуемые терпением) оборвались. Что делать? Начинаю целовать по очереди тебя и Левку. Кончу в следующем письме».

В последний раз я видел Мусю зимой 1947 года, в дни «интермедии», между тюрьмами, когда провел два месяца на воле. Они жили в Мытищах, в тесной двухкомнатной квартире. Валя и Миша были уже подполковниками, много работали в том

же институте, что и до войны. Муся выглядела очень усталой, жаловалась на болезни. Когда я напомнил о ее давних мечтах, она печально улыбнулась. Рассказывала, что от Лидочки давно не было вестей, — она с мужем живет где-то за Ленинградом. (Лидин муж Лев П., инженер, был арестован в 1936 году, освободился весной 41-го года. Был проездом в Москве. Мы встретились. Похудевший, потемневший от нездорового северного загара, он прилетел из Норильска, нового города, которого тогда еще не было на картах. Разговаривал скупо, мало:

— Всякого понавидал. Просто не расскажешь. Кто сам не испытал, не может себе представить. Не поймет и с поллитром. И уж конечно вряд ли поверит...)

Надя сказала, что Муся долго болела, Валя работает на радиозаводе. Они жили в очень маленькой квартире с ее родителями. Отец был парализован. Потом ему отняли ноги. Он и здоровым бывал несносно капризен, назойливо требователен. Каково же ей приходилось с ним больным?

А ведь если бы шесть лет тому назад Муся и Валя не подписали письмо Сталину обо мне, их жизнь могла бы сложиться иначе.

Я смотрел на маму. Это она была тогда главной помощницей моего адвоката: отыскивала свидетелей защиты, настаивала, упрашивала, заклинала… Она спасала сына. Еще в детстве меня раздражал ее материнский эгоизм. И теперь она перебивала Надю, не хотела, чтобы она говорила о печальном…

Но я не мог ей сказать, что в гибели Муси, в бедах моих друзей есть и наша вина — наша с ней. Ее глаза, с красноватыми жилками, потускнели, щеки дрябло обвисли; синевато-бледные губы потрескались.

Нет, я не мог на нее сердиться и старался, чтобы она не заметила, не догадалась, о чем я только что подумал. От этого становилось душно, трудно было говорить…

Надя все понимала. Она стала рассказывать о другом. Лида с мужем живут в Средней Азии, он был опять арестован, потом выслан, но сейчас уже на свободе, работает инженером, у них сын и дочь… Дочка нашей соседки Нина выходит замуж, кажется, очень

хороший парень, студент… У Люси П. — сын Вова, необычайно смышленый славный малыш… Майка была в пионерлагере вместе с Женей, сыном Инны Михайловны Левидовой. Он удивительно развитой, серьезный парень; будет вместе с Майкой готовиться в институт; ведь уже в будущем году поступать.

А мама торопилась пересказывать самые новые и совершенно достоверные сообщения о том, что мое дело должны обязательно очень скоро пересмотреть.

— Вот увидишь, сынок, Новый год мы будем встречать вместе. Теперь я знаю, что доживу.

То была наша последняя встреча. Новый год они встречали без меня. Мама умерла 4 мая 1954 года, за неделю до очередного свидания.

Через несколько дней я получил ответ на заявление, отправленное уже после ареста Берии, — стандартная бумага из прокуратуры: «Нет оснований для пересмотра… осужден правильно…»[10]

* * *

У Евгении Васильевны на рабочем столе лежало письмо ЦК о деле Берии. Она говорила, прикуривая одну «казбечину» от другой:

— Подумать только! Он был английским шпионом… И с Тито снюхался, и с немцами!.. Теперь понятно — и амнистию он придумал провокационную. Таких, как вы, она не коснулась, зато навыпускали бандитов. Это он себе армию готовил. И восстание в Берлине устроили его агенты… А какие зверства творил! Про его дела с бабами я и раньше кое-что слышала. В органах многие знали. Но чтоб такие ужасы! Нет, раньше я бы никогда не поверила… А теперь видите, как Центральный Комитет разоблачает, — все начистоту!

[10] В последний раз такую бумагу я получил уже на свободе, в мае 1956 года, после XX съезда. Через три месяца, в сентябре, меня восстановили в партии, а в ноябре Военная коллегия Верховного суда отменила приговор как необоснованный.

Евгении Васильевне я охотно поддакивал. Хотел узнавать от нее побольше, что же происходило вокруг нас, на «большой земле», — в Москве, в стране, — и на той «малой», где ведали шарашкой и нашими судьбами. Письмо ЦК меня сперва обрадовало: уничтожение Берии могло быть только на благо нам — его жертвам, его рабам. Но потом возникли сомнения: не мог я поверить, что он был шпионом, агентом «Интеллидженс сервис», мусаватистом… Эти обвинения звучали «по старой фене», те же стандарты, что и в 37–38-м, в 48-м годах. Неужели мало было его действительных злодеяний, о которых давно знали все мы, старые зеки? И что означали слова о «преступных связях с кликой Тито, с буржуазными националистами»?.. Ведь в том же письме недвусмысленно поминали «культ личности».

Я не мог вспомнить точно, когда впервые услышал имя Берия. Но заговорили о нем, когда появилась его книга «К истории большевистских организаций в Закавказье». В ней рассказывалось, что Сталин верховодил большевиками уже в начале века и уже в юности был мудрым, проницательным, беззаветно храбрым вождем Грузии и Азербайджана. Приводились факты, ранее неизвестные или недостаточно исследованные, потому что Сталин, по своей необычайной скромности, препятствовал огласке. Эту книжку включили в учебные программы институтов, техникумов, старших классов школ, всех кружков политпросвещения. Еще до воспоминаний Берии в «Правде» был напечатан очерк Карла Радека «Зодчий социалистического общества» (1934), этакая «футурологическая» ода в прозе — «лекция о Сталине в 1984 году». Одного, а потом и другого сожрала машина, которую они отлаживали. Так же, как Ягоду, Ежова, Крыленко и сотни вовсе неведомых пропагандистов, чекистов, прокуроров, судей…

В спорах с друзьями последних шарашечных лет, объясняя природу наших бедствий, я сочинил метафорическую теорию «чекистского лейкоцитоза». Первому в мире социалистическому государству пришлось создавать чрезвычайно мощные и широко разветвленные «органы безопасности», вырабатывать своеобразные

«лейкоциты» для подавления и уничтожения вредных микробов. В тридцатые годы, в тревожную пору ожидания войны, во время войны и позднее из-за новых внешних угроз эти органы разрослись непомерно и государство заболело. Ставшие бесконтрольно самостоятельными, лейкоциты нападали уже и на здоровые части организма… Но как излечить от такого лейкоцитоза? Любое хирургическое вмешательство может оказаться смертельно опасным — вызвать губительные кровоизлияния и воспаления. Значит, необходимы постепенные, осторожные, «терапевтические» реформы…

Однако дело Берии было именно хирургической операцией. Евгения Васильевна рассказывала, что «бериевские гвардейцы» под видом спортсменов из тбилисского «Динамо» уже заполнили несколько московских гостиниц, что маршал Жуков командовал войсками, которые арестовали Берию. Танки с ходу таранили ворота его особняка; до суда его держали не на Лубянке и не в тюрьме, а где-то в Замоскворечье, в подвале штаба МВО. И там же расстреляли…

Значит, новое правительство уже осознавало опасность «чекистского лейкоцитоза»?!

В другой раз Евгения Васильевна показала мне закрытое письмо ЦК о сельском хозяйстве. Страшная правда: все прежние статистические данные — «показатели успехов и достижений» — были просто наглой брехней. Мучительно стыдно, однако возникало чувство доверия к тем, кто так смело заговорил о пороках, бедах, слабостях.

В сентябре-октябре уже и в газетах печатали отчеты о Пленуме ЦК, небывало откровенные признания ошибок, неурядиц; прямо говорилось о плохом руководстве.

…В Корее больше не стреляли. Шли мирные переговоры. В газетных статьях и в радиопередачах все чаще, все настойчивее повторялись призывы к мирному сосуществованию, к восстановлению «ленинских принципов внутрипартийной демократии»… Ежедневно кто-нибудь из вольных — и уже не шепотом, а вслух — говорил, что предстоят новые существенные перемены во всей политике.

Летом 1953 года развязывались языки у многих, прежде молчаливых арестантов.

Эрнст К. был членом партии с 1924 года. Рано осиротевший сын переплетчика — василеостровского немца — молодым рабочим стал одним из первых петроградских комсомольцев. Учился на рабфаке, потом в КИЖе (Коммунистический институт журналистики), работал в редакции «Правды» с Марией Ильиничной Ульяновой. В 1937 году его направили в Республику немцев Поволжья руководить издательством, хотя немецкий язык он едва знал. В августе 1941 года вывезли под конвоем на восток вместе со всеми поволжскими немцами. И в лесном лагере возле Иркутска он стал секретарем партийной организации.

— Это была, можно сказать, очень оригинальная партийная организация. За колючей проволокой! Только несколько человек бесконвойных могли выходить за зону — я как секретарь, один инженер, один техник, два шофера… Но все другие, все члены партбюро и старые коммунисты — у нас там были даже участники гражданской войны — ходили и на работу, и с работы, конечно, строем, с конвоирами, с собаками. Правда, назывались мы не заключенные, а спецпереселенцы. Но все равно к запретке не подходи, а в колонне — шаг влево, шаг вправо — конвой стреляет без предупреждения. Работали большинство на лесоповале, а сотни полторы на деревообделочной фабрике, делали ложи для винтовок и автоматов, мебель для госпиталей. Ну, и, конечно, в зоне обслуга. Женщин не было. Их держали в других районах. Мало кому удавалось переписываться с женами, сестрами. Только уже в последние годы войны начали находить друг друга… В моей парторганизации сначала было больше трехсот членов и кандидатов. И почти вдвое больше комсомольцев. А всего в зоне — около трех тысяч. Так что прослойка, можно сказать, конечно, значительная. Работали на совесть. Как везде — «все для фронта». Многие просились в действующую армию. И я писал одно заявление за другим. Могу сказать: большинство хотели искренне воевать против фашизма, доказать, что советские патриоты. Но потом настроение, конечно,

стало портиться. Кормежка плохая. Цинга началась. И совсем новая болезнь — дистрофия. Лекарств не хватало… Задача парторганизации была поддерживать мораль, разъяснять, помогать. Я от райкома добился несколько раз кое-какой помощи — и лекарством, и фуражом. Но уже с самого начала пошли аресты. Еще до конца войны забрали больше двух третей коммунистов и комсомольцев. Беспартийных брали меньше. С меня опер требовал, конечно, характеристики на каждого арестованного. Я писал, как мог, по партийной совести — объективно. Он жаловался в райком. Привлекли меня за притупление бдительности, сперва просто выговор получил, потом и строгача с занесением. А после войны зимою взяли уже и меня, и все партбюро. Предъявили пункты 10-й, 11-й и, конечно, первый — раз немцы, значит, конечно, изменники; кое-кому еще и 7-й и 9-й — вредительство и саботаж пришивали. И даже 8-й — террористические намерения. У меня весь букет был. Потому что я ни в чем не признавался. И вообще отказался давать показания… Убедился, что все дело — чистая липа, и написал собственноручно — дали бумажку, когда голодовку объявил, что я — честный большевик, ленинец-сталинец и в таких делах, какие устраивает данное следствие, участвовать не намерен. Грозили расстрелом. В карцерах за год просидел в общей сумме не меньше двух месяцев — по пять, по десять, раз и пятнадцать суток. Били не особенно, можно сказать, просто сгоряча. Увидели, что меня этим, конечно, не возьмешь. А потом ОСО дало 25 лет.

Эрнст был высоким, худым, жилистым. Темным, резко очерченным лицом он походил на североамериканского индейца с иллюстраций к Куперу; Сергей называл его «Чингачгук — последний из могикан».

Он впервые разговорился со мной в коридоре шарашки, у стенда, на котором выклеивали газеты. Мы читали большую, во всю страницу «Правды», речь Мао Цзе-дуна.

— Вы обратили внимание, как он говорит о внутренних противоречиях в социалистическом обществе?.. Вот это, конечно, настоящий, большевистский стиль мысли. Безоговорочная правда. Ни-

какого виляния. Вот это действительно марксист-ленинец. Какое счастье, что есть такой!..

Мне тогда очень недоставало Евгения Тимофеевича, его суждений и мыслей, которые мне казались родственными. Сергей, Виктор Андреевич, Семен мне были близки, но думал я совсем по-иному: тщетно пытался доказывать им, что они подменяют рассудок чувством и за гебистскими, гулаговскими деревьями не хотят увидеть «великий социалистический лес».

Эрнст оказался единомышленником.

Федор Николаевич Б., мастер-лекальщик, работавший в механическом цехе, невысокий сухощавый старичок с узкой белесой бородкой, раньше держался в стороне от всех. Молодым рабочим в 1915 году он участвовал в большевистском кружке, в 1917 году стал красногвардейцем, воевал с белочехами, с Колчаком. После демобилизации работал в Москве, на заводе слесарем-лекальщиком, но втянулся в профсоюзную деятельность; выбрали в завком, а там и в обком и в ЦК Союза. В 37-м году он был уже членом Президиума ВЦСПС, одним из помощников Томского.

Вспоминать об аресте и следствии не хотел.

— О чем рассказывать? Что подписывал — не помню. На другой день уже не помнил. Но жив остался. Болячки залечил. Только вот оглох на правое ухо.

Осудили его на десять лет. А в лагере «довесили» новый срок, который заканчивался осенью 1953 года. Начальник тюрьмы сказал, что выпустит его прямо за ворота — не станет отправлять в ссылку, как полагалось раньше, и позволил сообщить об этом родственникам.

— Авось найду еще работенку в Москве. Хотя уже скоро 60. Жена умерла в войну. Разрыв сердца… Когда получила похоронку на младшего сына. Тот с ней оставался. А старший от нас отрекся — политруком был в армии. И сейчас где-то в штабе. Но дочь и моя младшая сестра и свояченица все время письма и посылки посылают. И на свидания приходили. Этим летом я первый раз внучат увидел. Младший — тоже Федька; пять лет, шустрый паренек, генералом хочет быть.

С Эрнстом и Федором Николаевичем мы постоянно говорили о том, когда именно и почему начались искажения большевизма.

Эрнст рассуждал уверенно:

— Ильич предостерегал. Про завещание, конечно, слышали? Ильич писал, что у Сталина слишком большая власть в аппарате, что он груб и нелоялен к товарищам. Но Сталин обещал партийному съезду, что, конечно, учтет ленинскую критику. А Зиновьев и Каменев ходили, упрашивали товарищей делегатов поверить товарищу Генсеку. И ни Троцкий, ни Рыков, ни Бухарин не возражали. Все это мне Мария Ильинична рассказывала… Конечно, партия должна была бороться с уклонистами: и с троцкистами, и с правыми. Железная дисциплина необходима. И централизация тоже. Несчастье в том, что во главе оказался Сталин. Он подчинил себе аппарат ЦК и губкомов. И конечно, ГПУ… Пока Феликс Эдмундович был жив, ГПУ подчинялось правительству… Но уже Ягода служил прежде всего Генсеку. А Ежов и Берия — эти уж, конечно, только Сталина признавали. Он ими командовал, но и они на него влияли — пугали, дезинформировали, конечно, в своих интересах. После убийства Кирова так напугали, что он им полную власть дал — сажать, стрелять кого попало.

Федор Николаевич возражал негромко, неторопливо:

— Ну, это получается как-то упрощенно. По-марксистски надо поглубже копать. Главные причины в том, что пролетарская революция победила в отсталой крестьянской стране. Наша диктатура пролетариата с самого начала была властью меньшинства. Это понимать надо. Мы хотели воспитывать массы. Воспитать иного мальчонку-подростка бывает нелегко… А миллионы взрослых мужиков и баб за парты не посадишь. Им работать надо, семьи кормить. А мы их стали учить «а-бе-ве» и тут же азбуке коммунизма… Вот почему в партии разные мнения, разные направления получались. Раньше у нас принципиальные споры были… В том же документе, который вы завещанием называете, Владимир Ильич писал, что Троцкий и Пятаков — самые толковые вожди, но любят администрировать, командовать. Троцкий привык в гражданскую войну со своими во-

енспецами: «Ать-два-три, даешь Варшаву». А децисты — наоборот. Им давай полную демократию. Говори каждый кто во что горазд, из-за каждой мелочи — дискуссия, митинг. Им всем надо было укорот делать. Ленинградцы, по правде говоря, настоящие большевики были. Да и те москвичи, что их поддерживали — Надежда Константиновна, Каменев, — ближайшие Ленину товарищи… Но все они горожане — питерские пролетарии, московские интеллигенты… Они мужика не понимали, не сочувствовали ему, не верили — так же, как Троцкий и Пятаков. Потому и доказывали, что невозможно строить социализм в одной стране. По теории это, может, и правда, но как лозунг вредно. Демобилизует массы…

Мы ходили по лагерной улице или сидели на скамеечках сзади юрты у цветников. Три зека в синих арестантских комбинезонах, не имевшие права приближаться к колючей проволоке. Утром и вечером нас пересчитывали, как скот. Бесправные, а больше года уже и безымянные рабы. Но, забывая обо всем этом, мы сосредоточенно, увлеченно рассуждали о судьбах страны, партии, вспоминали, спорили, точь-в-точь как на партийных собраниях двадцатых годов или в кругу единомышленников, готовящихся к дискуссии…

Федор Николаевич, покашливая, поплевывая, терпеливо выслушивал пылкие речи оппонентов и отвечал, словно думая вслух:

— У Троцкого, у ленинградцев, у других левых были организованные фракции. Тут ничего не скажешь. Они и конспирировали против ЦК, но Николай Иванович Бухарин, и Алексей Иванович Рыков, и Михаил Павлович Томский, и все мы — так называемые правые — никаких фракций никогда не устраивали. Мы открыто спорили, бывало, и крепко ругались. Так ведь и с Ильичем случалось товарищам поспорить. Да еще как! В самые трудные времена из-за Брестского мира, из-за нэпа… Но мы не учли новых условий. Рабочий класс уже не тот. Большинство лучших, сознательных, активных пролетариев ушли с заводов. Кто в гражданку погиб, кто в оппозиции ушел, а кто в аппарат, как я. Перестали быть пролетариями, обросли, превратились в бюрократов, в мещан. Те, кто еще на заводах оставался, были там самое малое меньшинство. А мил-

лионы новых рабочих уже никакие не пролетарии. Мы твердили: «класс-гегемон», «диктатура пролетариата»… А подумать всерьез — так ведь настоящая власть — аппарат. И Сталин это понял раньше нас. Старики его недооценили. Никто из них даже и мысли не допускал, что он может заменить Ленина. Его выбрали в Генсеки, ну, как хорошего коменданта милиции, или, по-старому, пристава, чтоб наблюдал порядок, дисциплину, не допускал драк за власть. Ведь это Зиновьев и Каменев его выдвигали. Они Троцкого опасались, ревновали Владимира Ильича к нему, о бонапартизме поговаривали. Потом Бухарин и Рыков с его помощью хотели вытеснить всех левых и троцкистов. Так и росла его власть — от оппозиции к оппозиции, от съезда к съезду. И все-таки нельзя переоценивать роль его личности. Не он один создавал этот аппарат, не он его придумал. Даже наоборот, он был, можно сказать, выдвиженцем аппарата…

На это я пытался возражать. И объяснял — не оправдывал, но объяснял — коварство и жестокость Сталина историческими традициями и современными общественными условиями; сравнивал его с Иваном Грозным, с Петром Великим… Эрнст сердился — как можно сравнивать. То были феодалы, деспоты; им так и положено, для их классов это закономерно, а Сталин предавал рабочий класс, искажал принципы коммунизма.

Федор Николаевич не горячился:

— Исторические сравнения всегда ненадежны, хоть и красивые бывают. Меньшевики очень любили с Французской революцией сравнивать: Ленин — Робеспьер, Троцкий — Дантон… Но, по-моему, это несерьезно. Правда, Сталин сам и на Ивана Грозного, и на Петра ссылался. Но только царь Иван и царь Петр, как их там ни суди, в общем действительно революционерами были, старое ломали, новое начинали. А Сталин сам ничего нового не придумал. Только чужие дрова ломал. Такая индустриализация, такая коллективизация и самым диким троцкистам не снились… Если б не все эти сталинские «достижения», если б не голод, не ежовщина — не пришлось бы отступать до Волги… Может быть, тогда и Гитлер не пришел бы к власти.

Но я чувствовал и уже начинал сознавать, что дело не только в экономических закономерностях. Независимо от «материальных факторов», от внутрипартийных дискуссий, от вождей и аппаратчиков, на людей действуют и какие-то другие силы — духовные, нравственные.

Об этом я думал и в Восточной Пруссии, и в первые дни после ареста. Пытаясь уяснить себе природу этих сил, я вспоминал о книгах Толстого, Достоевского, Короленко и о тех людях, которых раньше знал, но воспринимал как милых чудаков, как олицетворенные «исключения из правила».

> ...Летом 29-го года я готовился поступать в институт и брал уроки математики у дальнего родственника, Матвея Мейтува, доцента университета. Его считали гениальным математиком. Он был высокий, очень худой, сутулый, черно-смуглый, губастый. А его маленькая жена казалась девочкой-подростком, серенько-русая, скуластенькая. Но в то же время они явственно походили друг на друга кроткими добрыми взглядами и улыбками. Их единственная узкая комната была заставлена книжными шкафами. На стене висел большой гравюрный портрет Льва Толстого. На тумбочке у кровати лежало Евангелие.
>
> Мы занимались за круглым обеденным столом, покрытым плешивой плюшевой скатертью. Он втолковывал трем самоуверенным юнцам — двум поэтам-полиглотам и мне — «политическому деятелю», который лишь недавно «отошел от оппозиции», — алгебру и тригонометрию... Временами он даже пытался объяснить нам красоту и стройность математических решений. Вдохновенно сверкая глазами и брызгая слюной, он говорил: «Как же вы не понимаете? Это неправильно уже потому, что некрасиво. Ведь здесь все диссонирует... А если мы возьмем так... А потом так... Вы видите? Простейшая подстановка. И вот — все получается гармонично и красиво!»
>
> Однажды я попытался завести разговор о том, насколько совместимы научные и религиозные взгляды; он отклонил его кротко, но решительно:

— Не надо, пожалуйста, не надо. Это область веры, а не знаний. Чувства, а не рассудка... Я знаю, в данном случае именно знаю, что в этих вопросах никто никого не может убедить или переубедить. Ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Вы думаете по-иному, верите в иное, и я не могу с вами спорить. Не могу и не хочу. Полагаю бесцельным, бесплодным... Вот если вы скажете, что дважды два равно пяти или что сумма углов треугольника больше двух «дэ», я постараюсь вас переубедить...

Он казался мне — самоуверенному, семнадцатилетнему «марксисту» — недалеким, наивным чудаком. Он был тяжело болен — туберкулез легких и костей. Вера приносила ему утешение, облегчение. Значит, не следовало и спорить.

В 1931 году в университете к доценту Мейтуву подошел один из студентов:

— Правда ли, что вы убежденный толстовец и поэтому не хотите брать оружие в руки для защиты социалистического отечества?

Мотя постарался уклониться от интервью и показал на свою правую руку, изувеченную костным туберкулезом и трофической язвой, с навсегда скрюченной кистью.

— А если бы вы были здоровы? Тогда в случае войны вы пошли бы в Красную Армию?

— Пошел бы санитаром.

— Значит, вы отказываетесь от почетного права — сражаться в рядах РККА?! Как вы можете это объяснить? Это у вас такие религиозные убеждения? Мы хотим, чтобы вы открыто высказались на собрании...

Мотя сказал, что он христианин и разделяет взгляды великого Льва Толстого, но не хочет участвовать ни в каких диспутах, не хочет ничего объяснять. Он не теоретик, не проповедник; его призвание — математика, и ни в его лекциях, ни в семинарах по математике нет ничего такого, что могло бы вызвать возражение взыскательных атеистов.

На следующий день в университетской газете, а потом и в городской появились злобно-ругательные фельетоны о пролезшем в университет «наглом двурушнике», который сам цинично признался, что не хочет защищать социалистическое отечество...

Его немедленно уволили, а недели через две решением «тройки» ГПУ выслали на три года в Нарым. Жена, беременная на седьмом месяце, поехала вслед. «Он же себе и чаю заварить не может. Ему надо помогать и одеться, и умыться».

Некоторое время родственники получали от них письма. Родилась дочь. Мотя преподавал в школе. Оба писали, что очень счастливы. Потом он умер, не отбыв и половины срока. Она перестала писать. Просто исчезла...

Я не забыл о Моте Мейтуве, о загубленном таланте, который мог быть так полезен людям, науке, стране, о необычайной душевной силе болезненного кроткого чудака.

В 37–38-м годах в Институте иностранных языков, где я учился, переарестовали всех преподавателей-иностранцев. Тогда же был арестован и погиб Фриц Платтен — швейцарский социалист, который приехал в Россию в 1917 году в одном вагоне с Лениным и год спустя спас ему жизнь. Они сидели рядом в автомобиле, когда вечером из темноты начался обстрел. Платтен пригнул голову Ленина, закрыл его своим телом. Пуля ударила в руку, закрывавшую темя Ленина.

Платтен вел занятия по разговорной речи. Он охотно рассказывал о встречах с Лениным. Рассказывал, не хвастаясь, не важничая, просто и... совсем неинтересно; вспоминал незначительные подробности быта, незначительные слова. Но мы слушали благоговейно. Однажды тихая застенчивая студентка поцеловала шрам на его руке. Он растерялся, покраснел, бормотал: «Что вы! Что вы! Так нельзя! Мы же не в церкви. Это даже смешно».

Высокий, седой, но моложавый и крепкий — он всю зиму ходил без шапки, был отличным лыжником, — нам он казался старосветским добряком, наивным «революционером дореволюционного образца». Когда секретарь парткома института, до-

кладывая на собрании о «повышении бдительности», сказал, что Платтен разоблачен как враг народа и шпион гестапо, этому я и тогда не поверил.

Аресты и гибель старых коммунистов, бывших друзей, товарищей Ленина, деятелей Коминтерна, недавних руководителей партии ужасали, но вместе с тем не казались противоестественными. Привыкнув думать историческими сравнениями, я объяснял их внутренними закономерностями любого послереволюционного развития: Кромвель расстреливал левеллеров, якобинцы гильотинировали жирондистов, Дантона, «бешеных»… А большевики сперва истребляли эсеров и меньшевиков, потом зиновьевцы громили троцкистов, бухаринцы — и тех, и других, и, наконец, Сталин уже «всех давиша».

Однако еще перед войной я стал задумываться над тем, что позднее назвал противоречиями между исторической необходимостью и нравственной. Начал сомневаться — так ли уж совпадает сталинская стратегия с требованиями исторической необходимости. В 1941 и 1942 годах на фронте я говорил некоторым друзьям, что «первые тяжелые поражения Гитлер нанес нам в 37-38-м годах». Никто не возражал. (И после моего ареста на следствии эти слова не приводились.) Мы все знали, что командующий новгородской армейской группировкой комбриг Коровников, который еще в августе 41-го года едва ли не первым прочно остановил немцев на берегах Волхова и Малого Волоховца, до зимы оставался именно комбригом, а не генерал-майором, — в петлицах у него были ромбы, а не звездочки, потому что он был арестован еще до введения генеральских званий и прибыл на фронт из лагеря. Так же, как Рокоссовский и командир Пролетарской дивизии Дмитрий Петровский — сын старого большевика, «всеукраинского старосты» и брат расстрелянного журналиста. Он был одним из немногих комдивов, которые наступали в июле 41-го года, и даже отбил у немцев город Рогачев. Оказавшись раненным в окружении, он застрелился… Старый партизан у Пскова, бывший кулак, вернувшийся незадолго до войны из

Нарыма, говорил: «Советская власть меня крепко обижала, все отняла, что имел… Но другой власти в России нет. А Гитлер — смертный враг всему народу, значит, и мне. И война эта за всю Россию. Тут выбирать нечего…»

После войны в тюрьмах и лагерях я убедился: расправы, чинимые НКВД, МГБ, ОСО, были несправедливы, жестоки и просто бессмысленны. Чаще всего очень вредили реальным интересам государства и партии. Безнравственность этих расправ уже нельзя было объяснить исторической необходимостью, как мы объясняли террор революции и гражданских войн. Ежовщина, бериевщина, — десять лет спустя скажут — сталинщина, — явно противоречили исторической необходимости.

Чем отчетливее я сознавал, что не могу разрешить это противоречие знакомыми средствами диамата-истмата, тем внимательнее прислушивался к людям, думавшим по-иному, и старался понять взгляды, противоположные моим.

В первые мои комсомольские годы я просто не услышал бы даже очень умного человека, зная, что он религиозен, либерал или меньшевик и т. п. «…Из Назарета может ли быть что доброе?»

Позднее, напротив, я уже старался узнавать, что и как думают идеологические противники. Поэтому и до войны, и тем более на фронте внимательно читал нацистские книги, журналы и газеты, читал и слушал по радио речи Гитлера, Геббельса, Геринга и др., а пленных не столько допрашивал, сколько расспрашивал, вызывал на откровенные непринужденные разговоры. Так же внимательно я знакомился с пропагандистской литературой власовцев, бандеровцев (ОУН), польских националистов. Это было изучение противника, «идеологическая разведка», целеустремленная, движимая любознательной враждебностью.

«Воинствующим безбожником» я не был никогда. Потому что и в годы задиристой юности считал постыдным оскорблять чужую веру и не хотел мешать тем, кому религия приносила утешение, надежды. В тюрьме я часто завидовал верующим: для них лишения и страдания были исполнены высокого смысла, и смерть их не пу-

гала. Я уже не мог вернуться к доброму Богу моего детства, поверить в существование предвечной высшей силы, сотворившей наш мир. И не мог поверить, что смертные люди способны постичь такую силу и вправе истолковывать ее волю, возвещать от ее имени законы и по ним судить, карать и миловать себе подобных…

Однако меня всегда радовали и радуют встречи с такими верующими, которые похожи на Мотю Мейтува тем, что для них религия — это не система догматов и ритуалов, а нравственная основа человека, живой источник доброго отношения к другим.

> В январе 44-го, после госпиталя, в дни последней побывки в Москве, мы вдвоем с другом пришли в гости к нашей приятельнице, бывшей сокурснице. Мы пили пустой чай с огрызками сухарей и говорили о том, когда может кончиться война, что будет после. Говорили, что люди теперь должны стать умнее, добрее, справедливее. Война раскрыла действительные свойства народа, кто чего стоит, и после войны конечно же начнется расцвет в экономике, в науке и технике. В 20-е годы Европа и Америка рванули на целую эпоху вперед. Авиация, автомобилизация, кино, радио — все это был послевоенный прогресс. Мы тогда отстали от Запада из-за гражданской войны, из-за блокады. Но теперь уже мы будем главными победителями. И социальный прогресс не отстанет от технического и научного.
>
> Хозяйка — молодая, серьезная женщина, сперва молча слушала наши рассуждения, а потом заговорила тихо, мягко и все же так, что мы уже не перебивали:
>
> — Прогресс... Раньше, до войны, в институте, — это было в прошлую эпоху, кажется, век тому назад, — я тоже верила в прогресс, в светлое, прекрасное будущее... Потом была эвакуация. Мы с мамой голодали. Я работала судомойкой, уборщицей, швеей — шила мешки и рукавицы. Много работала. Но голова была небывало свободна. И я все думала, думала. Вот мы учили историю — Египет, Вавилон, Эллада, Рим, Средние века... Читали книги — древние и новые... И что же? Тогда голодали, мучили и убивали людей, и теперь мучают, убивают

> и голодают... В абсолютных числах теперь даже больше, чем когда-либо раньше. Больше жертв, больше палачей... Но всегда были и счастливые люди. Всегда было счастье любви, материнства, счастье выздоровления, избавления от опасности, от беды... И радость от музыки, от стихов, от весеннего утра, от встреч с хорошими, добрыми друзьями, от моря, от леса... Подумайте, разве за сотни, за тысячи лет сколько-нибудь изменилось отношение суммы человеческого счастья и суммы несчастья?.. Нет, никакой прогресс не может избавить людей от горя, от смерти. И не может прибавить радости.
>
> Потом я часто вспоминал этот разговор. Старался рассуждать так же просто и бесстрашно, как она. И уже не испугался, прочитав Бердяева: «В истории нет по прямой линии содержащегося прогресса добра... нет и прогресса счастья человеческого — есть лишь трагическое, все большее и большее раскрытие самых противоположных... как начал добра, так и начал зла...»

Необходимость непреложных нравственных законов в древности сознавали Хаммураби, Солон, Моисей, Конфуций, Лао Цзы, Христос, Магомет, Ярослав Мудрый…

Многие религиозные догматы возникали, чтобы подавить врожденные разрушительные инстинкты, которые неподвластны рассудку. Евангелие я всегда воспринимал как поэтически воплощенное утверждение самых добрых нравственных сил.

Думая о том, какой будет социалистическая этика, я верил, что она вырастет прежде всего из библейско-евангельских заповедей, из лучших традиций буддизма и Дао. Однако нашу нравственность, наш категорический императив должно отличать от всех моральных кодексов прошлого *атеистическое бескорыстие.*

Рассуждал я просто: религиозные учения, возникшие в товарном обществе, таят в себе принципы товарообмена. Предписывая добро и отвергая зло, они сулят за все надлежащую оплату: будешь добрым при жизни — вознесешься после смерти в рай, обретешь вечное блаженство; будешь грешить, злодействовать — попадешь в ад на вечные муки.

Возможности покаяния и прощения, замаливания грехов и предельное развитие таких возможностей — индульгенции, оплаченные молебны — отражают простейшие товарные отношения между людьми реального мира, проецируют их на отношения между человеком и Богом — сверхреальными, надмирными силами.

Человечество еще не освободилось от власти материальных сил, господствующих в «царстве необходимости», от власти непостижимых стихий рынка, от всех опасностей, порождаемых инстинктом стяжательства, хищным своекорыстием, завистью и соперничеством собственников, — следовательно, религиозные законы нужны и полезны. Так я думал всегда.

Новая сталинская церковная политика, начавшаяся еще в 1934 году[11], и все более полное подчинение церкви государству после войны доказывали: мудрый вождь понял это. Без участия религиозных авторитетов невозможно устанавливать и соблюдать человечные отношения между людьми, между отдельным гражданином и обществом и государством.

Сталинский «конкордат» с патриархом Сергием, восстановление Синода, семинарий, нескольких монастырей мне казались успешным решением тех проблем, которые некогда тщетно пытались решить «богоискатели» Горький и Луначарский. Но идеальные нравственные законы социализма будут свободны от всех иллюзий и от всех видов «лжи во спасение».

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин не пытались представлять будущее человечества сколько-нибудь конкретно. Потому что их занимали прежде всего проблемы истории и современности, отношения между классами и государствами, сложные хитросплетения экономики и политики. Для них важны были общественное бытие и общественное сознание. И поэтому казались малозначимыми частный быт и частное сознание, повседневные заботы «маленьких людей».

---

[11] С 1934 года в повседневной пропаганде, в школьных и вузовских учебниках стала подчеркиваться «исторически прогрессивная роль православия в России»; главный партийный поэт Демьян Бедный за хамское безбожие в стихах был жестоко проработан.

Не сомневаясь в том, что классики марксизма были правы, когда занимались только законами больших чисел, я думал, что эта их правота *исторически ограничена* — действительна только для их времени.

А Достоевский на одной странице «Подростка» воспел, — именно воспел как поэт, как художник, — будущее содружество людей, которые освободились от всех религий, не верят в бессмертие души. Но именно поэтому они особенно нежно любят друг друга, любят природу, любят свою короткую, но тем более прекрасную жизнь. Достоевский — автор «Бесов», противник народовольцев и друг Победоносцева — писал о людях социалистического безбожного общества с необычайной симпатией. И мне, комсомольцу, он представлялся провозвестником нового абсолютного нравственного закона для всех времен.

Уже тогда я не только ощущал, но и сознавал превосходство Достоевского и Толстого, Гете и Пушкина над моими законоучителями. Маркс и Энгельс так восхищались Данте, Шекспиром, Гете, Бальзаком, а Ленин так писал о Толстом, что было очевидно: «классики марксизма» смотрели на классиков мировой литературы снизу вверх.

Эрнст и Федор Николаевич воспринимали эти мои рассуждения с некоторым любопытством, снисходительно, как фантазии мечтателя. Но бывало, и отстраняли их, как маниловские благоглупости.

А я все больше убеждался в необходимости заново пересмотреть и другие представления марксистской ортодоксии, переосмыслить их в свете все тех же требований нравственного закона.

Нас учили почитать святыни больших чисел. Маяковский славил «Стопятидесятимиллионного Ивана», твердил: «Единица — ноль, единица — вздор…», видел счастье в том, что «каплей льешься с массами…».

Мы считали индивидуализм равнозначным эгоизму, себялюбию, «ячеству», он мог быть только буржуазным или мелкобуржуазным.

Но и гитлеровцы в детских садах, в школах, и казармах воспитывали фанатичных противников индивидуализма, внушали, что «общее благо всегда выше личного».

Об этом я напоминал, когда мы говорили о предпосылках и причинах «культа личности». Когда утверждается абсолютное превосходство некой сверхличной силы — государства, нации, класса либо даже только предприятия, коллектива, когда такой силе подчиняют интересы и права отдельного человека — «неизвестного солдата», «винтика», «щепки» (отлетающей, когда рубят лес), — тогда неизбежно возникает самодержавие одного властолюбца: фараона, императора, вождя, фюрера… И чем громче провозглашается величие, святость обезличенного множества, тем беспощаднее его жрецы — преторианцы, опричники, жандармы, эсэсовцы — подавляют бесправных подданных.

Эрнст слушал недоверчиво и, заподозрив меня в попытке оправдания индивидуализма, пугал сравнениями с епископом Беркли, Шопенгауэром и даже Ницше.

— Ты неправ. Все наоборот. Всякий культ личности есть выражение индивидуализма: Наполеон, Бисмарк, Муссолини, Гитлер — все они типичные представители своих формаций. Наполеон — это ранний период промышленного капитализма. Бисмарк — зрелый капитализм в союзе с помещиками — юнкерами, Муссолини и Гитлер — уже империалистическая стадия… В России тоже, конечно, были всякие культы. Например, Керенский. Я сам видел массовые истерические восторги. И психовали не только гимназисты, не только буржуазная интеллигенция. Весной 1917-го еще многие рабочие, солдаты, матросы им восхищались: как же, народный трибун. И вокруг Троцкого что-то вроде культа намечалось. Троцкисты, конечно, его превозносили. А в противовес начался культ Сталина: его подхалимы старались… Но всякий культ личности, конечно, противоречит пролетарской идеологии. Ты недооцениваешь роль масс, государства, партии. Так можно договориться до того, будто бы нет существенной разницы между нами и фашистами… Ведь это абсурд. Наполеон и Гитлер не подавляли индивидуализма,

а, наоборот, играли на личных интересах так называемого «маленького человека». Для них культы, конечно, естественны, исторически закономерны. Но у нас культ противоестествен, грубое извращение ленинских традиций. Ленин такого не допустил бы… Федор Николаевич говорил тихо, неторопливо: — А я не стал бы это заявлять категорически… Ильич и правда не любил чествования, хвалебной болтовни, подхалимства… Но еще меньше любил, если кто возражал, оспаривал *его* линию, неправильно выполнял *его* указания… Внешние формальные обряды он не жаловал. Но свой авторитет держал крепко. Он, бывало, посмеивался над Троцким, Дыбенко, Луначарским — те любили парады, театральные эффекты. Посмеивался, но признавал, что для масс, для агитации это нужно. А после его смерти начался настоящий культ Ленина… Да, да, именно культ. Не знаю, как там сформулировать по-вашему, по-философски: объективно — субъективно, закономерно — незакономерно. Но знаю, что сам видел и слышал. Когда Мавзолей придумали, некоторые товарищи так и возражали: «Это культ! Это на церковный лад — мощи», и Надежда Константиновна даже заплакала на заседании Политбюро: «Надругательство!.. Ильич никогда не позволил бы». Но Сталин, Зиновьев, Калинин доказывали: это имеет огромное пропагандистское значение и будет влиять на психологию масс. Рыков их поддержал. Бухарин и Каменев колебались, а Троцкий и рта не раскрыл. Его тогда уже попрекали старыми спорами с Лениным, он и смолчал. Так что культ личности начинался у нас после смерти Ленина с него самого. Уж не знаю, как считать это — естественно, противоестественно или сверхъестественно. И уже тогда вожди отрывались от масс. И чем дальше отрывались, тем громче кричали, тем красивше писали о рабочем классе и крестьянстве. А потом на старый лад — о Родине, о народе. Тогда уже и Сталина как святого почитать стали: «отец народа», непогрешимый папа… Не знаю, как это с точки зрения диамата и вредности индивидуализма, но по-моему, так со всех точек зрения у нас ни в грош не ставят личность рабочего, крестьянина, служащего и вообще личность, хоть партийную, хоть беспартийную… Вот наши вольнонаемные ведь полноправные

граждане социалистического государства, даже граждане высшего сорта — работают на спецобъекте… Но я сам слышал, некоторые прямо говорят: живется им хуже, чем нам. Работа такая же, но им еще надо заботиться, где что купить, как семью накормить, одеть, жилье устроить… Был у нас в механической Петька — помните? — такой белобрысый курносый мальчонка; ему уже 18, а выглядит, как 13-летний. Его прямо из тюрьмы привезли большим этапом на постройку цеха. Потом он у меня работал, хорошим слесарем стал. Так вот для него тюрьма была вроде санатория. Он старший сын вдовы-колхозницы, у нее еще трое совсем малых. Мать заболела, он остался единственный кормилец. Взял в колхозе мешок капусты и мешок картошки. Бригадир было разрешил, но когда дело завели, отперся. Петька и получил по указу все десять. А здесь он впервые в жизни на отдельной кровати спал, на простыне, на подушке с наволочкой, впервые в жизни досыта ел — три раза в день… Да еще из отдельных тарелок. Его уже в Бутырках баланда и матрацы восхищали. А у нас ему все раем показалось. Работал он хорошо, с азартом учился. Инструменты для него как игрушки драгоценные. Славный паренек, смышленый, ласковый, прилежный… Страшно подумать, как ему теперь в лагере, после нашей благодати… Так вот он кто есть? Молодой трудящийся социалистической деревни. Он же личность, индивидуальность. И таких личностей, таких Петек огромная масса… Не знаю, как по теории. Может, вам это индивидуализмом покажется. Не знаю, какие есть принципиальные различия между немецким культом и нашим, не знаю. Но общего у них много, слишком много.

* * *

В один из первых декабрьских дней Владимир Николаевич сказал Сергею и мне:

— Начинайте сдавать дела. Доделывайте лишь то, что требует не больше двух недель. Все остальное приводите в порядок, насколько возможно.

Раньше нашего брата увозили внезапно и непредвиденно. В этот раз предупредили заблаговременно. И уже не только Гумер и Иван Емельянович, но и сам Антон Михайлович сказал мне, что отправят нас в Кучино.

— Там условия быта и работа, в общем, аналогичны нашим… Ну, характер работы для вас, возможно, будет менее увлекательным. Впрочем, чем черт не шутит, может быть, вам еще удастся заняться своей фоноскопией. Но могу порадовать другим: там, говорят, уже введены зачеты, ранее на наших объектах не принятые. Так что вы сможете приблизить желанный день.

Вскоре отправили первую партию. Из акустической уехали Сергей, Валентин. Из математической — мой бывший помощник Василий; несколько дней спустя Гумер сказал, что они все уже в Кучино.

Нас оставалось на шарашке 18 и еще два зека — дворники в лагере. По вечерам мы гуляли по заснеженному «проспекту растоптанных надежд», между темными заколоченными юртами, в слепящем бледно-лиловом свете фонарей в одиночку или редкими парами.

Хорошо было гулять с Виктором Андреевичем. Он тихо говорил о музыке, о стихах, о цветах… И только с ним можно было подолгу ходить молча.

В один из таких молчаливых вечеров он сказал:

— А ведь нам грустно оттого, что предстоит скоро уезжать. Привыкли, что ли? Или боимся неизвестного будущего?.. Никогда бы не подумал, что буду грустить, расставаясь с тюрьмой. Но здесь мы оставляем часть души…

Фоноскопические исследования я так никогда и не возобновил. Лет двадцать спустя прочитал, что подобные работы ведутся в Японии, в Западной Германии; если судить по опубликованным данным, там еще не слишком превзошли все то, чего добились мы на шарашке.

Книга о физической природе русской разговорной речи, так и не ставшая диссертацией, еще недавно как рукопись сохранялась в архивах. Вероятно, итоги наших исследований и даже некоторых

малых открытий — все, что содержится в ней, теперь уже изучено заново куда более точно, обстоятельно и заново открыто.

Сравнительные таблицы разноязычных слов, в корнях которых можно предположить обозначение руки, сопричастных ей предметов, действий и понятий, лежат у меня дома в старых пыльных папках, на дальних полках. Прошло более четверти века; я ни разу не пытался вернуться к ним, продолжить. Сознавая несостоятельность своего дилетантизма, я понимал, что уже не могу наверстать, не успею. И теперь думаю, что если какие-то из моих лингвистических предположений и гаданий справедливы, то раньше или позже настоящие ученые обнаружат эти истины, лучше исследуют их и лучше изложат. А я обязан делать лишь то, чего вместо меня никто сделать не сможет: рассказывать правду о времени, отраженном и воплощенном в моей жизни.

В истории Марфинской шарашки, зародившейся под куполом осквернённой церкви «Утоли моя печали», можно увидеть слепок, «действующую модель» некоторых существенных особенностей всей тогдашней жизни в нашей стране.

Шарашки по сравнению с лагерями были «первым кругом ада» и заповедным убежищем. У нас многие надеялись, что, разрабатывая, изобретая, совершенствуя секретные телефоны, они облегчат свою участь и если не заслужат помилование или досрочное освобождение, то хотя бы после освобождения получат хорошую работу. Иные, кто так же, как Евгений Тимофеевич, Эрнст, Федор Николаевич и я, считал себя коммунистом, были убеждены, что работать на пользу Советскому государству нужно при любых обстоятельствах изо всех сил, без оглядки.

Существенно различны были внешние общие побудительные силы, бесконечно разнообразны личные судьбы и внутренние миры — взгляды, характеры… Но почти все работали не просто добросовестно, а еще и увлеченно, страстно, иногда самозабвенно.

Инженер Георгий Дмитриевич Л. был убежденным монархистом. В разговоре однажды Сергей назвал последнего царя «придурком Николашкой». Георгий Дмитриевич вспылил:

— Попрошу в моем присутствии воздержаться от подобных непристойностей. Государь погиб, как мученик. Его память я свято чту.

О литературе он судил очень строго:

— Лев Толстой, несомненно, большой художник слова: отлично описывал природу, психологию и вообще… Но он был разрушителем, подрывателем, можно сказать, развратителем… Это великое несчастье России, что весьма одаренные люди разрушали и подрывали основы государства, основы религии и, значит, нравственности. И Гоголь, и особенно Герцен, и даже Достоевский, — хотя сам он ведь каялся, стал искренне верующим, хотел служить церкви и династии, а все-таки не мог удержаться, подрывал — и в «Подростке», и в «Карамазовых», и в «Дневнике писателя»… А Толстой — откровенный бунтовщик, стал еретиком. Не понимали они, какую беду готовили…

Этот непримиримый противник не только советской власти, но и самого умеренного либерализма изобрел систему «ближнего телевидения» для съездов и конференций. Его система позволяла видеть и слушать оратора одновременно еще и на больших экранах, в разных концах залов, в фойе и снаружи, на улице.

Над изобретателем подшучивали — как же так, почитатель царя и придумал такое, что будет возвеличивать советских вождей. Он сердито огрызался:

— Нонсенс! Это никакая не политика. Это плод научной инженерной мысли. Простое, но остроумное изобретение. И оно всем на пользу, годится и для театров, и для концертов. Будет служить не только политическим трепачам. Я — русский инженер, и что бы я ни делал, я делаю только добросовестно и возможно лучше. Я не скрываю, что я думаю об этой власти, но техника есть техника и наука есть наука.

Так же поступали и примерно так же рассуждали Сергей, Семен, Валентин и почти все другие, кто, подобно им, отрицали политический строй, но работали увлеченно, азартно.

> В конце семидесятых годов я встретил даму, которая была у нас молоденькой вольнонаемной лаборанткой. Оказалось, что она работает все там же. Недавно «остепенилась» — защитила кан-

дидатскую в НИИ, который мы называли шарашкой, там оставалось еще несколько ветеранов из вольняг, работавших с нами.

Она вспоминала о давних временах, расспрашивала, рассказывала — кто умер, кто на пенсии, кто достиг высоких должностей.

— А мы как раз совсем недавно о вас говорили. Кто-то слышал про вас по радио... по иностранному... И раньше мы вспоминали про вас, и про других, и про Солженицына, конечно. Сначала никто не хотел верить, что это тот самый, который проводил артикуляцию. Я ведь тоже участвовала. Но когда я увидела его портрет в «Роман-газете», там был рассказ про этого Ивана... да-да, Денисовича, — я сразу узнала. А вас я, по телевизору видела, вы про какого-то немецкого писателя докладывали... да-да, Брехта, тогда еще и кино показывали, потом, кажется, Константин Федорович вспомнил, что у нас остались ваши работы по акустике, и велел кому-то позвонить, чтобы их просмотреть и, может быть, даже напечатать в наших научных записках... Значит, вам тогда звонили?.. Вот видите, чего ж вы не собрались? Да, да, теперь уже не удастся. Вас ведь исключили из партии. По радио об этом говорили. Недавно мне рассказывал один товарищ, — неважно кто, — да вы его, наверное, и не помните, он тогда еще моложе меня был. Но он вас помнит и много слышал про Солженицына и вообще. Так вот он сказал: «Когда они у нас работали, от них польза была, а теперь только вред». Вы не обижайтесь, это он в политическом смысле... Мы тогда как раз говорили, почему институт хуже работает, чем раньше. Старые работники вспомнили про вас, — нет, не про вас лично, а вообще про спецконтингент. Как много тогда изобретали, сколько новаторства было и всяких выдумок. И этот товарищ сказал: потому что тогда железный порядок был, во всей стране и в нашем институте. Все боялись халтурить, симулировать, работать спустя рукава. Заключенные боялись попасть обратно в тюрьму или куданибудь на Север, а вольнонаемные видели их пример и тоже боялись. Поэтому не было пьянства, больше думали о работе, болели за свое дело. А теперь больше думают о тряпках, о мебели, о машинах... Вот он и вспомнил про Солженицына

и про вас, что раньше вы были ценные научные кадры, а когда Хрущев всех реабилитировал и начал шуметь про культ, то вы начали об этом писать, выступать. Но потом оказалось, что про культ это только так говорится, а вы были вообще против партии и против Советской власти. Не обижайтесь, пожалуйста, я лично так не думаю, это он говорил. Он, видите ли, сын старого работника органов, очень болеет за Сталина и вообще за работу, за трудовую дисциплину. Сам он хороший работник и как человек — скромный, порядочный.

Она не помнила, возражал ли кто-нибудь этому скромному болельщику Сталина. Во всяком случае, не она. Ведь это же правда, что раньше работали куда лучше.

Я начал было говорить ей, что если бы те инженеры и техники, которые были столь полезны как спецконтингент, оставались на свободе, если бы их изобретения не присваивали бездельники в погонах, если б руководил ими не тупой чекист, а хотя бы тот же Антон Михайлович, но чтобы ему самому не приходилось постоянно страшиться невежественных и всевластных «хозяев», то плоды их работы были бы куда значительнее, куда обильнее.

Она согласно кивала, даже улыбалась:

— Да-да, вы правы. Конечно... возможно...

Однако в приветливом голосе слышались интонации вежливой отчужденности, а в глазах мелькали тени знакомого давнего недоверия. И я не пытался больше объяснять, насколько опасно заблуждается добродетельный сын старого чекиста.

Такая ностальгия заметна в последние годы у разных наших сограждан, старых и молодых, сановников и работяг. В кулуарах закрытых партийных собраний и в очередях, у продовольственных магазинов, где спорят усталые, раздраженные женщины, резонерствуют пенсионеры и словоохотливые алкаши, можно услышать весьма сходные суждения:

— При Сталине все-таки порядок был... Ну, не скажите, каждый год цены снижались. И в магазинах, и на базарах всяких продуктов навалом было... А на производстве какая была дисциплина. Тогда и пьянствовали, и воровали куда меньше... Это

уж точно, безобразия не допускались... При Сталине сразу за шкирку брали... Ну, да, ну да, случались перегибы, на зато семьи крепче были. И молодежь не такая распущенная — ни бород, ни мини-юбок, ни всего этого распутства. И хулиганства куда меньше. Строжили как следует.

Возражений обычно не слушают. Кто постарше, отмахивается: «Ну, бывало, бывало... Да только Никитка все раздул, преувеличил. Да и наврал еще».

Их дети, их молодые слушатели верят им и судят еще решительнее. И еще меньше способны услышать правду. А когда им говорят о кошмарах империи ГУЛАГа, о миллионах бессмысленных жертв, о десятках миллионов рабов, они просто не хотят слышать. Более осведомленные ссылаются на Туполева и Королева: «Вот ведь, были в заключении, а как успешно работали, сколько сделали для развития авиации и техники».

Туполев и Королев тоже работали на шарашках. Работали с таким же рвением, с каким Иван Денисович Шухов укладывал кирпичи. Сохраняя «привычку к труду благородную», они так же, как мои марфинские друзья и товарищи, были еще и одержимы своими идеями, замыслами, своим призванием. И так же неразрывно связаны с нашей страной, с ее прошлым и настоящим. Пусть даже не всегда сознавая это.

Когда-нибудь напишут историю шарашек. Обстоятельно расскажут о том, как в тюрьмах, в рабстве люди продолжали мыслить, работать и творить... Такая история, быть может, позволит лучше понять некоторые реальные чудеса нашей давней и нынешней жизни...

Виктор Андреевич был прав. На шарашке мы оставили частицы наших душ.

* * *

Девятнадцатого декабря на утреннюю поверку дежурный пришел с ворохом стандартных папок — «тюремных дел» — и уже не пересчитывал нас, вызывал поименно:

— Так что сегодня собирайтесь с вещами. Идите на объект, оформляйте, значит, документы. У кого там есть личные вещи, приносите. Можно не спешить. Обед, значит, будет как всегда. А ужинать будете уже на другом месте.

Свой архив я к тому времени почти весь перенес из лаборатории в юрту. Приятели из механической сколотили мне большой прочный фанерный чемодан — «угол». Я составил описи и оглавления всех папок, тетрадей, блокнотов и список книг. Все в двух экземплярах. Некоторые «подозрительные» тексты — философские, исторические и политические размышления — заблаговременно отдал Гумеру.

Он и Иван Емельянович провожали нас, «последних ветеранов акустической». Гумер вытащил из своего стола бутылку водки, разлил по стаканам, мензуркам, баночкам. С нами выпили и Ванюша, и Валентина Ивановна — посошок:

— Чтобы не в последний раз вместе. И чтобы в следующий раз уже на воле.

Ванюша и Валентина просили передать привет Сергею Григорьевичу, приглашали, когда будем свободными, приходить в гости. Валентина утирала слезы.

Текст диссертации был перепечатан, подшит, оставалось добавить лишь часть иллюстраций. В последние часы я еще пытался что-то объяснить ей, но она печально отмахивалась — мол, не до этого.

Все были растроганы и возбуждены. Однако не так тревожно, напряженно и отрешенно, как бывало раньше при «выдергивании» арестантов. И я успел состряпать рифмованное послание остающимся. Оно начиналось: «Прощайте, марфинские липы, прощай, наш липовый НИИ». И заканчивалось нежным приветом друзьям и всем, кто в трудные дни помогал нам «хотя бы добрым словом».

Тяжеленный чемодан я до обеда потащил из юрты на вахту:

— Прошу проверить заблаговременно. Тут все мои личные книги, записи, творческие, научные материалы..

Дежурный офицер пожал плечами:

— А чего еще проверять? У вас есть документ с объекта — указание, что задолженности за вами нет. Значит — порядок. А свое забирайте все, что хотите.

Увозили нас вечером. Все уместились в одном воронке. А в другом повезли чемоданы, мешки, рюкзаки.

Сквозь железные стенки едва слышалось поскрипывание ворот, голоса вахтеров. В маленьком зарешеченном оконце сзади мелькнул яркий фонарь зоны Тряхнуло на ухабе… Покатили.

Прощай, шарашка!

## *Глава четырнадцатая*
# ХОЧУ БЫТЬ СВОБОДНЫМ

Человечество живо одною
Круговою порукой добра.

*Неизвестная монахиня.*
*Запись Марины Цветаевой*

Новый год — 1954-й — мы встречали в тюрьме «Матросская тишина». Там пробыли три недели. Потом восемнадцать последних марфинцев привезли в Кучино, поселок неподалеку от Москвы, где несколько сотен заключенных и примерно столько же вольнонаемных рабочих, инженеров и техников изготовляли разнообразную радиоаппаратуру, электронное оборудование, измерительные приборы.

Мы с Василием работали в технической библиотеке — переводили и реферировали английские, немецкие, французские, итальянские, чешские и др. статьи, описания приборов, технические инструкции, составляли систематический каталог книг и журналов. Нормы были обычные — один печатный лист переводить четыре дня, соответственно нормировались рефераты и работа с каталогом.

Перевыполнение норм вознаграждалось «зачетами». В зависимости от степени перевыполнения один рабочий день приравнивался к полутора, к двум с половиной и даже трем дням заключения.

Другим чрезвычайным новшеством было то, что освобождавшиеся просто уходили за ворота. Раньше, в Марфине, тех, кому предстояло скорое окончание срока «по звонку», увозили за месяц-

полтора до этого. С 1947 и до 1953 года все, кто был осужден по 58-й статье, после тюрем и лагерей отправлялись в пожизненную ссылку. А в 1954 году кучинские старожилы, возвращаясь после свиданий, рассказывали, что их недавно освобожденные товарищи уже побывали у них дома, передают приветы, ищут работу в Москве.

Мы с Василием старались изо всех сил. Жалели, что запрещена сверхурочная и воскресная работа.

Наша начальница, инженер-майор, волоокая красавица с косой-короной, бывала чаще великодушно-снисходительна, чем сварливо-груба, и к концу ноября, за десять рабочих месяцев, я уже выработал примерно полтораста зачетных дней. Вместо 7 июня 1955 года — эта дата значилась в последнем приговоре — я надеялся выйти на свободу еще до конца 1954 года.[12]

Седьмого декабря на утренней поверке дежурный офицер вызвал меня:

— Сегодня вам на волю. Идите, оформляйтесь на объекте.

Дней за десять до этого я притащил все тот же чемодан местному куму — худосочному, унылому капитану — и попросил заблаговременно просмотреть и оформить разрешение на вынос…

Совершался последний шмон. Сидя уже раздетым в дежурке, я снова и снова требовал свой чемодан. Вошел кум и, глядя в сторону, сказал, что не успел просмотреть:

— Там на разных языках понаписано… Всякие научные бумажки. Я в этом разбираться не обязанный. Передадим на объект.

Тогда я сказал спокойно, даже кротко, но решительно:

— В таком случае я не буду одеваться и не уйду отсюда, пока не получу мои вещи. Можете меня силой выносить за ворота. Эти книги и записи — самое главное, самое важное, что у меня есть. Без них не выйду.

Опер и дежурный офицер растерялись. Дежурный стал было покрикивать, командовать. Но я отвечал все так же кротко:

---

[12] О том, как я жил в тот последний год заключения, рассказывается в начале книги воспоминаний, которую мы пишем вдвоем с Раисой Орловой.

— С сегодняшнего дня я по закону свободный гражданин и не обязан выполнять ваши приказы. Без своих книг и записей я не двинусь с места.

Капитан ушел. Из соседней комнаты было слышно, что он звонил своему коллеге — оперу шарашки — и начальнику тюрьмы, который в тот день болел. Потом он вернулся. И так же глядя в сторону, раздраженно сказал:

— Чего сидите, как в бане? Одевайтесь, забирайте свой чемодан.

Он и дежурный все же отомстили мне. В ту осень почти ежедневно кто-нибудь уходил на волю, и освобождавшиеся получали вполне приличную одежду; инженерам «первой категории» выдавали даже фетровые шляпы и драповые пальто.

Еще в Марфине осенью мне досталось почти новое теплое пальто. Во время шмона оно внезапно исчезло, и завхоз принес «на выбор» засаленный серый ватник с бурыми заплатками и выкрашенную в черный цвет старую солдатскую шинель с палочками вместо пуговиц. Дежурный офицер сказал, ухмыляясь:

— Если не нравится, можете выкинуть за воротами. Вы теперь вольный гражданин, и мы больше не отвечаем за вашу одежду и за ваше здоровье.

Но я уже просматривал содержимое чемодана, сличая по своему списку. Сердце колотилось под самым кадыком. Горели уши. Главное было сдерживаться, не подавая виду, чтоб не заметили, как дрожу.

Оставались минуты… Молодой надзиратель подмигнул явно сочувственно…

Пришел тюремный канцелярист и вручил «остаток с личного счета» — несколько десятков рублей. Я впервые держал в руках новые деньги — новые после реформы 47-го года.

Надев куцую шинель — бахромчатые полы расходились, едва доставая до колен, — я понес на плече тяжеленный чемодан. У ворот провожавший вертухай сказал — точь-в-точь как тогда в Бутырках, после оправдания: «Иди, да не оглядывайся. — И добавил: — Не беги, до станции километра два будет, задохнешься».

Выйдя наружу, я привязал к ручке чемодана полотенце и поволок его по снегу. Шел вдоль пустынной улицы поселка. С одной стороны ограда шарашки, обшитая зелеными досками, с другой — редкие дома, садики…. Морозило не сильно… Падал тихий, мягкий снежок…

СВОБОДА!..

Меня догнали три мальчика, тянувшие санки с бидоном. Они оглядывались, переговаривались. Потом остановились, подождали:

— Дядь, а дядь, вы на станцию?

— Да, ребята. Далеко еще?

— Ага! Давайте чемодан на санки. Легче будет. Они быстро все приладили: пристроили сверху бидон. Мы пошли вместе. Они поглядывали на меня с веселым любопытством. Я спрашивал, в каких классах учатся, что проходят, часто ли бывают в Москве… Они отвечали словоохотливо, перебивая друг дружку. Но сами не задали ни одного вопроса.

Мы шли вдоль насыпи. До станции оставалось шагов пятьдесят. Ребята остановились, пошептались.

— Дядь, а дядь, тут вам уже близко. А нам надо обратно. А то керосинную закроют, нас заругают.

Эти славные кучинские пареньки в потертых пальтишках были первым добрым приветом свободы — воли!

* * *

В тот декабрьский день — долгожданный, заветный, и самый обычный, и неизъяснимо чудесный — мне казалось, что я выхожу из тюрьмы таким же, каким вошел.

За девять с половиной арестантских лет я испытал и узнал не меньше, если не больше, чем за годы фронта. Новый опыт рождал новые мысли и трудные, часто неразрешимые сомнения. Но я упрямо верил, хотел верить, что жестокие подлости и тупое бездушие наших органов госбезопасности, прокуроров, судей, тюремных и лагерных чинов так же, как вся беззастенчивая ложь нашей печа-

ти, казенной пропаганды и казенной литературы, — это лишь противоестественные, противозаконные извращения.

Ведь я знал, что вопреки всему этому есть люди, которые, как и я, безоговорочно любят нашу страну — исстрадавшуюся, больную, загаженную и все же самую великую, самую праведную и самую прекрасную страну земли. И я хотел быть с ними и надеялся, что, укрепленный новым опытом, вернусь в строй прежних товарищей, снова буду одним из МЫ…

Прошло более десяти лет, пока я убедился, что уже не способен шагать ни в каком строю…

От старых идолов и старых идеалов я освобождался медленно, трудно и непоследовательно.

К началу шестидесятых годов я стал понимать, что сталинская политика была порочна не только в частных, тактических «ошибках и перегибах», но вся целиком от начала до конца, что и его тактика, и его стратегия противоречили не только нравственным законам человечности, но и принципам социализма и собственно исторической необходимости.

Однако еще и после этого я верил в благотворность и величие Октябрьской революции, в незыблемую справедливость основных положений марксизма-ленинизма. А Сталина считал хотя и жестоким реакционером, но все же выдающимся государственным деятелем; не хотел даже сравнивать его с пигмеями Гитлером и Муссолини.

Хрущевские обличения культа личности взбудоражили, побуждали размышлять не только о прошлом и вызывали желание участвовать в новой общественной жизни. Но я считал их поверхностными, пристрастными, никак не марксистскими и просто непоследовательными. Сваливая на одного Сталина всю ответственность за прошлые беды, катастрофы и преступления, Хрущев то чрезвычайно преувеличивал его роль, то, напротив, карикатурно принижал.

В те дни я стал перечитывать стенограммы партийных съездов, сочинения Плеханова, Ленина, Бухарина, Сталина, Постышева и др. Впервые читал некоторые мемуары, старые и новые издания

документов. И сопоставлял прочитанное и запомненное с тем, что узнал позднее, со всем, что происходило в мире.

Так я пришел к убеждению, что вождь, который самовластно правил нашим государством целую четверть века — раболепно восхваляемый, вдохновенно воспетый, почти обожествленный, — не был ни гением, не демоническим титаном, подобным Цезарю, Петру Великому или Наполеону, не обладал никакими сверхчеловеческими свойствами…

Сперва было мучительно стыдно признать, что нашим кумиром стал просто ловкий негодяй, бессовестный, жестокий властолюбец, типологически подобный блатным «паханам», которых мы встречали в тюрьмах и лагерях. (Панин, Солженицын и некоторые другие мои приятели-зеки поняли это значительно раньше меня.)

> Такие властительные преступники известны с древности (Ирод, Калигула, Шемяка). В нашем столетии они особенно многочисленны и разнообразны: Муссолини, Гитлер, Аль Капоне, Сталин, Иди Амин, Пол Пот, Бокасса, Хомейни, «пастор» Джонс и др. О каждом из них можно сказать: «Он вовсе не был велик, он только совершал величайшие злодейства». (Брехт говорил это, имея в виду Сталина.)
>
> Конечно, ему были присущи известные дарования: отличная память, сметливый рассудок (именно рассудок, а не разум) и недюжинные актерские способности. Именно те качества, которые необходимы профессиональным уголовникам, провокаторам, придворным интриганам. Он умел внушать доверие, дурачить, даже очаровывать и весьма умных, проницательных собеседников — Барбюса, Фейхтвангера, Черчилля, Эйзенштейна; умел стравливать друг с другом своих действительных и воображаемых соперников. Он быстро соображал, умел «мудро» молчать или произнести несколько дельных слов, когда речь шла о неизвестных ему предметах, а заранее подготовившись, удивлял специалистов неожиданной осведомленностью…
>
> Но духовно он был бесплоден. Ему удавалось только упрощать — огрублять чужие мысли, пересказывать их канцеляр-

ски-протокольным и семинаристски-катехизисным языком своих брошюр и докладов. В плагиатах и в подражании, в лицедействе, — не художественном, артистичном, а «бытовом», практическом, — он бывал, пожалуй, даже талантлив. Он успешно притворялся то прямодушным скромным рядовым бойцом партии — «чудесным грузином», полюбившимся Ленину, то грубовато-истовым апостолом великого мессии — Ильича.

Позднее он искусно сыграл роль демократического вожака-аппаратчика, близкого рядовым партийцам и потому чуждого высокомерным вождям — интеллигентам; и так добрался до главной роли рачительного хозяина партии и государства — всеведущего мудрого народолюбца...

Подобно карлику Цахесу из сказки Гофмана, он обрел магическую способность приписывать себе чужие достижения, подвиги и сваливать на других свои преступления и пакости. Так он «задним числом» стал вождем-теоретиком революции, полководцем гражданской войны, автором тех замыслов и руководителем тех событий, которые некогда создавали популярность Ленину, Троцкому, Бухарину, Тухачевскому, Кирову и др. Убивая соперников, он мародерствовал — расхищал их мысли и замыслы. А за бедствия и поражения, вызванные его приказами и указами, его трусостью и невежеством, он карал своих покорных слуг-исполнителей: Постышева, Косиора, Ягоду, Ежова, Вознесенского, наркомов, генералов, партийных сановников и рядовых аппаратчиков. Так было уже в начальную пору его самовластия, в 1929–1930 гг., так продолжалось до последних недель его жизни, когда он, уже совершенный параноик, боявшийся каждой тени, готов был начать новую мировую войну.

Убедившись в ложности былых представлений о Сталине, я все же верил в праведность Ленина и самым надежным средством научного познания истории считал тот критический метод, который разрабатывали Маркс, Энгельс и «настоящие», не догматические марксисты: Плеханов, Эдуард Бернштейн, Роза Люксембург, Дьердь Лукач, а позднее — Милован Джилас, Эрнест Фишер, Роберт Хаберман, Роже Гароди.

Однако я уже начал понимать, что необходимо решительно пересмотреть и самые основы моих взглядов на мир и на человека, на законы истории, на соотношение бытия и сознания, политики и нравственности.

1956 год в Польше и Венгрии; неудержимый упадок нашего сельского хозяйства; расправы с забастовщиками в Новочеркасске и Джезказгане; конец «оттепели» — эпохи «позднего реабилитанса», возрождение сталинских приемов идеологической борьбы: аресты, судебные расправы, произвол цензуры; «культурная» революция в Китае, бунты молодежи в США и во Франции, трагическая судьба чехословацкой «весны социализма с человеческим лицом», задавленной нашими танками, «социалистические культы» разнокалиберных кумиров — Мао, Ким Ир Сена, Фиделя Кастро, Энвера Ходжи и др. — все это доказывало, что прогнозы Маркса и Энгельса были утопичны, методы их анализов применимы лишь к некоторым проблемам западноевропейской истории, а принципы их материалистической диалектики, видимо, не случайно привели от их туманных теорий к бесчеловечной практике Ленина-Троцкого и к вовсе беспринципному тоталитаризму Сталина, губившему миллионы людей, целые народы. (Так уже бывало в истории. Иные слова евангелистов, слова и деяния апостолов вели от благодатной человечности Нового Завета к изуверствам крестоносцев, инквизиторов, к жестокому фанатизму иконоборцев, флагеллантов, самосожженцев…)

Освобождаясь от шор партийности, от жестко двухмерных критериев — «свое или чужое, третьего не дано», — я избавлялся от страха перед идеологическими табу, от недоверия к идеализму и либерализму, к понятиям свободы личности и терпимости.

И старался преодолеть неумение слушать возражающих, неумение взглянуть с иной, не своей точки зрения, — ту глухоту и слепоту, которые раньше полагал идейной принципиальностью.

Одним из первых мощных впечатлений — открытий — на свободе стала для меня поэма Твардовского «Теркин на том свете».

День мой вечности дороже,
Бесконечности любой…

О договоре Фауста с Мефистофелем по-новому напомнили стихи Набокова (Сирина):

Мгновеньем каждым дорожи,
благослови его движенье,
ему застыть не повели…

Кающимся блудным сыном вернулся я к Льву Толстому, Короленко, Шиллеру, Герцену. Совсем по-иному, чем раньше, открылись мне и они — любимые с детства, — и те беспредельные миры Евангелия, Пушкина, Гете, Достоевского, которые в молодости я воспринимал плоско, обедненно. «Наивысшим счастьем детей земли да будет всегда личность» (Гете).

Впервые читал я Бердяева, Тейяр де Шардена, С. Франка, Вернадского, Камю, Сартра, Швейцера, Мартина Лютера Кинга, Ардри…

Открытия потрясали. Вероятно, подобную радость испытывали ученики Галилея, вырываясь из тесной, наглухо замкнутой Птолемеевой вселенной.

Радость преобладала вопреки многим горьким чувствам — угрызениям совести и приступам стыда… Мир вокруг и внутри меня становился просторней, добрее. Хотя все явственней проступали и такие вопросы, на которые я не находил и уже не надеялся найти ответы, такие узлы противоречий — социальных, племенных, религиозных, идеологических, которые трагически долговечны и, во всяком случае на моем веку, нераспутываемы, неразрубимы.

Когда-то я думал, что если утрачу веру в социализм, то немедленно убью себя. А сейчас я продолжаю упрямо «выдавливать по капле из себя раба» (Чехов). Выдавливаю из разума и души рабскую зависимость и от той утраченной веры, и ото всех идеологий, которыми переболел, и от всех МЫ, с которыми навсегда неразрывно связан: МЫ — советские, МЫ — русские, МЫ — интеллигенты, МЫ — евреи, МЫ — бывшие фронтовики, МЫ — бывшие зеки,

МЫ — бывшие коммунисты, МЫ — инакомыслящие, МЫ — родители, деды, старики…

Не отрекаюсь я от принадлежности ко всем и каждому из этих МЫ, не забываю и не отрицаю ни одной из уже избытых связей, ни тех, неизбывных, которые вырастали из глубоких корней либо сплетены произволом судьбы или вольным выбором.

Но хочу быть свободен от какой бы то ни было рабской зависимости духа. И уже никогда не поклонюсь ни одному кумиру, не покорюсь никаким высшим силам, ради которых нужно скрывать правду, обманывать других и себя, проклинать или преследовать несогласных.

Теперь я не принадлежу никакой партии, никакому «союзу единомышленников». И стремлюсь определять свое отношение к истории и современности теми уроками, которые извлек из всего, что узнал или сам испытал.

Не считаю себя вправе кого-либо поучать и не представляю себе, насколько эти уроки могут быть вразумительны для других людей; но уверен, что обязан рассказывать о них возможно точнее. Это стало уже внутренней необходимостью, сознаваемой как пожизненный долг.

ТЕРПИМОСТЬ — главное условие сохранения жизни на земле, которую наполняют все более многочисленные и совершенные орудия массового убийства. Раздоры между нациями и государствами или партиями, нарастание взрывчатой ненависти в любой час могут стать смертельной угрозой всему человечеству.

Терпимость не требует скрывать разногласия и противоречия. Напротив, требует, понимая невозможность всеобщего единомыслия, именно поэтому воспринимать чужие и противоположные взгляды без ненависти, без вражды. Не надо притворяться согласным, если не согласен. Однако нельзя подавлять, преследовать несогласных с тобой.

В первом веке нашей эры было сказано: «Блаженны кроткие… Блаженны милостивые… Блаженны миротворцы…»

За два тысячелетия еще никогда так, как сейчас, не были необходимы именно миротворцы. Настоящие — не лицемерные, бескорыстные, терпимые миротворцы.

И для того, чтобы стали осуществимы терпимость и действенное миротворчество, необходима ГЛАСНОСТЬ. Чтобы все и каждый могли беспрепятственно высказывать мысли, суждения, сомнения, сообщать и узнавать о любых событиях, где бы они ни происходили.

«Работа наша должна совершаться не во имя будущего, а во имя вечного настоящего, в котором будущее и прошлое едины» (Бердяев).

Смысл моей жизни в том, чтобы работать во имя терпимости и гласности. Для этого я и рассказываю о прошлом и настоящем то, что помню и знаю.

* * *

Вопреки всему дурному, к чему я был причастен, — и лишь поздно и тем более тягостно сознавал свои вины, — вопреки всем бедам, которые испытал, я чувствую себя счастливым.

Потому что моей первой женой была Надежда Колчинская — деятельно добрый, самоотверженный друг без страха и упрека.

Потому что Раиса Орлова-Копелева стала моим вторым Я.

Потому что наши дочери — Майя, Елена, Светлана и Мария, большинство родных и *все* друзья щедро дарят нам свою близость и в радости, и в горе.

На меня влияли и влияют разные люди.

Некоторые уже названы раньше — в посвящениях и в тексте. Все имена привести не могу. Думая обо всех, здесь благодарю

АННУ АХМАТОВУ, чья поэзия освещала нашу жизнь в эти годы; когда бывало трудно, мы с женой читали ее стихи, дышали ими;

ФРИДУ ВИГДОРОВУ — незабвенного друга; словом и делом она самоотверженно служила добру и правде, страдающим людям, немедля откликалась на каждый зов о помощи;

МАРИОН ДЕНХОФФ, чья мысль, ясная и пронзительно острая, — оружие неподдельной терпимости («Моя позиция — между всеми стульями») ; верная благородным традициям прошлого, она открыта настоящему в живом единстве консервативности и либеральности, аристократизма и демократичности;

ЛИДИЮ ЧУКОВСКУЮ, посвятившую себя истовому служению русской Словесности. Верный и взыскательный друг, она алмазно тверда, отстаивая законы нравственности или законы Слова;

МИХАИЛА БАХТИНА — он приводит к самым глубинным, потаенным источникам искусства и творческой мысли; его высокая мудрость, неотделимая от смирения, почти аскетического, свободная от всего суетного, благотворна и для разума, и для души;

ГЕНРИХА БЕЛЛЯ — художника, человека, друга; его утверждение: «Слово — прибежище свободы», его мысли и сердце христианина, всегда способного понять и полюбить инакомыслящего, инаковерующего, помогли мне найти путь к той *религии братства*, которую буду исповедовать до конца жизни;

ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА — ученого и поэта; он восхищает гениальной широтой, силой и неутомимостью мысли; учусь у него много лет и буду учиться, пока способен;

АНДРЕЯ САХАРОВА — величие его духа, мощь разума и чистота души, рыцарственная отвага и самозабвенная доброта питают мою веру в будущее России и человечества;

МАКСА ФРИША — мудро-печального художника, который напомнил мне завет Короленко, предостерегавшего от сотворения кумиров, и доказал, как неизменно злободневна, как существенна эта заповедь для искусства и для жизни каждого человека и каждого народа.

Благодарю тех, кого уже нет в живых, — в моей памяти они бессмертны.

Благодарю всех названных раньше и теперь и всех неназванных друзей, наставников и добрых знакомых, чьи поступки, мысли и слова помогают мне жить.

# *Приложение*

*Журнал «Горизонт», Номер 6 за 1989 год.* ОТКРЫТОЕ СЛОВО

# *Лев Копелев*
# ЧЕМУ ИСТОРИЯ НАУЧИЛА МЕНЯ

Сегодня в этой рубрике «Горизонт» знакомит читателей со статьей Льва Зиновьевича Копелева. Имя этого писателя, публициста, переводчика, активного участника правозащитного движения, долгие годы у нас либо замалчивалось, либо появлялось на страницах печати в сопровождении площадной брани. Под пером заказных журналистов (чаще всего скрывавшихся под псевдонимами) Копелев — участник войны, офицер, орденоносец — оказывался чуть ли не гитлеровским пособником, клеветником на Советскую Армию; Копелев — узник сталинского ГУЛАГа — человеконенавистником; Копелев — отважный заступник за всех преследуемых и осужденных неправедным судом — «Иудой в роли Дон Кихота»; Копелев — интернационалист и гуманист — платным агентом западных спецслужб, и т. п.

За статью «Возможна ли реабилитация Сталина?» Копелев в 1968 году заочно был исключен из партии. Его прекратили печатать; в 77-м исключили из Союза писателей; в 80-м вынудили уехать за границу и следом лишили советского гражданства. Столпам застоя и их оруженосцам казалось, что этим, прямо говоря, подлым актом в «деле Копелева» поставлена точка: покончено с еще одним возмутителем спокойствия. Но время показало, что это не так: слово писателя продолжало звучать и волновать умы соотечественни-

ков, его вера в необходимость и неизбежность демократических перемен в нашей стране, в гласность, в торжество правды не иссякла; а то самое охраняемое спокойствие, рассчитанное на столетие, оказалось мнимым, ложь — не всесильной.

«…Я твердо убежден, что для всех народов моей страны и тех стран, чья история мне знакома, жизненно необходимы законы, безоговорочно охраняющие безопасность и права всех людей и каждого отдельного человека. Действительное соблюдение таких законов немыслимо без настоящей гласности, настоящей свободы слова. А настоящая свобода означает свободу и для инакомыслящих, инаковерующих.

Без таких законов, без гласности и терпимости не может быть здорового общества и не может быть предотвращена ни одна из гибельных угроз, нависших над всем человечеством. Этим убеждением определяется все, что я пишу и говорю».

Слова эти были произнесены в 1977 году!

И не случайно поэтому Лев Копелев одним из первых среди наших соотечественников на Западе заявил о своей солидарности с начавшейся в стране перестройкой. Его сегодняшняя деятельность по налаживанию оборванных или ослабленных связей советской культуры с зарубежным миром не может не вызывать у нас уважения. Равно как и злобы у тех, кто не оставил мечты о возврате к прошлому. Для них Копелев по-прежнему «платный недруг» (см., например, статью С. Рожновского в газете «Советская Россия», 1988, 21 декабря; а также протест против этой статьи во 2-м номере «Огонька» за этот год, подписанный Ф. Искандером, Ю. Карякиным, В. Корниловым, А. Сахаровым, Л. Чуковской и многими другими).

Публикуемая здесь статья Льва Копелева «Чему история научила меня», дает, по нашему мнению, достаточно яркое и внятное представление о взглядах и позиции автора. Находясь весной этого года в Москве, Лев Зиновьевич просмотрел гранки статьи и подписал их без каких-либо изменений…

1

Трудно передать чувства, которые испытываешь, узнавая, что где-то незнакомые люди читают, обсуждают написанное тобой. Каждый читательский отклик всегда интересен. Тем, кто откликнулся добрым словом на мою книгу «Хранить вечно» (1976), я сердечно благодарен. Однако понимаю, что одобрение вызывается прежде всего темой, известной новизной материала. Поэтому и самые похвальные отзывы не вызывают у меня самодовольства. А самые суровые литературно-критические суждения я принимаю безропотно. Со многими из них согласен. Однако в тех случаях, когда из моей книги вычитывают или в нее «вчитывают» такое, чего там нет и не может быть, я вынужден возражать.

Предварительная публикация отрывков в журнале «Цайт-магазин» (номер 8–16 за 1976) меня вначале обрадовала — я люблю газету «Ди Цайт». Но вскоре эта радость сменилась огорчением. Отрывки были так выбраны и смонтированы, снабжены такими сенсационно-газетными подзаголовками и так проиллюстрированы, что приобретали смысл и звучание, по-моему, далекие и чуждые тому, что я писал.

Об этом свидетельствовали и некоторые читательские письма, приведенные журналом. Клаус Бельде из Бохума призывал «похоронить яд» и не «бередить старых ран». Фредерика Вюнш из Ольденбурга печально спрашивала: «Что ж мы хотим — всегда противопоставлять ненависть ненависти?»

Читать это было тем более горько, что я не мог не признать — их упреки оправданы характером публикации.

Многие немецкие читатели, — если судить по значительному большинству рецензий, — увидели главный смысл книги в главе о Восточной Пруссии: бывший советский офицер сам рассказал о жестоких бесчинствах, которые творили его товарищи. Однако эта глава — только часть книги (42 из 729 страниц русского и 43 из 615 страниц немецкого издания). Такая субъективная «аберрация» восприятия естественна именно у немецких читателей. Но проти-

воестественно, когда кое-кто пытается навязывать моей книге роль защитного свидетельства в безнадежном процессе реабилитации нацистской империи и нацистского вермахта.

Неужели слепая жестокость мстителей и преступления тех негодяев, которые своекорыстно притворялись мстителями, могут оправдать или даже только ослабить вину преступников, чьи злодеяния возбудили жажду мести, служили аргументами для самых беспощадных проповедников расплаты?

Тогда, зимой 1945 года, многие в нашей армии были возмущены и потрясены так же, как и я, и не менее решительно осуждали мстительную ярость и другие низменные инстинкты, возникшие у иных солдат за четыре года войны на всех путях от Волги до Одера, и жестокие страсти, высвобожденные в угаре победного наступления. Многие противодействовали насилиям и мародерству куда более успешно, чем я. В моей книге приведены (хотя, может быть, недостаточно подробно) конкретные примеры такого противодействия, которое оказывали и рядовые солдаты, и маршал Рокоссовский.

События в Восточной Пруссии стали рубежными, переломными в моей судьбе. Но ведь не только они, а еще и другие обстоятельства привели меня в тюрьму, в лагеря и много лет спустя побудили писать.

На протяжении полутора десятилетий я вспоминал и записывал воспоминания о разных событиях моей жизни. Пока лишь часть этих записей стала книгой, которая возникла вовсе не потому, что я хотел оправдываться или жаловаться на злоключения.

Прежде всего я должен был рассказать правду своим детям и внукам, своим соотечественникам, моим ровесникам, правду о том, как мы жили, что мы действительно думали и чувствовали в пору самых трудных, самых противоречивых и самых жестоких испытаний нашего народа.

«Мы дети страшных лет России / Забыть не в силах ничего». Эти слова великого поэта Александра Блока стали эпиграфом-деви-

зом для всего, что я написал. Исповедуясь, объясняя себе и другим, что же происходило со мной и с мне подобными в те годы, я хотел рассказать еще и о мучениках, жертвах нашей жестокой эпохи, память о которых могла бы исчезнуть бесследно. Хотел поблагодарить всех добрых людей, которых мне посчастливилось встретить. И хотел назвать негодяев.

Слово — единственное допустимое для меня оружие и в борьбе идей, и для личного возмездия. Первоначально я не собирался публиковать ничего при жизни и уж менее всего за рубежом, на других языках. Когда я все же решился на то, чтобы издать ту часть воспоминаний, которая стала книгой «Хранить вечно», то лишь потому, что надеялся: она поможет взаимному пониманию и сближению людей, разделенных противоборствующими идеологиями, государственными границами и национальными и классовыми предрассудками. Сейчас я более всего хочу того же, что и Фредерика Вюнш из Ольденбурга, хочу помогать всем, кто стремится прерывать «цепные реакции» ненависти, безысходные мстительные расчеты взаимных обид, кровавые иски племенной вражды. Поэтому особенно неприятны мне те отклики, в которых явственны прямо противоположные стремления. Так, например, автор одного пространного читательского письма надеется, что моя книга поможет тому, чтобы заговорили «не только о великой немецкой вине» (подчеркнуто автором письма). Он же раздраженно упрекает Генриха Бёлля, который в послесловии «не мерит все стороны одною мерой», а, дескать, поддерживает «сказку о мнимом немецком нападении на мирный Советский Союз в 1941». Это же письмо и некоторые рецензии (например, в «Вестпройсе» 5 июня 1976) утверждают, что я умалчиваю о «польских националистических массовых преступлениях, обращенных против невинных людей из немецкого национального меньшинства в Польше», и ошибочно переадресовываю их, переиначиваю в «немецкие преступления».

2

Прежде чем возражать на такие упреки, я считаю нужным определить принципиальные различия в толковании некоторых общих понятий. Когда речь идет о понятиях «нация» и «государство», «личная и коллективная вина», то иногда люди самых разных и даже взаимно враждебных идеологий рассуждают почти одинаково. Так, например, шовинисты разных наций и доктринеры разных партий склонны отождествлять или предельно сближать понятия нации и государства, говорить о «национальной вине» и призывать к массовому возмездию за массовые злодеяния.

Такие взгляды мне чужды и неприемлемы. Не только потому, что они безнравственны, рождают ненависть, подозрительность и побуждают к новым жестоким злодеяниям, к оправданию грабительских войн, завоеваний, массовых расправ. Но и потому, что они изначально ложны, вырастают из мифов и предрассудков, из намеренно или невольно, «по привычке», искаженных представлений об истории. Им противоречат уроки истории — и той, которую мы познаем из документов, и той, которую сами испытали и продолжаем испытывать.

Немецкая нация и немецкая национальная культура возникали и развивались в значительной мере независимо от государственных форм и даже в прямом противоборстве с ними. Не только иноземные завоеватели, но и соплеменные власти, отечественное «политическое убожество» (Deutsche Misere) были и остаются главным образом помехами, препятствиями на всех путях немецкого национального развития. Так было в эпоху Священной Римской империи, государства Гогенцоллернов, и в «тысячелетней империи» нацистов, и при нынешней расчлененной нации. Эту закономерность распознал уже Гете.

Германия? Но где же она?
Не могу я найти эту страну.
Там, где начинается Германия просвещенная,
Там заканчивается политическая.

Подобные же антагонистические отношения нации и государства обнаруживает история России, Франции, Италии…

В частности, и потому я убежден, что нельзя называть национальной виной преступления, совершенные государствами, армиями, политическими организациями. Преступления Ивана Грозного и Сталина, всех царских карателей и всех мародеров и насильников, бесчинствовавших в Восточной Пруссии в 1945 году, так же нелепо и несправедливо называть «русской виной», как преступления кайзеровской солдатни и гитлеровских палачей-истребителей народов нельзя полагать «немецкой виной».

Нация, народ не могут быть виновны. Сколько бы людей ни участвовало в злодействах государства — его полиции, армии, террористических властей, — сколько бы людей не было обмануто господствующей бесчеловечной идеологией, лживой пропагандой и т. п., большинство народа не может быть причастно к массовым преступлениям, творимым от его имени. Как правило, народ только страдает от них. И наконец, каждая нация существует ведь не в одном отрезке исторического времени, а живет и в прошлом и в будущем, в древнейших традициях национальной культуры и в своих детях.

Горе народам, подавленным властью фанатиков, религиозных или политических изуверов, которые отравляют умы и души ненавистью к инородцам, к иноверцам, к соседним или завоеванным племенам! Горе нациям, порабощенным тоталитарными режимами, горе, но не вина. Горе, но не месть.

Понятие национальной вины и принцип огульного возмездия целым народам наиболее последовательно выражены в обычаях варварской родовой мести, в ветхозаветных проклятьях «до седьмого колена». Христианство их отвергло. Темным духам племенной вражды противостоял светлый дух Нагорной проповеди. Отвергал, противостоял, но не уничтожил. Тщетным был призыв бороться «не против плоти и крови, но против начальств и властей, против правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Ефесянам, 6, 12). Снова и снова оживали эти духи злобы и внутри

христианских церквей, в гонениях на язычников, евреев, еретиков, в крестовых походах, религиозных и национальных войнах.

Отвергнутые гуманистами и просветителями эти же варварские понятия возрождались во всех расистских теориях — пангерманских, панславянских, панмонгольских, антисемитских и сионистских, в преамбуле Версальского мирного договора, в проповедях «негритюда».

Все «национальные вины» — мифологичны. Однако реальны коллективные вины государственных учреждений, политических организаций, войсковых частей, судебных ведомств. И всего реальней, разумеется, личная вина, уголовная и нравственная ответственность каждого, кто участвует в действиях преступного коллектива, помогает им одобрением или равнодушным нейтралитетом.

## 3

Те, кто упрекает Генриха Бёлля в том, что он «односторонне» настаивает на «немецкой вине» и недооценивает «русскую», а меня в том что я «замалчиваю польскую вину», и попутно уверяет, что в июне 1941 г. не было «немецкого нападения на мирный Советский Союз», исходят из мифических общих понятий. Отчасти это объяснимо, так сказать, инерцией мифологического мышления, цепкостью предрассудков, но именно эти конкретные утверждения сознательно искажают действительность, сознательно противоречат неоспоримым историческим фактам.

Гитлеровское государство через своих агентов всячески провоцировало и разжигало вражду между немецкими жителями Польши и их польскими согражданами. Гитлеровские армии вторглись в Польшу, сея смерть и опустошение. После этого в нескольких местах возбужденные националистами толпы начали громить помещения нацистских организаций, набрасывались и на невин-

ных людей только за то, что они немцы. Слепая жестокость этих погромов может быть объяснена, но не оправдана их причинами, и уж подавно ничто не может ни оправдать, ни ослабить вину тех, кто участвовал в несоизмеримо более жестоких массовых расправах, которые на протяжении всех последующих пяти лет систематически учиняли не возбужденные стихийными страстями толпы, а хладнокровные оккупационные власти, планомерные истребители польского населения — эсэсовские и полицейские каратели…

В Польше и на Украине, в Белоруссии, в Смоленской и в Новгородской областях я видел пепелища десятков Лидице и Орадуров, слышал рассказы женщин и детей, чудом уцелевших после того, как в отместку за действия партизан каратели сжигали целые деревни, истребляли сотни неповинных, беззащитных жителей.

Убежденные гитлеровцы и одураченные, развращенные или рабски покорные солдаты совершали чудовищные злодеяния. Ответственны те, кто их замышлял, кто отдавал и кто исполнял злодейские приказы, и те, кто их одобрял, оправдывал или скрывал, сознательно отрицая. Но объявлять все это виною нации и несправедливо, и опасно, ведь именно так создается непрерывность «цепных реакций» мести и ненависти. Тот, кто пытается отрицать или оправдывать такие преступления, пусть даже из искреннего желания защитить национальное достоинство, и тем более тот, кто старается переадресовать их бывшим противникам, только вредит своему народу. Он ослепляет разум и оскопляет души соотечественников и провоцирует шовинистов другой стороны.

Именно так поступают сегодня все, полагающие возможным вывернуть наизнанку историю и возрождающие старую геббельсовскую сказку о «превентивном» нападении на СССР в июне 41-го года.

Этой сказке немецкие солдаты верили только в самые первые недели войны. Тогда действительно едва ли не каждый пленный говорил, что «фюрер велел наступать на Россию, чтобы предотвратить внезапное нападение 180 русских дивизий, сосредоточенных

на границе». Но год спустя уже ни один здравомыслящий военнослужащий в Германии не верил этому, так как весь ход войны однозначно свидетельствовал о том, что мы были застигнуты врасплох, что ни наша армия, ни промышленность, ни психология наших людей не были подготовлены к войне.

Да и сам Геббельс уже летом 1942 года совсем по-иному, цинично откровенно говорил: «Мы воюем не за трон и алтарь; это война за зерно, за хлеб, за изобильный стол к завтраку, обеду и ужину… это война за сырье, за каучук, за чугун, за сталь, это война за достойное человека национальное существование, которого мы раньше не могли себе позволить, как стыдливые бедняки…»

Нет, вопрос о том, кто на кого напал в июне 41-го года, не может вызывать сомнений у серьезных историков. Но это, разумеется, не значит, что преступления Гитлера — «план Барбаросса», приказы расстреливать всех комиссаров, стратегические расчеты, предусматривающие уничтожение большинства жителей Ленинграда и Москвы, всех евреев, всех цыган, значительной части «расово неполноценного» или «избыточного» населения восточных пространств, могут оправдать преступления Сталина.

Не могут еще и потому, что Сталин не только объективно невольно, но во многих случаях и вполне сознательно помогал Гитлеру. Это я понял сравнительно недавно. Еще и после XX съезда, после первых разоблачений того бесчеловечного режима, который у нас стыдливо называли «культом личности», пытаясь объяснить и другим и себе, как же я мог стать убежденным сталинцем, как мог ревностно служить сталинской власти и даже гордиться своей причастностью к силам, подавлявшим и обманывавшим моих сограждан, я прежде всего ссылался на угрозу фашизма, на то, что, мол, именно Сталин был наиболее проницательным, наиболее решительным противником Гитлера, Муссолини, японских империалистов, т. е. тех сил, которые грозили гибелью и порабощением нашей стране и всему человечеству.

Но со временем я узнал новые факты, научился и по-новому независимо от предвзятых аксиоматических доктрин и сакрали-

зованных идеологических табу размышлять о том, что знал раньше. И убедился, что уже в 1930–1933 гг. Сталин объективно помогал Гитлеру, понуждая немецких коммунистов сосредоточивать свои силы прежде всего на борьбе против социал-демократии. А в 1936–1939 гг. сталинская военная помощь Испанской республике была слишком ограниченной, чтобы решающим образом повлиять на ход гражданской войны, однако достаточной для того, чтобы Гитлер и Муссолини могли, ссылаясь на советскую угрозу, посылать Франко сотни самолетов, тысячи танков, десятки тысяч кадровых вояк. В 1936–1941 гг. Сталин и его палачи уничтожили, загнали в тюрьмы и лагеря огромное большинство генералов, адмиралов, старших офицеров, руководителей промышленности. Без нашей экономической помощи в 1939–1941 гг. вермахт не мог бы так успешно воевать во все последующие годы. Материалист-прагматик Сталин, зная, как неоценима эта помощь для Германии, вероятно, именно потому так тупо доверял дружбе Гитлера. Он доктринерски полагал, что тот не может решиться на риск войны, чтобы приобрести то, что получал просто так. Слепая доверчивость обычно столь подозрительного диктатора разоружила нашу страну и материально, и морально, обрекла наши армии на жестокие поражения первого года и весь народ на небывалые страдания, бедствия, кровавые жертвы…

Впрочем, и Гитлер в свою очередь не раз помогал враждебному собрату. Гитлеровский террор и откровенно человеконенавистническая воинственная программа его партии побуждали миллионы людей видеть в Сталине и «меньшее зло», и даже выдающегося руководителя наиболее мощных антифашистских сил. Многие из нас, вероятно, никогда бы не превратились в сталинцев, если бы не было гитлеровщины.

И, разумеется, мы не знали тогда, не поверили бы, что в 1937 году гестапо сотрудничало со сталинским НКВД, помогая состряпать обвинение против маршала Тухачевского и ведущих военачальников Красной Армии, а в 1940 году сотни немецких и австрийских

антифашистов, были прямо из советских тюрем переправлены в немецкие.

22 июня 1941 года Гитлер обрек свою империю на неминуемую гибель, но спас сталинский режим от распада и возможного крушения. Война, развязанная нацистами, стала Отечественной войной для русского народа и для других народов Советского Союза, пробудила в них все лучшие силы. Вопреки поражениям и потерям, вопреки рационалистическим расчетам зарубежных стратегов эти силы нарастали с каждым годом. Наша народная война привела к заслуженному разгрому гитлеровского тоталитаризма. Но одновременно к незаслуженному торжеству сталинского.

4

«По сути, никто не может научиться чему-либо из истории, потому что она содержит лишь множество глупостей и множество дурного». Так сказал Гете 17 декабря 1824 года («Разговоры с Ф.Ф. Мюллером»). Но уже пять лет спустя он говорил по-иному. «Об истории может судить лишь тот, кто сам пережил ее, кто на себе испытал историю. Так бывает и с целыми нациями» («Годы странствий Вильгельма Майстера», 517 максима).

Многие поколения народов Европы испытали на себе жестокую историю нашего века. И как бы противоречивы и разноголосы ни были ее оглушающие поучения, все же мне представляется, что мы можем и должны извлечь из них некие общие уроки.

…Родители моего отца и его сестра — самая мне близкая из теток — были расстреляны в октябре 1941 года в Киеве в Бабьем Яру; там за два дня уничтожили более 50000 киевлян еврейского происхождения. Оккупационные власти объявили об этой расправе как о «возмездии» за действия партизан, взорвавших здания, в которых размещались учреждения вермахта. Мой брат, сержант артиллерии в том же году погиб в бою. Еще несколько

родственников постарше были расстреляны, повешены или «загазованы» в других городах, а молодые убиты на фронтах, умерли от ран… С тех пор многие из нашей родни говорили о немцах не иначе как с ненавистью, отвращением, и возмущались моим отцом, который был воспитан в гуманистических традициях русской интеллигенции, моим «догматическим» интернационализмом, возмущались, что мы не разделяем их чувств, и отвергали требования массового возмездия, не хотели осуждать немецкую нацию в целом.

Подобно моим старым тетям и дядям рассуждали в первые послевоенные годы многие люди нашей страны — образованные и необразованные, старые и молодые, бывшие военнопленные и бывшие «остарбайтеры», пережившие оккупацию или блокаду Ленинграда, испытавшие зверства карателей и «брандкоммандос», которыми замыкались планомерные отступления вермахта.

Из их исторического опыта, из воспоминаний вырастали недоверие и ненависть. Их безоговорочно убеждала военная пропаганда, а позднее та великодержавная шовинистическая идеология, которая развилась в годы перезрелой сталинщины, да и пока еще не исчезла.

Но со временем, особенно в последние два десятилетия, эти недобрые чувства постепенно слабели, остывали. У новых поколений моих сограждан они, пожалуй отсутствуют или ничтожно незначительны.

Такому благотворному развитию содействовали и содействуют многие силы. Прежде всего — гуманные традиции русской национальной культуры. А также в значительной мере и творчество современных немецких писателей, которые рассказывают правду об опыте нашей общей истории. Наиболее популярны у нас и, пожалуй, наиболее действенны именно в исцелении душевных ран войны — романы и рассказы Генриха Бёлля. Произведения Томаса и Генриха Маннов, Брехта, Зегерс, Кеппена, Штриттматера, Кристы Вольф, Зигфрида Ленца, Пауля Шаллюка, Леонгарда Франка, Иоганна Бобровского и других современных немецких

авторов тоже издаются массовыми тиражами и тоже мгновенно раскупаются.

Спрос на них не зависит от колебаний внешнеполитической температуры. Тем более странно бывает мне и моим друзьям читать в некоторых газетах или слушать по «Немецкой волне» упреки Бёллю в избытке национальной самокритики, недостатке патриотизма. Ведь, пожалуй, никто так, как он, не содействовал восстановлению «доброго имени немца», и не только у нас в стране.

Бывший варшавский повстанец, родители которого погибли под развалинами в дни первых воздушных налетов на Варшаву, а брат был замучен в концлагере, прочитал мою книгу по-немецки, прочитал послесловие Бёлля и сказал: «Тридцать лет тому назад я бы это читать не стал. Сразу бы выбросил. Тогда я так ненавидел немцев — всех, как одного, — что думал: никогда не будет примирения, не может быть. И многие у нас в Польше так же думали и чувствовали. Ведь что они сделали с нашим народом, с Варшавой! В те годы я просто не мог в руки взять немецкую книгу или газету. Не мог слышать их речи — в глазах темнело…

Но время шло. Теперь и я, и мои дети, и приятели читаем их книги. Вот его — Бёлля — полюбили даже, и Грасса, и Бобровского, и других. Многие наши стали ездить туда на экскурсии, в гости. И не только за Одер, но и за Эльбу… И я видел, как Вилли Брандт стал на колени перед памятником Варшавскому гетто. Вот в тот момент я и почувствовал: нет во мне больше ненависти… Он опустился на колени и поднял свой народ. Понимаешь? Высоко поднял в наших глазах и в наших сердцах. Так я сознаю как поляк и как христианин. Иисус сказал: «…кто вознесет себя, тот будет унижен, а кто унизит себя, тот будет вознесен».

Эти слова, прозвучавшие впервые на рассвете нашей эры, и мне представляются сегодня одним из самых злободневных уроков новейшей истории. Нет виновных народов, но есть виновные государства, толпы, коллективы и, главное, личности. Определять степень и меру чужой вины вправе лишь тот, чья совесть чиста, кто способен нелицеприятно судить. Но к себе самому должно быть

наиболее взыскательным и строгим, не смея оправдываться ни вынужденностью, ни малой значительностью, ни идеалистическим бескорыстием своего участия в дурных делах.

Писать воспоминания я стал потому, что сознавал свою виновность. Но я уверен, что никакое раскаяние не искупит мою вину, не освободит меня от ответственности за все, что совершила партия, к которой я принадлежал, и государство, которому я служил. Прошлого не изменить. Не будучи религиозен, я не могу надеяться на отпущение грехов. Все вины мои навсегда со мной. И это самоосуждение — не замаливание грехов, а просто необходимость объективная и субъективная. Только осудив себя решительно и безоговорочно, осудив свое прошлое, могу я продолжать жить. Потому, что могу быть уверен: ничего подобного уже не повторю.

И только осудив себя, я обрел право и даже обязан спорить с теми, кто пытается отрицать, умалять или оправдывать свои подобные вины. Только так могу я противоборствовать новым угрозам, исходящим от тех вождей и пророков, которые «сами себя возносят».

А самый главный для меня урок новейшей истории очень прост, хотя и особенно трудно усваивается. Это урок ПРАВДЫ и ТЕРПИМОСТИ. Правда всегда была нужна. Способность признавать и самую горькую правду, вопреки личной пользе и самолюбию, вопреки предрассудкам и условностям, племенной, сословной, национальной, партийной гордости, вопреки соображениям церковных или государственных интересов, была всегда полезна и отдельным людям, и народам.

Призывы любить и прощать ближних, даже врагов, прозвучали уже в первом столетии нашей эры, и с тех пор они остаются прекрасным, сверхчеловеческим идеалом «не от мира сего». Призывы Евангелия и всех добрых утопистов, мечтавших о счастье людей, проповеди Льва Толстого и Ганди, Альберта Швейцера и Мартина Лютера Кинга находили только малочисленных или временных последователей, а чаще были голосами вопиющих в пустыне.

Но сегодня ПРАВДА и ТЕРПИМОСТЬ — уже не идеальные мечты; ЭТО НАСУЩНО НЕОБХОДИМО. Conditio sine qua non! Без них погибнет вся жизнь на земле. Безоговорочная правда и самая широкая терпимость, человеколюбие, преодолевающее все виды ненависти и вражды, необходимы, чтобы продолжало жить человечество.

*Сентябрь — октябрь 1976 года*

(Эта статья написана в 1977 году, когда существовали два немецких государства: ГДР и ФРГ.)

# СОДЕРЖАНИЕ

*Глава первая.* Марфинская шарашка ..... 5

*Глава вторая.* Дважды изменник ..... 37

*Глава третья.* Изучаем русскую речь ..... 46

*Глава четвертая.* Признание ..... 63

*Глава пятая.* Зачем видеть звуки ..... 68

*Глава шестая.* Серый ..... 93

*Глава седьмая.* Фоноскопия. Охота на шпионов ..... 100

*Глава восьмая.* «Бегума» и другие капиталисты ..... 148

*Глава девятая.* Шкура зебры ..... 174

*Глава десятая.* Горе от любви ..... 205

*Глава одиннадцатая.* Конец эпохи ..... 211

*Глава двенадцатая.* Асфальтное растение ..... 275

*Глава тринадцатая.* Прощай, шарашка! ..... 288

*Глава четырнадцатая.* Хочу быть свободным ..... 337

**Приложение**

*Лев Копелев.* Чему история научила меня ..... 351

*Литературно-художественное издание*

ЛЕВ КОПЕЛЕВ

# УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

ISBN 617-587-026-6

Ответственный за выпуск *Е.Е. Захаров*
Редакторы *Е.Е. Захаров, И.Ю. Рапп*
Компьютерная верстка *О.А. Мирошниченко*

Подписано в печать 26.01.2011
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Minion Pro
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,68 Усл. кр.-отт. 22,37
Уч.-изд. л. 22,81. Тираж 1000 экз.

Харьковская правозащитная группа
61002, Харьков, а/я 10430
http://khpg.org
http://library.khpg.org

Издательство «Права людини»
61112, Харьков, ул. Р. Эйдемана, 10, кв. 37
Свидетельство Государственного комитета телевидения
и радиовещания Украины
серия ДК № 3065 от 19.12.2007 г.

Напечатано на оборудовании Харьковской правозащитной группы
61002, Харьков, ул. Иванова, 27, кв. 4